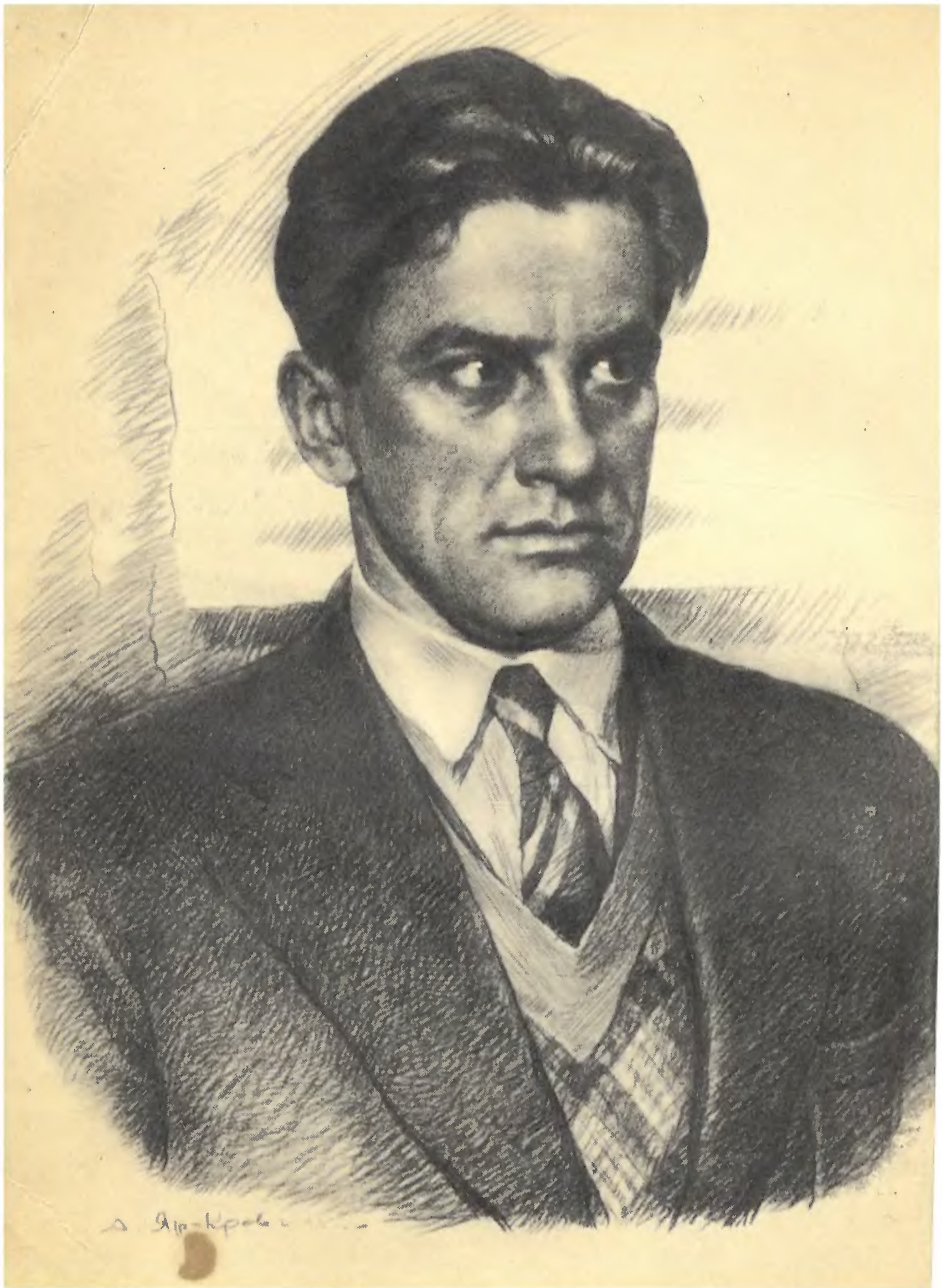
1973

7

Молодая гвардия



ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ

(К 80-летию со дня рождения)

Портрет работы народного художника РСФСР
А. Н. ЯР-КРАВЧЕНКО

Статью Л. Ошанина «Мой Маяковский»
читайте на стр. 267

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал ЦК ВЛКСМ

1973
7

Основан в 1922 году

В НОМЕРЕ:

Геннадий ЯНАЕВ, председатель Комитета молодежных организаций СССР. **Десятый юбилейный** 3

Евгений ГЛУШАКОВ. **«Настолько небеса сегодня чисты...». Поход эшелонов. Слон. Стремление. Ледоход. «Любовь моя к тебе пребудет...».** Стихи 7

Иван МАЛОХАТКИН. **Лебяжье. Егорыч.** Стихи 13

Аркадий ПЕРВЕНЦЕВ. **Черная буря.** Роман, продолжение 16

Валентин СИДОРОВ. **Был полон света каждый миг.** Стихи 150

Поэты Бангладеш. Шохид ШАБЕР. **Образ матери.** Ал МАХМУД. **Кольцо.** Хаят МАМУД. **Плач.** Мохаммод МОНИРУДЖАМАН. **Самоцвет.** Стихи. Перевели Евг. Елисеев, А. Големба, Римма Казакова 155

ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ

«Товарищ» 161

Ираида УЛЬЯНОВА. **Самобранка. Подорожник. «Мальчишки прилипли к ограде...». «Учись простоте у осинки...».** Стихи 193

Б. НАВРОЦКАЯ. Р. ДОНЬСКИЙ. **Операция «Хирург».** Повесть. Перевела с польского И. Смирнитская 196

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

Евгений ФЕДОРОВСКИЙ. **Люди крылатого края** 225

Юрий ТЕПЛЯКОВ. **И для меня будет снег в сентябре...** 234

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Лев ОШАНИН. **Мой Маяковский.** (К 80-летию со дня рождения В. В. Маяковского.) 267

Н. В. СВИРИДОВ, председатель Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. **Дети, литература, книги** 271

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА

Виктор КОЧЕТКОВ. **Рабочий полдень.** (О поэзии Владимира Фирсова.) 289

НАШЕ ОБОЗРЕНИЕ

Д. ИВАНОВ. **Художнику нужен политик.** Г. ПОЛИТЫКО. **Родство героических биографий.** ВИК. СОКОЛОВ. **Упрямая доброта.** ВЛАДИМИР ЗОЛОТУХИН. **Что же происходило под белой калиной?** ОЛЕГ МИХАЙЛОВ. **Советский джаз** 301

Наш адрес:

Москва, А-30, Сущевская, 21, редакция журнала «Молодая гвардия». Коммутатор: 251-15-00; отдел прозы — доб. 2-40; отдел поэзии — доб. 4-13; отдел очерка и публицистики — доб. 4-26; секретариат — доб. 4-16; отдел критики — доб. 4-14; отдел «Товарищ» — доб. 3-66.

Подписка на журнал «Молодая гвардия» производится без ограничений с любого месяца года.

© «Молодая гвардия», 1973 г.

Геннадий ЯНАЕВ,
председатель Комитета
молодежных организаций СССР

ДЕСЯТЫЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ

От молодежи семидесятых годов во многом зависит, каким будет мир к исходу нынешнего тысячелетия. На плечи молодежи ложится огромная ответственность за будущее человечества, ибо будущее принадлежит молодым, оно принадлежит трудовому народу.

Л. И. Брежнев

Всемирные фестивали молодежи и студентов стали крупными вехами в истории становления и укрепления единого фронта демократической молодежи мира. А само фестивальное движение, зародившееся более четверти века назад, убедительно свидетельствует о том, что фестивали приобрели характер самых массовых молодежных форумов, пользуются активной поддержкой в международном молодежном движении и с каждым разом превращаются в огромную силу, которая мобилизует молодежь всей планеты к социальной и политической активности.

Фестивали не подменяют международное демократическое движение молодежи и студентов, а, напротив, вливаются в него, дополняют, служат ему неиссякаемым и могучим резервом в борьбе с империализмом, за демократию и мир.

Благодаря разнообразию программы фестивали привлекают к себе молодежь различных социальных слоев — рабочих, крестьян, интеллигентов, студентов. В это число попадают юноши и девушки, еще далекие от активной политической жизни, и здесь, на форумах юности, они знакомятся с основными политическими концепциями и тенденциями передовой молодежи. Это содействует росту их самосознания, приобщает к борьбе за социальные преобразования.

Трудно переоценить значение Всемирных фестивалей для коммунистических союзов молодежи разных стран. Так, в ходе подготовки и проведения фестивалей юноши и девушки развитых капиталистических стран устанавливают конструктивные контакты в интересах единства действий и сотрудничества различных молодежных организаций на массовой демократической платформе. Мероприятия эти способствуют повышению авторитета и влияния коммунистических союзов молодежи, содействуют росту их рядов.

Молодое поколение стран, борющихся за национальную независимость и освобождение, использует фестивали для укрепления братских уз и солидарности молодежи всего мира с национально-освободительной борьбой. Здесь оно знакомит мировую общественность с проблемами и программами своих организаций.

Для молодежи развивающихся стран предфестивальная подготовка и сами фестивали способствуют повышению ее интернационального престижа, помогают установить широкие контакты со всей молодежью планеты. Они пропагандируют и показывают успехи своих государств в области социально-экономической и национальной реконструкции.

Для союзов молодежи социалистических стран Всемирные фестивали служат дополнительной и важной формой международного общения, которая позволяет не только укрепить отношения с молодежными организациями развитых капиталистических стран, а также стран Азии, Африки и Латинской Америки, но и ярко продемонстрировать на международном форуме молодежи достижения и свершения стран социализма.

X юбилейный Всемирный фестиваль молодежи и студентов будет проходить с 28 июля по 5 августа 1973 года в столице Германской Демократической Республики Берлине и явится важнейшим политическим мероприятием международного демократического молодежного и студенческого движения, ярким событием в культурной и спортивной жизни молодежи нашей планеты. X фестиваль проводится в условиях благоприятных изменений в международной обстановке, происходящих в результате целеустремленной, активной деятельности ЦК КПСС по претворению в жизнь Программы мира, намеченной XXIV съездом нашей ленинской партии.

Ленинский комсомол, вся советская молодежь, демократическая молодежь мира целиком и полностью одобряют и безраздельно поддерживают решения апрельского Пленума ЦК КПСС, внутреннюю и внешнюю политику КПСС и Советского правительства. С большой радостью и энтузиазмом встретила молодежь решение о присуждении Генеральному секретарю ЦК КПСС товарищу Л. И. Брежневу международной Ленинской премии мира.

Коротко расскажу, с какой тщательностью юноши и девушки всего мира готовятся к предстоящему фестивалю.

В 1971 году на Исполкоме ВФДМ в Чили обсуждались вопросы, связанные с подготовкой к нему. Надо было решить: где, в каком городе соберется юность планеты на свой праздник? Представитель Союза свободной немецкой молодежи ГДР внес предложение провести фестиваль в их столице. Предложение было принято.

Началась подготовка к X Всемирному фестивалю. Она развернулась в обстановке дальнейшего подъема международного коммунистического и рабочего движения, постоянно возрастающего участия молодежи и студентов в борьбе народов против империализма, за мир, национальное и социальное освобождение, за

построение нового общества. Начало ей было положено в январе 1972 года на учредительном заседании Международного подготовительного комитета, которое проходило в Софии.

На этом заседании представители более 80 молодежных и студенческих организаций из 47 стран поддержали предложение ВФДМ и ССНМ ГДР о проведении фестиваля в 1973 году и единодушно высказались за то, чтобы придать ему отчетливо выраженную антиимпериалистическую направленность, приняли призыв МПК к молодежи мира, в котором сформулирована платформа фестиваля.

Правильность этих предложений получила свое подтверждение в том одобрении, с которым различные по своей политической и идеологической ориентации организации встретили призыв МПК, ставший основой деятельности многочисленных национальных подготовительных комитетов, осуществляющих фестивальную подготовку в своих странах.

После Софийского заседания МПК наступил период широких международных консультаций по основным вопросам подготовки фестиваля, его программы и состава участников.

Итоги этого этапа подготовки фестиваля были подведены на втором заседании МПК, состоявшемся 5—6 октября прошлого года в Берлине. На этом же заседании был принят лозунг фестиваля — «За антиимпериалистическую солидарность, мир и дружбу!», утвержден состав комиссии МПК, обсуждены вопросы фестивальной программы. Дальнейшая международная подготовка фестиваля осуществлялась Постоянной комиссией в тесном контакте с Национальным подготовительным комитетом ГДР.

Движение за X Всемирный фестиваль достигло большого размаха. Сотни тысяч юношей и девушек всего мира активно готовились к нему. Они провели многочисленные встречи, митинги, манифестации, конкурсы, спортивные соревнования.

В большинстве стран действовали национальные подготовительные комитеты. Они объединяли различные политические, профсоюзные, культурные и спортивные организации молодежи и студентов, которые готовили к фестивалю своих делегатов.

Многие молодежные организации решили отметить работу грядущего праздника добрыми делами. Так, молодые американцы намереваются передать чек на сумму в пятьдесят тысяч долларов на строительство детской больницы имени Нгуен Ван Чоя в ДРВ.

Юноши и девушки нашей страны, молодежные организации Советского Союза горячо откликнулись на Обращение Международного подготовительного комитета. В июле прошлого года был создан Советский подготовительный комитет. Предстоящая его работа была обсуждена на пленуме КМО СССР, на многочисленных собраниях и конференциях молодежи. VI пленум ЦК ВЛКСМ от имени 31-миллионного Ленинского комсомола горячо поддержал идею X Всемирного фестиваля.

В нашей стране успешно завершается Всесоюзный фестиваль советской молодежи. Он явился смотром ее трудовых и творческих достижений, посвященных юбилею Советского государства.

Делегацию советской молодежи на фестивале в Берлине будут представлять посланцы различных национальностей и народностей нашей страны, победители Всесоюзного фестиваля и конкурсов, проведенных в ходе подготовки к фестивалю в Берлине. Они про-

демонстрируют победы и достижения, которые отметило наше многонациональное государство в свой 50-летний юбилей.

Берлинский фестиваль — юбилейный, десятый. Он призван выразить солидарность демократической молодежи мира с героическими народами и молодежью Вьетнама, Индокитая, с борьбой народов и молодежи арабских стран, португальских колоний, стран Азии, Африки, Латинской Америки за свою свободу и национальную независимость, за демократию и социальный прогресс, против империализма, колониализма, неоколониализма.

Важное место на фестивале будет отведено вопросам участия молодежи в общеевропейском движении за безопасность и сотрудничество.

Фестиваль закрепит те успехи, которые были достигнуты за последние годы в международном демократическом молодежном движении в рамках Всемирной кампании «Юность обличает империализм», во время широкопредставительных встреч молодежи Европы во Флоренции, Хельсинки, посвященных проблемам безопасности и сотрудничества на Европейском континенте, и прежде всего в ходе Всемирной встречи трудящейся молодежи в Москве.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Берлине явится важным этапом в подготовке демократической молодежи к Всемирному конгрессу миролюбивых сил, который состоится в этом году в Москве.

X Всемирный фестиваль станет новым выражением солидарности молодежи, борющейся за мир, демократию и социальный прогресс, выражением ее стремления жить в мире и дружбе.

■

Евгений ГЛУШАКОВ

* * *

Настолько небеса сегодня чисты,
Так радостно дыханье ноября...
И смерть моя, как жизнь моя, — Отчизне,
И мне вовеки не погибнуть зря.

Воловий зуб, нанизанный как жемчуг,
Меч-кладенец, примявший ковыли, —
Издревле сувениры чужеземцу,
А для меня приметы той земли,

Где я, мальчишка — лен зеленоглазый,
В орешнике, годящемся на лук,
Забытым не был и чужим ни разу,
Лишь иногда отбившимся от рук.

Евгений Глушаков родился в 1947 году. Окончил Московский физико-технический институт. Работает в Обнинске физиком-теоретиком.

Со школьных лет Евгений Глушаков дружит с поэзией. Предлагаемые читателю «Молодой гвардии» стихи — первая большая подборка молодого поэта.

Не нарушая ход летосчисленья,
Вся жизнь моя свободно и легко
Сплеталась в окончательные звенья.
Что не легло на сердце — отлегло.

Все, что не стало сутью, разлюбилось,
Как будто распогодилось навек,
И было имя мне дано на вырост,
Мучительно простое — Человек.

ПОХОД ЭШЕЛОНОВ

Не считая спасенье за благо,
Ненавидя заклятых врагов,
Я прохвачен был веяньем флага
На военном плацдарме веков.

Не отличен от прочих в шеренге.
Те же скулы, сведенные в хруст,
Те же через овраг печенеги,
Та же в тяжком беспамятстве Русь.

Неустанный поход эшелонов.
И знакомой рукою отца:
«Черпаками высоких шеломов
Мы напьемся воды из Донца».

Мы прорвемся за огненный Одер,
Доберемся до кельнских святош,
Вынося бесноватые орды
На раскатистом гребне «даешь!».

И на приступе главной атаки
В километре от вражеских стен
Мы заправим кремлевские танки
Из баварских клейменых цистерн.

Заозерье заснеженных ладог,
Самый важный приказ передав,
Назовет нам пароль Сталинграда
На стоянках своих переправ.

И, приветствуя старт эскадрона,
Сквозь морзянок свистящих гудки

Прозвучат на волне шлемофона
Позывные сибирской пурги!..

...Звезды кружатся будто на треке,
Заплетенные в гривы коней.
Мне в отцовской не холодно кепке,
Достающей до самых бровей.

Енисеем гудят пароходы.
По прибрежнему узкому льду
Я со взрослыми после работы
От бессонных заводов иду.

СЛОН

Атака. Сухопарый политрук
И то сказать, что человек железный.
«Вперед!» А впереди, казалось, бездна.
Но с ним вся рота поднималась вдруг.
И шли в атаку, зная — хватит жить,
Что наша смерть геройская отныне
У поколений навсегда в помине
И нас теперь нельзя остановить!
Под Харьковом, прорвавшись на рубеж,
Издерганные руганью зениток,
Мы словно ощутили сил избыток
И причесали Лысой Горке плешь.
Мы, выставив под городом заслон,
Полдня проспали. Это было чудо.
Я написал письмо: «Привет, дочурка!
В индийских джунглях обитает слон...»
Полдня траншеи рыла канонада.
Полдня, свалившись на холодный пол,
Я видел сны гвардейские в упор,
Щекою ощущая лед приклада...
Но, слыша умирающего стон,
Я не боялся смерти почему-то
И начинал опять письмо: «Дочурка!
В индийских джунглях обитает слон.
Он очень добрый, он совсем не злой.
Он в тростнике свои дорожки топчет.

Тушить пожар или напиться хочет —
Он погружает в воду хобот свой...»
Был политрук убит под Кенигсбергом
Трассирующей пулею в живот.
На батальонной панихиде рот
Ракетницы скрестились с тихим снегом.
Померк закат. И через реку вброд
Мы хмуро шли. Был человек железный,
Простой был человек, и всем известно —
Он без оглядки делал шаг вперед!..
Я уцелел не по своей вине.
Я встретил дочку в толчее вокзала.
— Ну как наш слон? — Слона
она не знала,
Но, вот что странно, знала о войне.

СТРЕМЛЕНИЕ

Был жаркий день отмечен благодатью,
И под прикрытьем отступной зари
Поднялась рота за Соминой Гатью,
Оставив жизни под залог свои.

И, распахнув штыками переправу,
Пробилась рота к пойменным лугам,
Где ночь сложила мертвых на купаву,
Но никого не выдала врагам.

Вздымался лес. Мутнели перелески.
В бреду тревожном плыли хутора.
И узнавалась речка в дальнем плеске
И в хлюпанье о донышко ведра.

Хотелось лечь на взмокнувшие травы
И на лугах, где ночь до звезд крута,
Проткнуть лопух, растущий у канавы,
Штыком, как будто черенком кнута.

И над глухой колдобиной болота
Дежурный дятел отстучал приказ,
И дальше в ночь пошла лесная рота
И через ночь к рассвету прорвалась.

ЛЕДОХОД

Закаты словно алые заплаты
На голубом весеннем пиджаке.
Не ужиная, прямо из-за парты,
Заслышав ледоход, бежим к реке.

Учительница увязалась с нами,
Худая, как апрельская сосна.
Живет без мужа. Синька под глазами.
А здесь в деревне каждый год весна.

Мы с хохотом гоняемся по льдинам,
Летим на теневой упор моста.
Учительница в платье очень длинном
Слепящим снегом балует уста.

Недаром все зовут ее «невестой»!
Вот и сейчас, крамольно весела,
Стоит и машет над рекой небесной
Обломком почерневшего весла.

Смеется большеротая, и машет,
И, вскинув руки выше каланчи,
Одна кукует на пустынном пляже,
И ловит золотистые лучи.

Нахальный ветер тянется к подолу.
И лезет обниматься старый вяз...
Учительница, вот окончим школу —
Мы целым классом женимся на вас.

* * *

Любовь моя к тебе пребудет,
Как в пору вешняя вода.
Так в рыжий март приходят люди,
Где даже горе не беда.
Еще трава снегами смята,
Еще в скиту постится ель,
Но в голубой подойник марта
Уже ударила капель.
Я говорю: — Пускай прибудет

Тебе удачи на земле,
И люди будут пусть как люди
С тобою, и покой в семье.
Открой окно. И в птичьем гаме
Веселым сердцем различи
Ручьев скрипичные ключи,
И, волосы сдержав руками
На оглушительном ветру,
Проникнись добрыми стихами,
И, не тревожась пустяками,
Напейся солнца поутру.

Иван МАЛОХАТКИН

ЛЕБЯЖЬЕ

1

Ничто не бывает случайно:
Ни поле,
Ни осыпи рос,
Ни в жарком дыму иван-чая
Плывущий навстречу откос.

Грачиная черная вьюга,
Летучая тень тополей.
Безбрежное марево луга
На родине звучной моей.

Мне выпало здесь вот родиться,
Чтоб верить,
Страдать
И любить.
Отвару раздумий напиться
И сладкого солнца испить.

2

Сохранен для памяти овсяник,
Колос тронь —
Осыплется зерно.
Гибкий и духмяный конопляник
Заглянуть пытается в окно.

Скошены хлеба, и в зыбком глянце
Отдыхает, чуть дымясь, земля.
Праздник жизни!
Все кружится в танце,
В лебедином танце ковыля.

3

Родина!
Мальчишеской рукою
Я твой плуг и серп благословил!
Я любил тебя в суровом горе
И когда счастливая — любил.

И как в этой наступившей нови
Плуг идет могуче на жнивье,
Я иду и утверждаю в слове,
Родина,
Грядущее твое!

ЕГОРЫЧ

Ночь прозябла!
Греть не согреть!
Вся дрожит — не унять озноба.
Звездный свет на воде как сеть,
У костра просыхает роба.

Сам Егорыч рыбак ой-ой!
Ничего, что тяжел годами.
Не глаза,
А огня настой
Под крутыми лежит бровями.

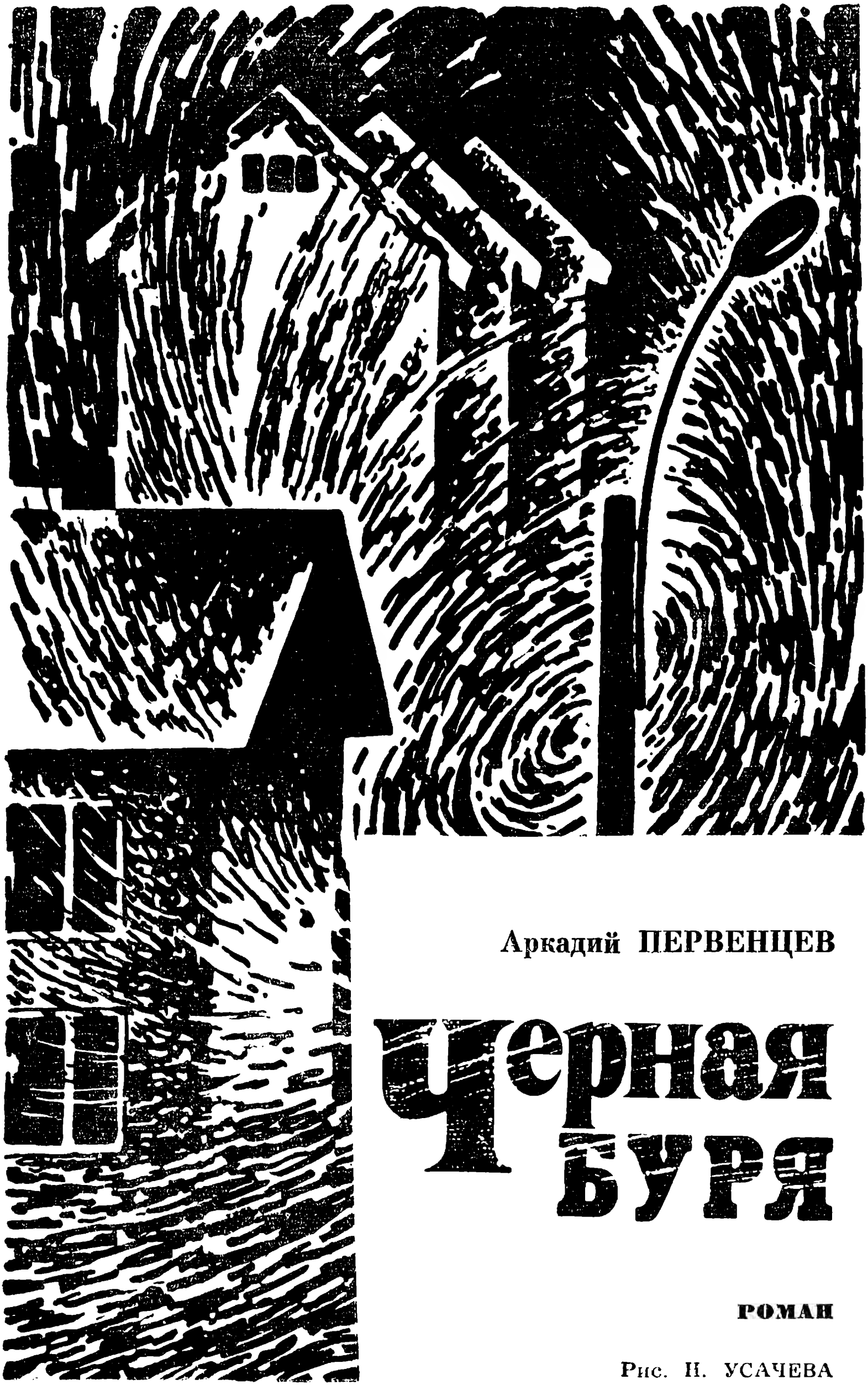
Ну а слово
Он так совьет,
Так его замешает густо!
Ловко врет.
Ну а кто не врет?
Это тоже рыбачье искусство...

Эх, Егорыч, душа моя!
Ты чужой не искал тропинки,
И видали родные края
И в шинели тебя, и в сарпинке.

Верил богу?
Но был твой бог
Не икона — живой божище!
Тот, который и сеять мог,
И пахать, и рубить жилище.

Оттого своих сыновей
Из гнезда ты выпугнул рано,
Чтоб отведали соль полей
И гудящую стынь бурана.

Много раз говорил ты мне:
— Эх, Ванек, одолеть бы старость,
Поработал бы я вдвойне.
Сколько дел на земле осталось!..



Аркадий ПЕРВЕНЦЕВ

Черная буря

РОМАН

Рис. Н. УСАЧЕВА

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава первая

Новый год семья Тарасенко встречала в жарко натопленной хате. Параскева Терентьевна, отхлопотав с подготовкой к празднику, надела новое платье, сшитое Маринкой из куска пестрой ткани.

— Мамочка, ты такая молоденькая! Ну-ка повернись, — щебетала Маринка. — Здесь можно чуточку убрать.

— Потом, после праздника, — соглашалась Параскева Терентьевна. — Что-то наши гости задерживаются...

— Еще и десяти нет, — степенно успокаивал ее муж. — Вот закончит Анатолий иллюминацию на елке, и они тут как тут будут.

Римма и Зоя, уединившись, грызли тыквенные семечки и беседовали на щекотливую тему: завтра Анатолий должен был навестить своих родителей. Римма нервничала, говорила рассеянно.

Продолжение. Начало в № 6.

— Чего ты беспокоишься, Римма? — успокаивала ее Зоя. — Какой же он сын, если не проведает отца с матерью. Ты не будь эгоистична, Римма. Надо и его понимать...

— Я его понимаю, даже слишком понимаю... Он такой слабохарактерный... Мегера его уговорит...

— Нельзя так, Римма, о матери. Семейная жизнь состоит из взаимных уступок.

— Я самолюбивая, — резко возразила Римма, вскинула голову, поправила на груди кулон. На белой стене отразились ее профиль и высокая прическа.

— Тебе следует научиться щадить самолюбие других, — Зоя сохраняла спокойные интонации голоса, зная вспыльчивый характер сестры.

Лампочки на елке наконец загорелись. Анатолий убрал инструмент, сказал:

— Предлагал устроить в полночь салют. Харченко отказался. Виды на урожай антисалютные, нечему радоваться.

— Правильно рассудил, — согласилась Римма.

— Кажется, к нам, — Параскева Терентьевна прислушалась к подъезжающей машине. — Пойдите отчините ворота.

Маринка выпорхнула из хаты. Следом вышел Иван Терентьевич.

Вскоре появились приглашенные: бывший механик бригады Лихопят, перекочевавший в город, его жена Суреночка, четырехлетняя дочка в теплых сапожках и Тигран.

— А наши где? — забеспокоилась Зоя.

— Появятся, — солидно заявил Лихопят.

— Неужели начались морозы? — спрашивала Суреночка. — А я надолго в хутор, — она смутилась, поправила платье. У нее были чистые глаза, резко очерченные брови, сходящиеся на переносице, и сочные губы. С ее лица, которое можно было назвать некрасивым, не сходила улыбка, обнажавшая великолепные зубы. Она вытащила из кошелки свертки. — Это рыбцы, это шамайка, это домашние свиные колбасы, а это чурчхелы, родные прислали из Армении.

Дети заинтересовались чурчхелами, и Суреночка оделила их.

Тигран разговаривал с Параскевой Терентьевной, прислонившись спиной к теплой печке и поглядывая на

дверь, откуда появились вместе с волной холодного воздуха родители Тимофея Аулова. Они привезли фруктовые наливки и корзину винограда.

— Как ты его сохранил? — удивился Иван Терентьевич, подняв гроздь винограда к лампочке.

— Секреты известные, Иван Терентьевич. У меня, сам знаешь, была бригада вкусная, огородно-садоводческая. Какой бы я был начальник без своего винограда?

Суреночка хлопотала у тесно заставленного стола, передвигала запеченных гуся и индюка, водружала блюдо с виноградом в центре и в то же время командовала, чтобы рыбцы порезали, а не чистили, а с шамайки осторожно сняли шкурку, не завернув жира.

— Колбасу мы потом на сковородку в натуральном виде со свиным жиром, нутрячком, — оживленно блестя глазами и зубами, приговаривала Суреночка.

— Видите, какая у меня дочка, Терентьевна, — похвалялся Тигран. — Зять преотличнейший, дурного слова от него не слыхал. Вот галстук подарил он и туфли, югославские туфли, Терентьевна, четвертной стоят...

— Разве дело в деньгах, важно, не забыл, уважил.

— Дочка весь декрет будет жить у меня, — продолжал он, — тоже хорошо. А то я был один, сам стирал, сам гладил, сам кушать готовил.

— Хорошо, хорошо, — соглашалась Параскева Терентьевна, — внучат бы нам побольше. — И тут же вспомнив, что она не только бабушка, а хозяйка этого дома, что от нее — больше ни от кого — будет зависеть встреча гостей, рассадила всех за столом, проверила еще раз посуду, попросила мужа распорядиться вином, Анатолия — музыкой и первой услышала поздравительные слова из Москвы.

Так Облучки вступили в новый, тысяча девятьсот шестьдесят девятый год...

На следующее утро после новогодней ночи Анатолий укатил на мотоцикле в Лебедянку. В прицепленную коляску он положил чувал дерти для коровы, несколько кавунов и вяленый окорок. Морозец прихватывал крепко. Приходилось останавливаться, протирать запотевающие очки. Хилые озими будто свернулись калачиком, чтобы согреться. Анатолий старался не слишком пристально оглядываться по сторонам. Его меньше беспокоили посевы, чем предстоящая встреча. Не сулила она ничего хорошего.

В Баклановской как будто было больше снега. Осторожно спустившись по крутой дороге, Анатолий поехал вдоль моря. Невеселая открылась ему картина. Кончилась путина, отстреляли охотники перелет дичи, если и ходили за рыбой, то редко, промышляя на уху. Море дымилось, готовилось стать. Побережье уже тронуло хрустким, белым ледком. Неизвестно, куда ушли чайки. У Сатанеевки Анатолий заметил пару бакланов, тяжело работавших будто отмякшими крыльями, а при подъезде к Лебедянке увидел, как несколько взъерошенных мартынов расклевывали выброшенную на берег дохлую севрюгу.

Возле углового домика с голубыми наличниками стояла самая любопытная женщина села — мать Алеши Маклакова, школьного товарища Анатолия. И с ней не захотелось говорить, начнет Маклачиха — не кончит, а потом понесет по Лебедянке с выдумками и завихрениями. Алеша вернулся этой осенью с Черноморского флота, пошел по семейной традиции рыбачить, кажется, чуть ли не бригадир, что вполне возможно, парень он грамотный, расторопный.

Маклачиха с поднятыми бровями провожала мотоцикл с коляской. Она не выдержала, чтобы не покричать Пронину. Тот оторвался от своего дела, уперся в землю деревяшкой, высморкался.

Анатолий еще тоскливей почувствовал захолустье, встретив на селе только двух человек. Остальные дворы будто вымерли. Либо перебрали горилки и теперь спят, либо поразъехались на рыбачьи каникулы. Мать он застал на кухне: раскатывала тесто для лапши. В плите горели шпангоуты старого каюка, допревало месиво для коровы, и бурлило в цинковой выварке белье.

— Толечка... сыночек!.. — только и могла выговорить мать, роняя руки, бессильная сделать несколько шагов, чтобы обнять сына. Нижняя губа ее дрожала, и вся она, оторопевшая от неожиданной радости, была такая жалкая и такая близкая, что Анатолий не мог удержаться, чтобы, в свою очередь, не уронить слезу, обнимая мать.

— Батя где?

— Лежит батя.

— Заболел?

— Ревматизм... Прямо-таки скрутил ревматизм, Толечка, — она высвободилась, вытерла о фартук руки, позвала: — Опанас, гляди, кто к нам... Опанас!

Отец успел догадаться о приезде сына, и только ста-

риковская неторопливость не позволила ему тут же объявиться в комнате.

— Анатолий, привет, привет! — как можно беззаботней вымолвил он и, оттолкнувшись от дверного косяка, нетвердыми шагами пошел к сыну. — Размочалила нас хвороба, куда мы годимся, — сетовал он, не скрывая радости. — Ну, ты прямо-таки космонавт, Анатолий!

Отец ткнулся щетиной седых усов в зарумяненную щеку сына, тяжело опустился на стул и продолжал улыбаться, рассматривать сына, примечая не только неизвестную ему куртку, но и важные сапоги, явно нерусский шарф, и шестым чувством угадывал перемены не только в одежде.

Съежившись под этим пристальным и пытливым взглядом отца, Анатолий наспех ответил на вопросы, вышел во двор, чтобы внести подарки. Многочисленная птица требовательно толклась у его ног, гуси пытались заглянуть в коляску, негодовали, ничего не отыскав себе в железном корыте.

— Зачем ты? — отец щупал пальцем окорок, как бы проверяя, по зубам ли ему. — Угадал ты. Не кололи мы кабанчика. Что нам, троим, много надо?.. А за дерть спасибо, в самый раз, что нужно, то нужно... Мотоцикл-то бегает еще?

— Бегает.

— Коли сам, будет бегать, а как пойдет по рукам, тому-другому, — отец, по-видимому, неспроста уперся в мотоцикл. — Купить такого «ижевца» невозможно. Обычный, самоубийственный, можно, стоят в потребиловке, а «ижевца»...

Анатолий успел раздеться, осмотрелся, съел банку холодного варенца, дождался, пока забулькает чайник, сам заварил покрепче и, пока мать заканчивала с лапшой, выпил чашку чаю. Разговор перекидывался с одного на другое, о дурной погоде, о рыбе и озимых хлебах, не преминули вспомнить знакомых, осторожно подошли к главному.

— Ты уж не серчай, сын, — повинился отец, — просили мы Будника и Кучеренко насчет тебя... Не знаю, звонили или при личном общении, а будто бы дают согласие твои начальники.

— Мы не начальника ждем, а сына, — мать оторвалась от стряпни, присела на табуретку и уже не говорила, а причитала. — Пойми нас, Толечка, приюти нашу

немочь, с кем мы остались, видишь сам, как отец ноги таскает, а нам здесь без здоровья нельзя, везде ноги да руки; когда в артели, другое дело, а зараз коли завернет тот же Будник или Маклаков, так все за тебя, когда и почему? — мать всхлипнула, отвернулась, чтобы вытереть слезы, лицо ее стало жестким, не просящим, а требовательным. — Кабы ты там имел хоромы, туда-сюда, а то знаем мы, сунули тебя в закуток, живешь при сарайчике, кренделями тебя не балуют, небось на сухом пайке, твоя-то пальчики не замочит...

— Ладно, не то завела, — остановил ее отец.

— Знаю, не то, отсюда просится, — прижала руки к груди, — не удержишь силком, бо нема у меня тех прежних сил, Опанасе. Нема, Толечка, нема... Чем же ты нас утешишь?

Тягостными становились свидания, потому и редко наведывался сюда Анатолий. Он понимал родителей, знал, что остается еще в неоплатном долгу перед ними и дело не только в деньгах, не мог он бросить их в старости и болезнях. И если бы только мать смирилась, Римму легче убедить, можно жить отдельно, проще-простого построиться рядом, на той же улице. А мать снова все то же: «Твоя пальчики не замочит». Вернешься, разве Римма утерпит: «Твоя мамаша». Твоя, и только так. «Леночка боится моря. Сделать из нее психопатку?»

И на этот раз ничего не получилось. Анатолий торопился к себе, переночевать отказался; по краевому радио трижды передали предупреждение о возможности усиления северо-восточного ветра.

— Сыночек, что же ты нас, — мать выговаривала тихим голосом, — завтра еще празднуют. Постель я выбила, твою подушку из скрыни достала, наволка, простыни, паровым утюгом выгладила.

— Мама, нельзя, на мне большое хозяйство: тракторы, машины, механизмы на мне...

— Знаем, знаем, — покорно соглашалась мать, — тебе машины, а на нас только годы, только синие ночи, лежу, глаза не слипаются, и все синее, все синее...

...В подавленном настроении Анатолий вернулся в Облучки. Вся семья собралась у телевизора, передавали ростовскую программу.

— Ну как там? — сухо спросила Римма, и вся она была чистая, свежая и... равнодушная к нему, и не с ней

делиться, лучше запрятать поглубже, отвечать немногословно.

— Понятно, приезжаешь оттуда всегда вот таким, — буркнула Римма.

— Зачем ты так?

— Сама не знаю зачем, — сказала она в другом, примирительном тоне. — У меня раз отняли, второй раз пытаются отнять...

— Не хочешь отдавать?

— Не хочу, Толя! — Римма проглотила комок, подступивший к горлу, вскинув голову и придя в себя, попросила: — Дай мне воды.

«Синие ночи... все синее, синее...» — безотрывно кружилось в его мозгу, и ему чудились синие фелюги, такие же люди, и небо, и море, и травы, синие поля и синий снег, начинавший сухо постукивать в окна. Ему показалось, что не закрыта вьюшка, он привстал на носки, проверил: закрыта. Значит, ветер забирается в трубу, оттуда выводит свои трели. Иван Терентьевич тоже прислушался, проследил глазами за Анатолием, ничего не сказал, только зябко поежился, хотя в хате было тепло.

Это было в ночь под третье января.

Глава вторая

Второй день нового года Повалию пришлось праздновать на птицеферме, у Антонца — мастера придумывать разные юбилеи. На сей раз был «летописный» повод. Минуло десять лет с того дня, когда Повалий заложил мощную птицеферму на полынном выгоне, где в свое время работали три ветряка. Два из них исчезли будто сами собой, последний же вопреки настойчивым требованиям Дударина не дал доломать Николай Иванович. Этот ветряк был ему особо дорог. Парубкуя, Николай Иванович избирал его местом свиданий. Каждая скрипучая ступенька третьего ветряка хранила память о целомудренных поцелуях, о невинном юношеском жаре. Проезжая мимо в бригаду, Повалий будто молодел, поглядывая на ветряк. Разве замолкнут затронутые в юности чуткие струны души. Потолстели, постарели чародейки. Одни уехали, другие и поныне здесь: кто учительствует, кто на ферме.

Мелькнет знакомая подвявшая улыбка, зыркнет карий глаз, приосанится бывшая девчонка, и горько вздохнет бывший парубок, и очи его будто затянутся туманом. И все расплывется — и фигура, и походка, и не уловить прежние черты, размыло их время: пятнадцать плюс двадцать пять... Ой как много!..

Жена у Повалия родом была из Сибири. Сошлись в институте. Вместе уже давно, незаметно приближается серебряная свадьба. Серафима поправилась на вольных харчах, от прежней, худенькой, с удивленно приподнятыми бровками так мало осталось. Она, хотя ей тоже под сорок, выглядит моложе мужа. Воспоминания Николая Ивановича о ветряке не вызывали у нее ревности, она надеялась на себя, у них было трое детей, и только снисходительно улыбалась, когда муж вспоминал прошлое.

...В комнате было темно, и тем резче выделялись светлые волосы Серафимы, закрывшие плечо и часть лица; белая, полная рука и такая же спина с затененным желобком. Серафима спала спокойно, снов не помнила, вставала посвежевшая, бодрая, как бывает у абсолютно здоровых людей. Зато панически переживала, если у ребенка поднималась температура, и даже легкое недомогание малыша заставляло ее вздрагивать, щупать ребенку лоб, придумывать ванны, горчичники и аспирин. Дети росли крепкими, не перенесли даже безобидной кори, а старший Петя играл в футбол. Последним его увлечением было карате, что-то похлестче самбо или джиуджитсу, чему обучал их во Дворце культуры бывший цирковой борец, случайно охромевший на ринге.

Когда ветер давит на стены и жесткий снег стучит по стеклу, чего только не втемяшивается в голову. Ветряк пострадал в бураны шестьдесят пятого года: изломало в щепки два крыла, а два других тоже помяло. Бригада плотников связала новые крылья, зачалила автокраном и укрепила. Корабельную парусину свернули, как на мачте, завязав бечевой из капрона.

Ураган, если начнется, опять не минует ветряк. Элеватор будто литой из бетона, ему нипочем, устоит. Повалий охнул. Ветер усилился. Снег упруго бил по стеклам. Осторожно, чтобы не разбудить жену, Николай Иванович натянул шерстяные носки, нашарил тапочки. В это время зазвонил телефон. Повалий вышел в прихожую, взял трубку. Звонил из колхозного штаба Заремба: «Из райкома

объявили тревогу. Надо поспешить, Николай Иванович. Край поднят на ноги».

Одевшись потеплее, Повалий разбудил жену, коротко рассказал ей о разговоре с Зарембой. Она поняла сразу, прислушалась, предложила выпить чаю.

— Какой там чай, Сима! — он прикоснулся губами к ее щеке. — Будь дома, присмотри за детьми. В случае чего — позвони в бригаду, я заеду на птицеферму, а оттуда к себе. В книжке есть телефоны районного и колхозного штабов: Караман и Заремба.

Повалий с трудом открыл наружную дверь. Ветер промывал дворы, поднимая вместе с крупинками земли кинжально заостренный ракушечник, бумагу, мусор и стебли бурьяна. Небо, с вечера звездное, потемнело, как бы опустилось на землю.

Чтобы освоиться, Повалий задержался несколько минут на крыльце. Он инстинктивно расставил ноги и уперся спиной в дверь. Эта пауза понадобилась ему для того, чтобы сообразить, как поступить дальше, куда ехать, и в тот же миг ему представилась жуткая картина: сорванные крыши, гибель скота, птицы, пожары...

Пока он размышлял, кто-то надавил изнутри дверь и, почувствовав сопротивление, толкнул сильнее, так что Повалий покачнулся. Полуобернувшись, он увидел уже одетого сына в треухе и в сапогах.

— Папа, извини, я думал, дверь уже занесло

— Ты куда?

— Как куда? С тобой.

— Сидел бы дома.

— Дома? — переспросил он удивленно. — Нам же, комсомольцам, велено по тревоге быть на местах...

— Ах так! — Повалий больше не расспрашивал и сделал первые шаги к гаражу. Во дворе вращались малые смерчи, пытаясь найти выход, чтобы продолжать свой бег. Смерчи эти мешали глядеть, забивали пылью рот и нос. Петя раньше отца добрался в гараж и завел мотор. Само собой получилось, что за рулем оказался сын, и отец доверился ему, подождав, пока тот откроет ворота.

— Почему не закрыл?

— Не надо, папа. Инструктировали...

Впереди разломило столб, снопы искр на миг осветили черепичную крышу, дерево с разметанными ветвями; провод змеисто завился, прожег бурьяны. Погасли огни, и улица потеряла очертания. Свет фар, казалось, упирался

в стену, и только красные огоньки, рыскавшие впереди в густом облаке пыли, помогали угадывать дорогу.

Повалий связался по радиотелефону с птицефермой. Антонец был на крепеже, дежурная ответила, что на ферме все нормально, пожаров и разрушений нет. Выключив тумблер, Повалий откинулся на спинку, протер ладонями лицо, помял захолонувшие щеки и нос. Первое нервное возбуждение прошло, остатки как бы рассасывались по всему телу, и мозг работал в новом напряженном ритме.

Птицеферма находилась на восточной окраине станицы, на пути к полевому стану. Гигантская въездная арка, хотя и стояла торцом к направлению ветра, раскачивалась и скрипела.

Сразу за аркой находилась контора, сложенная прочно из хорошо обожженного кирпича, под крышей из толстой оцинкованной жести. Контора с хоздвором занимала четверть гектара. Восемь птичников по девять тысяч кур, три таких же цыплятника и два акклиматизатора также были выведены из кирпича, и надежность их не вызывала сомнений. Они выдержали прошлую бурю. Ненадежными были три старых корпуса-ветерана, хотя в прошлом году стропила и перекрытия проверяли и подгнившие заменили; ураган может размыть старые саманные стены.

Выйдя из машины, Николай Иванович дальше не пошел, чтобы не разминуться с вызванным по радио Антонцом. Отсюда трудно было что-то разобрать, едва угадывались лишь крыши птичников, покрытые снегом, и на фоне их стучащие голыми обледенелыми ветвями тополя. Из звуков, кроме устойчивого гула ветра, доносились обрывочные крики людей, судя по густому рокоту тракторов, заводивших тросы на крыши.

Из-под арки вынырнули два грузовика. Оттуда высыпались люди, сгрудились в кучку. Старшой побежал в контору, тут же вернулся вместе с женщиной, повязанной платком. Повалий узнал женщину. Это была Люба Заремба, ветфельдшер, младшая сестра парторга, обычно мягкая, стеснительная. Теперь она держалась твердо, пойди угадай это нежное, якобы беззащитное и слабовольное создание.

Не успело подкрепление, прибывшее из станицы, пропасть во мгле, как откуда-то вынырнул Антонец. Размахивая руками, словно отгоняя мошкару, он подошел, раз-

лаписто и неуклюже ступая короткими ногами, обутыми в валенки с калошами.

— Николай Иванович, чего вы беспокоитесь! — с ходу прокричал он, вероятно оглушенный бурей. — У нас порядок! Не поддадимся, Николай Иванович! Пошли в контору. Тут коли не свалит, то зашибет.

В конторе, кроме дежурной по связи и двух девушек-практиканток из техникума совхоза «Заря», не было никого. Лампочки горели вполнакала. Отключили общую энергосеть и перешли на свою аварийную подстанцию. Так рассчитано на всех фермах колхоза.

По позывному «Бирюза» Повалий соединился с райкомом, чтобы выяснить общее положение не только в своем районе. Караман выдал данные о распространении ураганного ветра, охватившего по широкому фронту вторжения весь край. В менее ветроударных районах поднятая в воздух земля засыпала русло рек и каналов рисовой системы.

— М-да, — промычал Повалий и машинально остановил взгляд на подоконнике.

— Каждые полчаса сметаю пыль, Николай Иванович, — оправдывалась дежурная, — вот такусенькую дырочку найдет, и будто кто-то накачивает.

— Я не про то, — успокоил ее Повалий, — подоконник можно обмести, а вот поля... С полями как будем?.. — Он вышел из комнаты связи и, не задерживаясь в конторе, приказал Пете ехать в бригаду. Молочнотоварная ферма стояла на ветроударном месте, там командовал суматошный Чубов.

Пятнадцать километров осиливали трудно. Колеса вязли в наносах, как в песке.

— Антонец молодчага, папа! — похвалил Петя.

— К чему ты? — отец искоса глянул на сына.

Щетки очистителя скрипели по стеклу. Чтобы не сбиться с дороги, следовало внимательно вглядываться вперед, свет не пробивал плотную стену снега и пыли.

— Когда ты задержался в конторе, я осмотрел с ним все хозяйство, — пояснил Петя.

— Ты-то при чем?

— Тебе же надо знать из достоверного источника.

— Допустим, — отец снисходительно улыбнулся.

— Ну так вот. Ни одного листа с крыш не сорвало и, надо полагать, не сорвет. — Петя полуобернулся, продолжая следить за дорогой. — Тебя хвалил.

— В виде прямого подхалимажа, через косвенные источники?

— Антонец по твоему совету заранее забил рельсы для крепления. Раз-два и завел тросы...

— Ах вон оно что. Верно. Подсказывал. Другой бы мимо ушей пропустил.

В поле, густо замешанном мраком, терялись и изменялись ранее приметные ориентиры. Лесные полосы гудели и сгибались в полудужия. Свет фар выхватывал странные картины, что-то уродливое, неестественное. Либо это обман зрения, либо и в самом деле гнулись столбы, хотя они на распорах и скорее должны были не гнуться, а ломаться.

Мутные, редкие огоньки, то возникающие, то пропадающие при приближении к стану, говорили о работе машин и тракторов. Включив радио, Николай Иванович не сразу попал на волну МТФ: мешали разряды, как при грозе, и несколько раз втискивались чужие требовательные, озабоченные голоса. Наконец сквозь помехи пробился голос Кибрика, обеспокоенного долгим отсутствием Николая Ивановича. Затросирование шло нормально, не было ни жертв, ни особых происшествий, но крыши все больше покрывались мелкоземом, и возможны проседания стропил. Голос Анатолия не вызывал тревоги, и Повалий с удовлетворением отметил, что нет ни паники, ни срывов психики.

— Ну как там? — выкрикнул Петя.

— Пока порядок, — коротко ответил отец.

— Приближаемся к табору. Я думаю взять высоткой, хотя будет хватать машину под пузо, но зато голый бугор.

— Давай как лучше.

В стан подъезжали со стороны новостройки животноводческого комплекса, там была твердая, продуваемая насквозь дорога. Машина бежала легко, уверенно, будто конь, почувствовавший теплое, сытое стойло.

— Папа, кто-то бежит прямо на нас, — сказал Петя. — Сумасшедшая девчонка... — Он резко затормозил, и машину занесло на заскольженном бугре. Выправив ее, Петя приоткрыл дверь, чтобы выпалить положенные в такой ситуации слова, но осекся, язык не повернулся: прямо на дороге, с распущенными волосами, подняв руки, стояла Маринка.

— Хату заносит, хату!.. — выкрикивала она. — Мама там! Дети!..

Глава третья

Перед сном Параскева Терентьевна обошла свое хозяйство. В коровнике пахло навозом и жвачкой, корова отозвалась на приход хозяйки, вяло лизнула ее руку шершавым языком. В кормушке лежало люцерновое сено, подстилка освежена. «Не иначе — Толя», — подумала Параскева Терентьевна и, увидев свет в кухоньке, после короткого колебания направилась к молодым, чтобы подтолкнуть Анатолия рассказать о Лебедянке.

Переборов чувство природной деликатности, она постучалась и, впущенная Анатолием, остановилась у порога, жмурясь на свет.

Римма надвинула на лампу абажур, подвинула коленкой стул.

— А ты все бродишь, мама, — сказала она, продолжая накручивать бигуди.

— Зря брожу. — Мать присела, признательно поглядела на зятя. — Куда ни ткнусь, везде ты опередил, Толя. И когда только успеваешь?

Ей хотелось перекинуть мостик к занимавшему ее вопросу о Лебедянке.

— Где я успел, где — батя. — Анатолий поправил одеяло на раскрытой постели, Римма натянула пижаму ленивым движением полных, оголенных рук.

— Спать укладывались, извини, мама.

— Ничего, свои. А ты начинаешь полнеть.

— Созреваю, — она пошевелила плечами, — действительно, тесно становится...

И опять никто не говорил о Лебедянке.

Анатолий прислушался к ветру.

— Набирает силу.

— Нехорошо дует, — сказала мать.

— Снег? — Римма прислушалась. — Вот и зима пришла.

— Снег колючий, — насторожилась мать, — ветровой.

— Значит, температура падает. — Анатолий сидел, облокотившись на тумбочку, в теплой пижаме. Мать знала, что это пижама покойного мужа Риммы и домашние туфли тоже его.

— Как там ваши? — наконец осмелилась Параскева Терентьевна.

— Живут, — уклончиво ответил Анатолий.

— Я пошла, — она тяжело поднялась, упершись одной

рукой в столик, а выпрямившись, почувствовала тупую боль в пояснице.

— Мама, посидела бы еще, — равнодушно сказала Римма.

— Пора... — уже на выходе сказала о том, что Леночка заснула, что утром приготовит оладьи: собрала сметаны, поставила тесто.

Римма воспринимала заботы матери как должное, считала их такими же естественными, как воздух. Она с детства привыкла видеть мать неутомимой, деятельной и не могла себе представить ее в таком положении, когда не она, а за ней нужно ухаживать. Она соглашалась с Анатолием, что не права в отношении к матери, обещала переложить на свои плечи большую часть домашних забот, но все оставалось по-прежнему. «Пойми, Толя, — пыталась оправдаться Римма, — она может обидеться. Мама любит ухаживать. Отними у нее ее права, она не перенесет, уверяю тебя. Помнишь, я попыталась сама сварить борщ. Что она сказала? «Тебе мой не нравится?»

Выйдя из кухоньки, Параскева Терентьевна не сразу пошла в хату, обошла сначала птичник, заглянула в хлев, где, тесно прижавшись, спали два подсвинка; проверила натяжку дрота на стоге сена, осмотрела крышку колодца. Озябшая, прикашливая, она вернулась домой и успокоилась лишь после того, как проверила одежду и обувь школьников, перебрала и переложила по ранцам тетради и книжки; малограмотная, она никогда не ошибалась кому какую.

Было уже около одиннадцати часов, а уснуть не удавалось. Сказывалось ухудшение погоды и, возможно, больше всего то безразличие, с которым встретили ее молодые: она понимала, что говорили они с ней нехотя, и ей казалось, желали, чтобы она ушла поскорее. Их скрытность обижала ее: если с ней не советуются, выходит, она им не нужна. А старая мать больше всего страшилась своей ненужности.

Проснулась она от звуков тревоги: сзывали ударами молота по подвешенному рельсу. Ветер дул от фермы, и потому стонущий звон стал врываться в хату.

Повалий заранее ввел инструкцию: частые и продолжительные удары в рельс обозначали тревогу.

Иван Терентьевич вскинулся раньше всех, ему пришлось подождать Тимофея и замешкавшуюся с одеждой Зою.

— Что это? — Параскева Терентьевна связывала узелок с харчами.

— Буря, — ответил Анатолий.

— Если началась, считай три дня, меньше не бушует,— сказал Иван Терентьевич. — А если после трех суток не ляжет — пойдет на шесть. — Он басовито откашлялся, сказал Маринке: — Тебе и матери — дома. Школы не будет, глядите тут... Кажется, собралась и Римма?

— Мама, закрывайтесь поплотнее, — посоветовал Тимофей, — а то глядите, уже снизу наметает.

Вскоре их шаги потерялись. Проурчали чьи-то мотоциклы. Снова зазвенел рельс.

Маринка ела из банки простоквашу.

— Детишки-то... молодцы. — Она вытерла губы, зевнула. — Я пойду досыпать, мамочка. Ладно?

— Иди, иди, — разрешила мать, — немного погодя затоплю, оладушек напеку.

Матери не удалось напечь оладьев. Погас свет, по-видимому, его выключили по всей линии. Отыскав самодельную восковую свечу, она при неверном, прыгающем свете справила пожиже тесто, приготовила сковороду, зажгла приготовленные с вечера бодылья.

Плита задымила: не было тяги. От дыма проснулись дети, Леночка поднялась на кровати, огляделась, заплакала. Уговоры не помогали, не успокоила ее и Маринка: девочка закричала.

— Мама, надо погасить. — Маринка справилась с печью, хотела открыть дверь, чтобы проветрить, но дверь не поддавалась. Тогда она глянула на окно и увидела, как черная, сыпучая масса оседала на нем.

— А нас заносит, мама! — сказала Маринка.

— Ну что ты... — Мать прислушалась и теперь уже не к буре, не к реву скота, а к потрескиванию потолка.

Параскева Терентьевна пережила шестьдесят пятый. Тогда пыль, именуемая в сводках мелкоземом, раздавливала хаты, кошары и сараи.

Из чердачной ляды вылезли мыши — одна за другой — и, пробежав по стене, нырнули под койку. Они предвещали беду. Выдержат ли стропила, если на крышу навалит земли? Мать осмотрелась, стараясь не показывать своей тревоги, и только строже собрались морщины и глубже стали линии, идущие от углов рта к подбородку.

— Надо кого-то позвать, — осторожно предложила Маринка.

— Позвать? — растерянно переспросила Параскева Терентьевна, продолжая следить за темным зевом чердачной ляды. Мозг ее лихорадочно искал способы спасения, так как сомнений не оставалось, что рано или поздно — если буран не утихнет — дом просядет и рухнет.

— Мама, почему ты не отвечаешь? — Маринка схватила ее за руку, притянула к себе. — Я понимаю, через дверь уже поздно... Я попробую через окно.

— Разбить стекло?

— Зачем? Я через форточку, мама!

— Через форточку разве сумеешь?

Маринка вспомнила, как однажды она пролезла в форточку, когда случайно захлопнули дверь, а ключи остались в хате. Правда, это было давно, три года назад...

— Я почти такая же, мама. Я пролезу в купальнике, а потом ты подашь мне одежду. — Не ожидая ее согласия, она тут же стянула с себя ночную рубашку, надела купальник, присев на кровать, натянула чулки, огладила их обжимающим движением пальцев, завязалась полушалком накрест, по-старушечьи, чтобы закрыть рот.

Дети смотрели на нее с восторженным испугом, и никто из них, ни Леночка, ни Иван да Марья, не обронили ни одного звука, — так все казалось им интересно.

— Когда подашь одежду, мамочка, сразу закроешь форточку, а то нанесет... — Она подвинула к окну табуретку, с большим трудом справляясь с давлением ветра, открыла форточку и, сжав плечи, просунулась наполовину наружу: нет, не пройти. Надо было вылезать вперед ногами, что она потом и сделала. Она что-то прокричала снаружи, разобрать было невозможно, но мать тут же подала ей одежду.

Уже при закрытой форточке Параскева Терентьевна неясно видела, как Маринка, подпрыгивая на сером сугробе, натянула лыжные брюки, куртку и нырнула во мглу.

После того как Маринка ушла, мать напоила детей молоком, укрыла их одеялом и, присев возле них, говорила убаюкивающим голосом о том, что скоро приедет машина, заберет их отсюда в большой, чистый дом, и там она напечет им блинов и даст варенья из жерделы.

Своим крайне обостренным слухом она улавливала посторонние шумы, на стене появились новые трещины, идущие от пазов саманной кладки. Особенно ее пугал потолок. Ничего годного для подпоры нет. От недостаточ-

ного притока свежего воздуха становилось трудно дышать.

Мать неожиданно вспомнила самую младшенькую, свое последнее упование и прощание с женской долей — Пашеньку. Лучше бы не вспоминать: зашлось сердце, закипело кровью, не продохнуть. Не было в этой саманной хате валидолов или, того хуже, нитроглицеринов, все заменяла настойка из трав могучего химика Тиграна, но к ней не потянулась рука. Пашенька стояла перед глазами, малое дитя, посиневшее от бьющего до спазм кашля, с синими веками и умоляющими глазенками. «Пашенька», — неслышно простонала мать и, прогнав видение, расслабляющее ее волю, мгновенно потянулась к детям.

Младшенькие, Иван да Марья, понимали больше того, в чем хотела убедить их мать.

— Мама, ты за нас не волнуйся, — сказал Ваня, и голос его звучал по-взрослому строго. — Нам бы лучше одеться, если придет машина...

— Да, да, лучше заранее одеться, Ванюша.

Они надели суконную школьную форму, приготовили пальто и шапки. Пришел момент той самой удивительной для детей собранности, которая нередко служит основанием для героических поступков и самопожертвования.

Им вдруг стало известно, куда побежала Маринка, и это наполняло их сердца готовностью, причастностью к чему-то значительному.

— Мама, у нас дым, ты хорошо загасила плиту? — спросила Марья.

— Сейчас проверю. — Параскева Терентьевна поднялась, плеснула через вьюшку в печь еще немного воды. Обессиленная, с неприятной дрожью в ногах, она присела на прежнее место, рядом с детьми.

— А Ленка заснула, — сказал Ваня.

— Хорошо, пусть спит.

— Нас на автобусе отвезут в станицу? — спросила Марья.

— Может и на автобусе.

— Автобус не пройдет, — важно вымолвил Ваня.

— Занятий теперь долго не будет, — продолжала Марья.

— Почему ты так думаешь? — спросила мать, чтобы поддержать разговор.

— Школа тоже треснет.

— Перестань! Тебе не жалко школы?

Кровля уже потрескивала в разных местах, и потому, что гудело снаружи, треск этот воспринимался больше чувством. Параскева Терентьевна думала, как поступить, если вдруг обрушится потолок? Оборванные провода тревожно стучали по стеклам.

Прошло около часа после ухода Маринки, возможно и больше. Снаружи доносились новые звуки, уверенные, ритмичные: рокот двигателей, упрямый, настойчивый, осиливающий препятствия, сомнений не оставалось — шли тракторы.

Дети тоже прислушались, их лица вытянулись, у Марьи — одна бровь пошла вверх, и мальчишка попытался поправить ее, пока не получил от сестренки по пальцам. Мать улыбнулась, подошла к окошку. Она увидела, как, ударяя лучом то в грушу, то в полузаметенную клуню, бульдозер раздвигал бугристую накипь мелкозема.

«Челябинец», урча, прокопал траншею, и когда вплотную подрезал углом ножа стену, из кабинки выпрыгнула Маринка, подбежала к окошку.

— Мама, через двери будете... мама! — прокричала она.

Бульдозер расчищал выход. Параскева Терентьевна собиралась торопливо, укутывала детей, связывала узел и сама одевалась на ходу, то кофту натянет, то валенки, и наконец при догорающей свече надела пальто, повязалась платком.

Недолго пришлось мощному «Челябинцу» провозиться с расчисткой. Выпрыгнув из кабины, Анатолий помог Маринке откидать землю и рванул дверь. Параскева Терентьевна с рук на руки передала внучку Анатолию, проследила невидящими глазами за Маринкой, занятой с младшенькими, и только тогда заторопилась. Ноги не слушались ее, дыхание перехватывало; прикрывшись одной рукой, сгорбившись, чтобы устоять под ветром, она выбралась наружу. Им пришлось пройти к школе, где жителей собирали на прицепные тележки «Беларусей» и вывозили в полевой стан. Школу заносило с восточного края, а там, где грузились, было спокойней. Ушел первый трактор, его вела подруга Зои, маленькая въедливая девчонка, ее называли Хаврашек, что на степном наречии означало суслик.

На опустевший двор подошел решительно и смело вто-

рой трактор с двумя тележками, его вел Тимофей, успевший выручить Тиграна, Суреночку с дочкой и других хуторян, живших на отшибе, где особенно постарался буран.

— Через дымари сообщались! — выкрикивал Тимофей, подсаживая на прицеп Параскеву Терентьевну. — Нарочно так не закидаешь! Вот сила!

— Детишек, детишек... — беспокоилась мать.

— Детишки уже на возу, мамочка! Им все это в порядке приключения. Не поддались панике? — любопытствовал Тимофей.

— Какая может быть паника, Тимоша? Нешто ребята мои не Тарасенковы? — с гордостью за семью отвечала мать и, оглянувшись, уже не увидела Тимофея; он грузил людей, узлы, поторапливал растерявшихся и бережно водружал детишек на тележку.

— Мама, я с вами, — Маринка прыгнула, как кошка, прижалась к матери. — Ой и смерзла я, мамочка! — И когда, закончив погрузку, трактор, напряженно дыша, осиливал бугор, сказала: — Может, хата наша останется цела. Анатолий повалил забор, ну и хряпал, мамочка, наш заборчик!..

— Зачем же вы его?

— Надо! Чтобы проносило мимо... Так рекомендуют, мама!

— А корова-то, корова? — мать заволновалась, силясь приподняться.

— Все эвакуируют, — успокаивала ее Маринка. — Николай Иванович приказал... А если он прикажет... — губы ее замерзли, язык не повиновался, девчонка действительно иззяблась, перенервничала.

Она продолжала прижиматься к матери с наветренной стороны, с другой к ней прильнули младшенькие, а Леночку Параскева Терентьевна обняла руками и следила, чтобы девочка не наглоталась студеного ветра.

Ближе к борту сидела Суреночка, также охватив своего ребенка, накрыв себя и его, как палаткой, шалью; сгорбившись, озирался по сторонам Тигран, и белки его глаз казались фарфоровыми шариками. Рядом сидели молчаливые, понурые, захваченные врасплох старые люди и дети, удаляясь теперь уже навсегда от насиженных гнезд.

Глава четвертая

Прежде бури отпускали время на раскачку. Начинались исподтишка, с прощупываниями, заставляли насторожиться, принять меры, будто и вправду не особенно торопились. Январская буря обрушилась, как лавина, словно тайно готовилась, накапливала миллионы тонн пыли, ждала, а потом, когда подоспели первые эшелоны снега, с бешеной яростью бросилась штурмовать землю.

В реальной обстановке требовались реальные поступки. Прежде всего ни на минуту не терять время, зря не растрачивать энергию, так как все понимали, что это не короткий набег, а длительная осада. Поскольку беда охватила весь край, каждый участок районированной территории должен перейти к самостоятельной круговой обороне. Успех будет зависеть не только от техники и других средств, но прежде всего от боевого духа осажденного гарнизона. Подмога будет, а смена — никогда.

Военная терминология вводилась в обиход не ради красного словца. Были штурмующие колонны, были защитники и не просто крепостных стен, сложенных из мертвого материала, а живой земли, гибель которой может принести неисчислимые бедствия на многие годы. Люди должны были сражаться не только за себя или за честь своего флага, они дрались за будущее детей, внуков и правнуков.

Повалий, встретив Маринку, тут же распорядился об эвакуации Облучков. У него на ходу было двадцать тракторов, из них шесть оборудованы как бульдозеры. Теперь надо было подвесить ножи и на остальные, даже при развозе кормов нужны не просто тракторы, а бульдозеры. Кибрику и заведующему фермой Чубову не пришлось дважды повторять распоряжения.

На Облучки бросили сильный «десант» во главе с Кибриком. Хутор находился под боком, и задачу решили быстро. Всех жителей вывезли и разместили в корпусах бригады, в комнатах отдыха, санпропускнике, при кормоцехе. Триста человек!

— Размещайте временно у себя, — приказывал из штаба Караман, — потом будем расселять. Обеспечьте питание, детей возьмите под особый контроль... — Караман предупредил, что из города будут бригады с машинами и материалами, их надо встречать на условленных пунктах.

Повалий вернулся в контору, отряхнулся в коридоре и

прошел в свою комнатку, тяжело передвигая ноги. Медленно стащив куртку, хотел повесить ее на вешалку, раздумал, прислонил к шкафу. Уже через полчаса от нее шел пар, и на полу скапливались лужицы оттаявшего снега.

Следом за ним ввалился завфермой Чубов, взъерошенный, злой, с кровоточащими ссадинами на руках.

— Пойди вымой руки, Чубов, йод в аптечке, — буркнул Повалий раздраженно. — Противно смотреть. И чего ты?

— Как чего? — вспылил Чубов. — Тросы натягивал! А потом, когда рухнула связь на старом коровнике... такие гвоздищи... Может, и спину порвал. — Он пошевелил лопатками, голос стал глуше, вспышка осадила его нервы.

Вернувшись с забинтованными руками, Чубов покорно присел сбоку от бригадира, глядел на него виноватыми глазами, шмыгал носом и никак не мог догадаться, в чем причина явно дурного настроения бригадира. Чубов мысленно проверил свои действия и нашел их безупречными. Все корпуса были вовремя затросированы, из кормов, может быть, и унесло с машину сена. Потом и скирды закрепили надежней. Задавило трех коров, когда рухнула связь! Говядина пришлась к месту. Сколько прибавилось едоков! Стряпухи затопили все котлы.

— Я на тебя не обижаюсь, Чубов, — наконец сказал Повалий, — мы с тобой песчинки в этом хаосе... — Повалий встал, рубанул кулаком воздух, прислушался, скособочившись, к вою за окнами. — Не помню такого урагана... Того и гляди начнет подрывать все с фундамента.

— Ничего, ничего, Николай Иванович, — теперь уже обрадованно успокаивал его Чубов, — у него сила неорганизованная, а мы же люди... Человека природа победить не может... Может надругаться, набезобразничать, а победить нет! Нет! — Чубов тоже встал, разгорячился, и тогда Повалий успокоился, словно чужая горячность прибавила ему сил.

— Круто она тебя уязвила, стихия, — с улыбкой сказал Повалий. — Я боялся за тебя, Чубов, боялся твоего характера. Казался ты мне иногда равнодушным, отвлеченным, а ты ввинтился в обстановку... Спасибо!

— Что вы, Николай Иванович, — повеселел Чубов, — не знал, что вы обо мне такого мнения. Конечно, есть у меня внешняя индифферентность. Потапов подкинул в мой адрес сие иностранное слово...

— Помнишь, мы обещали по-фронтовому? — остановил его Повалий. — Бомбят, а цеха работают.

— Как не помнить! — Чубов вытер стакан, налил нарзана. — Запариваем корма, развозим по загрузочным бункерам, автоматика в строю... — он заученно произнес эти фразы и выпил продолжавший пузыриться нарзан. — Хороши мы были бы, если лапки кверху, спасали бы только свои шкуры...

Повалий в ответе уловил некую заученность, будто пропал гордо заявивший себя Чубов, а возник ученик с зажатой в кулаке шпаргалкой.

Пропыленная шапка лежала под локтем бригадира, шарф брошен на спинку стула, из-за голенищ выглядывают шерстяные чулки, под подошвами мокро. Немного прошло времени, а отяжелела голова, надо держать ее, подперев руками.

— Николай Иванович, тянет, что ли, тебя? Не приболел? — участливо спросил Чубов и подвинулся ближе, встретив поднятые на него глаза, упорно и пытливо что-то искавшие на его лице.

«Вот напасть, — подумал Чубов, — чего же я недобачил?» И, не отыскав в себе ничего предосудительного, осмелев, спросил:

— Чего ты ищешь, Николай Иванович?

— Ищу, угадал, — Повалий отвечал тихо и скрытно.

У Чубова опять зашевелились сомнения, а беглая самопроверка не принесла путного ответа, и потому, решив положить конец тягучим недомолвкам, Чубов требовательно повысил голос:

— Не крути, бей сразу в яблочко, бригадир! Ошибся — исправлю, упрекнешь недостойно — и я могу забуранить! — и, не получив ответа ни словом, ни мимикой, продолжил с большей запальчивостью: — Мне пора, не знаю, как тебе! Там атака, а мы богуем в комблиндаже о семь накатов. — Чубов имел солдатское преимущество, война отковала его дух, который несколько растворился в гражданской полусуете. В напряженной обстановке он вновь обнаружился, и Чубов сам собой властно поднимался над опасностью.

С хорошей и тревожной завистью смотрел на это превращение Повалий, сам недотянувший всего двумя годами до закалочного горнила войны.

— Не в тебе дело, Гаврил Андреевич, прости, — покорно вымолвил Повалий. — Не такой я деспот, чтобы

казнить словом или батагом друзей своих... Себя казню. Вижу свои зигзаги...

Захваченный врасплох неожиданным откровением, пока неясным по замыслу, Чубов нашел все же слова для ободрения.

— Молния бьет зигзагом, а лучше нет красоты... Борона зигзаг взрыхляет лучше прямого зуба... Человек без зигзагов — телеграфный столб, проволоку держит, разносит чужие слова, а дунет, оборвет, что с того столба, дрова есть дрова... — Он спохватился, опалил его карими глазами, спросил: — Так о чем ты засумовался, Николай?

И это бережная поддержка, мягко произнесенное имя, сломавшее остатки барьеров, независимо от них вставшие на пути, помогли Повалию открыть себя глубже.

— Увидел я, Гаврил, как героически повели себя без всяких понуканий наши люди, благодарная оторопь взяла. Гляжу, человек вроде бы значился в списке лодырей, а тут взобрался на крышу, его подкидывает, а он заводит веревку, кричит вниз требовательно, потом схватил лопату и ну шуровать мелкозем. — Повалий улыбнулся, почесал за ухом и продолжал в том же задушевном, товарищеском тоне: — Я и тебя, Гаврил Андреевич, недооценивал, приглядывался; помню, когда мы уводили тебя с механиков на ферму, думал, покатишь по наклонной плоскости, а ведь ты-то другой... Не хотел ты, что ли, раскрываться, потому чуть к тебе, а ты как кошка на пса...

Чубов пристально вгляделся в размягченное лицо Повалия, искоса кинул глазом, пришлепнув по столу твердой ладонью:

— Не верю, не могу поверить, чтобы ты не видел человека!

— Видел. Только через призму. Человек мне свое, выстраданное, я вместе с ним страдаю, а мысленно облекаю его в доспехи, в цифры, сколько, мол, тянет, весомый он или пустотелый.

— Ермака доспехи потянули на дно Иртыша, — вставил Чубов, — а кольчуга-то была золотая, самим царем присланная. Сколько она весила по-твоему? — Чубов нарочито старался отвлечь бригадирские мысли в сторону, оторвать от пустого.

Буря продолжала свое, у нее был густой голос. Подходило время второй дойки. Напрашивался вопрос: как справятся особенно с машинным доением? Стоит только

пропустить сроки, падут надои, а то и перегорит молоко. Спрашивать будут с него, с Чубова.

— Хочешь цифру? Не знаю, сколько весил и сам Ермак, не в нем дело. — Повалий решил высказаться до конца. — Держали меня разные кривые, во сне мерещились диаграммы, ведь мне нельзя было опустить свою координату, Чубов. Все выше и выше, хоть кровь из-под ногтей, — он улыбнулся краешками запеченных губ. — Спроси — выпрыгнет из меня любая цифра, как чек из кассы!

Чубов пожал плечами.

— Учет двигает социализм, куда от цифры спрячешься?

— Да я не хочу прятаться, я хочу, чтобы рядом с ней человек, чтобы дышал, жил, гулял, черт возьми, бил об пол каблуками, чтобы ему хвала...

— И так захвалили: ордена, медали, поощрения...

— Не то, не то... В душе чтобы он был у каждого из нас. Как вот я сегодня принял их! Будто в сердце меня толкнуло, какие люди, Чубов!

— Все одно, перстом будешь тыкать в процент на доске показателей, потому фамилия из буковок, а процент все из той же цифири... — Чубов помахал забинтованными руками, отгоняя пыль.

— Ну? — со вздохом спросил Повалий.

— Что ну, Николай Иванович, надо идти... Люди и проценты все под шифером. Один лист отдерет, другой, потом слоем начнет разворачивать крышу, как банан... Беспокоит меня третий коровник. Строили его давно, тяп да ляп...

— Ты же принял меры.

— Крышу залатали, прикрутили тросом к швеллерам, а угроза есть угроза, трещит, раздавит коровник... — Чубов с досадой сплюнул. — Слышишь, опять скотина на первом месте, а ведь там...

— Фамилии, буковки, — незлобиво поддел его бригадир, — буковки в россыпь...

— Чур тебе, чур! — взмолился Чубов. — Может, я сам пойду?

— Нет, пошли вместе.

Хотя было далеко за полдень, они окунулись во мрак, такой буро-густой и клокочущий, что приходилось с опаской передвигать ноги и следить за собой, чтобы не по-

терять равновесия. Мороз деревянил губы, цеплял за пальцы под рукавичками, и казалось, леденил даже кровь.

Аллейка молодых топольков, весной посаженная комсомольцами, укрылась ползучим сугробом, а старый тополь, принявший грудью удар, не выдержал, рухнул. Его подвела слишком щедрая крона, столько давала в зной она тени, что хватало ее и для перекурных бесед, и для птичьих спевок; а вот навалился ураган на раскрытые паруса ветвей и, не сумев сорвать их, сломал ствол, будто мачту. Такие мысли возникли у Повалия, когда, приостановившись передохнуть, увидел он почти до последней веточки засыпанную крону, а белый клык тополевого ствола поднимался, будто обелиск над свежей могилой.

В облаках пыли, еле пробивая ее, двигались тракторы с зажженными фарами — «Беларуси» и дизельные «Челябинцы» на гусеницах. Возникали и пропадали съеженные фигурки людей, едва преодолевавших стремительное движение ветра. Они двигались то боком, то спиной, прикрывая глаза защитными очками. Иногда возникали мятущиеся снежные смерчи, фееричные при сильном свете прожекторных ламп мощных «Кировцев», передвигающихся на своих огромных колесах, как некие доисторические чудовища. Грузовиков вовсе не было видно, их пока упрятали в гараж, но и им придет время.

— Может, заглянем сюда? — выкрикивал над ухом Чубов, указывая на кирпичный коровник, будто прижатый к земле стальными тросами, на крыше которого одиноко маячил конек, острый, словно киль опрокинутого корабля, продолжающего рассекать бушующие волны.

Повалий побывал в однотипном корпусе, где нормально работала смена и мигающе пульсировал свет от своего двигателя.

— Пойдем в старый! — не оборачиваясь, выкрикнул Повалий.

— А я что! Я ничего! — уже самому себе доказывал Чубов, разговаривая вслух, еле раздвигая губы, чтобы не нахвататься мороза и пыли.

Поднажавши плечом, Повалий совладел с дверью, стонавшей от давления ветра, и вошел в кормокухню, где две женщины размешивали замерзший свекловичный жом с отрубями. Теперь его надо было сделать съедобным, а в воде еще плавали льдинки и пыль, словно нагнетаемая в чаны пескоструйным аппаратом.

— Может, пока полностью перейти на комбикорм? — Повалий вопросительно взглянул на Чубова.

Тот попробовал месиво пальцем, покривился:

— Как вы? — обратился к женщинам.

Одна из них, синеглазая молодайка, открыла лицо.

— Комбикорм комбикормом, а это тоже гоже, — неопределенно ответила она, — только примесей много...

— Берут из ямы, отгребут землю, опять нанесет, — пояснил Чубов прежде всего женщинам, — сами понимаете, хранилища на открытом воздухе...

— Понимаем, Гаврил Андреевич, — сказала вторая, с вялой улыбкой на худом лице. — Как там наши в станице?

Повалий ответил:

— Все держим под контролем. Пока ничего экстраординарного...

— Ах так! — синеглазая засмеялась. — А как понимать экстраординарное, Николай Иванович? Когда вперед ногами понесут?

— Ладно, как тебя, Ларочка?

— Клавочка, Николай Иванович. Какая же это вам Ларочка приметилась?

Женщины тоже прошли в коровник, где заканчивалась ручная дойка. Повалий прислушался к подозрительному поскрипыванию перекрытий в той части коровника, где не успели еще подвести дополнительные подпоры. Именно здесь произошел завал, о котором сокрушался Чубов, и свежая заплата крыши, казалось, пахла сосной и морозом.

Чубов прошел вперед наводить порядок, издалека слышался его резкий голос. Повалий же стоял, окруженный доярками, говорил им об общем положении по краю, о принятых мерах в районе, о том, что подойдет подмога из города.

Разговаривая, он старался держаться веселей, почаще улыбаться, хотя его тревожило не только поскрипывание ненадежных балок, но и покачивание всего коровника. Ураган способен был завалить и более крепкое сооружение, все зависело от критической точки нагрузки. Кровля в свое время делалась более пологой, а такая крыша собирает мелкозем и увеличивает нагрузку.

Он поделился с людьми примерно теми те соображениями, которые высказывал Чубову, поблагодарил за выдержку, и эта откровенность скупого на похвалы брига-

дира не произвела впечатления лишь потому, что люди вели себя так, словно ничего не случилось.

— Мы хотим, чтобы убрали те сломанные столбы, — попросила Клавочка, — во-первых, они мешают ходить, каждый раз через них прыгаешь, а во-вторых, — она глянула на пригорюнившуюся пожилую женщину в телогрейке и красных резиновых сапогах, — кровь на столбах, ими двух коров задавило, на нервы действует...

И женщины стали наперебой рассказывать об убитых коровах.

...— А она не ревет, а мычит, ну как раненый человек, — рассказывала пожилая женщина в красных резиновых сапогах. — Подбежала я: «Плутовка, Плутовочка!» — руку протянула, а она языком, языком, а он горячий такой...

— Ладно, не расстраивайтесь, — утешил ее Повалий, — надо остальных сохранить...

В распахнутые двери с рокотом вползал «Челябинец», таща столбы для подпор. Среди голосов плотников выделялся ровный голос Чубова:

— Будем заводить сразу! Тащите сюда лестницу!

Повалий направился к выходу. Выйдя наружу, бригадир откашлялся и пошел на звук движка. Его нагнал Чубов.

— Наладил подпоры! Тяжеленные брусья!.. День, а приходится свет давать. Гляди, куда солнце запряталось. Как его определили ученые в этом году? Беспокойное солнце?

— Беспокойное, верно, — ответил Повалий.

— Цикл в одиннадцать лет?

— Кажется, в одиннадцать. — Повалий остановился, передохнул. — Петьку моего не видел?

— Видел на «Беларуси», на кормах, — ответил, продолжая свое: — Служил я в Заполярье, там снежные заряды тоже дурная штука, но туда-сюда — и чисто интеллигентные манеры, а у нас сплошная дикость.

Повалий не склонен был к подобным разглагольствованиям.

— Я в третий, Чубов.

— Сопровождать?

— Не надо.

— В третьем машинная дойка пока в ажуре, — сказал Чубов, все же сопровождая бригадира и, где надо, поддерживая его. — Погляди, какие красавцы молодые кор-

пуса! Погляди, каков на них такелаж, и чудится тебе, что ныряют они, как корабли в бунтующем море...

— Не фантазируй, Чубов, — мягко остановил его Повалий, когда они дошли до третьего корпуса. — Иди в контору на связь, Гаврил Андреич! Возьми на себя аппарат, свяжись с райкомом, потом Прилиманским, может быть, попадешь на Брагина... Зачем? Затем, что Брагин может забрать всю помощь города в свой район, а нам нужно срочно вывезти облучковцев в станицу, потом подвезти комбикорма.

Чубов слушал, согнувшись, и по кивкам головы было понятно, что ничего не пропускал мимо ушей; он тут же пошел в контору, в ту сторону, где столбом крутилась пыль возле ивы. Повалий, разгребая навал, протиснулся в двери, врезанные в шилеванные ворота, и сразу попал в относительную тишину капитального корпуса, где, будто в лаборатории, сверкали стеклянные трубы молокоотводов, передвигались люди в белых халатах, ползли ковши с кормом, пахло не только пылью, но и пресной водой, молоком и жвачной отрыжкой.

После проверки третьего корпуса Повалий зашел в бытовку, так называли второе, однотипное с конторой кирпичное здание, оставленное тоже прежними коммунарами. В бытовке столовая и кухня, работавшая на сжиженном пропане.

В столовой кормили детей. Николай Иванович с удовольствием вслушался в их галчиный говор, в суету беспечной молодости; теплое чувство согрело его намерзшую душу. Повалий вспомнил своих и Петю в те годы, когда еще не сломался его по-петушиному юношеский голос и не ходила по щекам электрическая бритва.

Он увидел Дарью да Марью, рядом с ними Леночку. Они доедали гуляш. Каждый из них держал по куску белого хлеба, ели они со старательной молчаливостью крестьян, с детства понимавших значение и цену пищи, не роняя крошек, вымачивая кусочки хлеба в подливке и все выбирая из тарелки.

Повалий зашел на кухню, примостился в уголке на мраморном столике и с наслаждением съел миску говяжьего гуляша, приправленного помидорами и луком.

— Кормите всех бесплатно, — распорядился Повалий, опорожнив корчик хлебного кваса. — На все время бури. Хоть еще не при коммунизме, а работаем на него, понятно?

Приказание было отдано шефу-стряпухе, квадратной от жировых отложений вдовушке, известной не только своим мастерством кулинарии, но и скаредностью.

— Учет не вести? — спрашивала она, поднимая птичьи бровки.

— Вести! Учет двигает социализм... Учет полученным и израсходованным продуктам. Мяса пока хватит, а там, сказал слепой, побачим. Мука есть?

— Чего, чего, Николай Иванович. И крупа есть, и сахар, и макароны.

— Может быть, хлеб придется самим печь, — предупредил Повалий.

— Вот тут-то мы не готовы. Пирожки — да, Николай Иванович. А хлеб, где же его? В духовках? Никогда не пекли... — Повариха сыпала словами мелко, речь ее уснащалась умильными ужимками, масляными глазками и многократными восхвалениями бригадира. Она назвала его добрым и отзывчивым, мудрым и красивым... Захваченный наивной женской лестью, Повалий только притворно вздыхал, будто умаявшись, а в душе действительно добрел к вдовушке и прощал ей многое.

Между бытовкой и конторой, куда пошел Повалий, возвышался памятник первым коммунарам, не памятник, а, вернее сказать, обелиск. А подальше, на отвоеванной полынной земле, вырос парк, небольшой, примерно с полгектара. В центре его росла верба, раскинувшая такой шатер плакучих ветвей, что в знойные дни она одна умела вместить в холодке близ искусственного, вечно журчащего ключа всех членов бригады для обсуждения дел и оперативок. И если кто приезжал, даже иностранные гости, обед давали под сенью вербы. В тысячах снимков разлетелась она по всему миру, и гордился ею Повалий, потому что ее посадили первые коммунары, в честь которых позднее был сложен из штыба высокий обелиск.

Верба была окаймлена примерно на расстоянии пятишести метров загущенными кустами сирени, создавшими плотную прутяную стенку. Вокруг сирени, в большой степени с наветренного фронта, образовались черноикряные бугры издалека принесенной земли, перемятой на воздушных жерновах норд-оста. Верба была посажена не у воды, а на суходоле. Как прижилась она, оставалось загадкой, и никто толком не мог объяснить историю этого дерева, даже Харченко, хотя покойный его отец значился в списке первой коммуны.

Возможно, не столь все это важно для высокой истории, но Повалий мысленно связал себя с вербой заветом: будет ему жизнь и честь, пока живет эта верба. Ураган легко ломал стволы, будто человек валежник на коленке, плакучая же ива, хотя и размахивала космами гибких ветвей, стояла надежно, словно хранила коммунарский характер. С облегчением вглядевшись в чубатую роскошь кроны, Повалий тверже зашагал к конторе, продолжая думать о своем завете.

На крыльце сутулился только что выскочивший наружу Чубов. Увидев его в беспокойно-выжидательной позе, Повалий вспомнил, зачем отсылал Чубова в контору. Чутье подсказало ему, что прибывает помощь из города, и он не ошибся. От машзавода, где директором товарищ Повалия Дикушин, направляется колонна машин с людьми и материалами. Колонну ведет Лихопят, надо ее встретить на главном шоссе, куда следует послать «маяка-человека» и бульдозер.

— Кого послать? — спросил Чубов.

— Подумаем.

— Кибрика?

— Кибрика? — Повалий отряхивался от пыли, набившейся в каждую складку одежды. — Механика бросать на маяк?

— Кого же?

— Покличь Тимофея Аулова!

Глава пятая

После новогоднего вечера у Тарасенко Лихопят отвез старших Ауловых в станицу, а сам вернулся в Облучки и пробыл там около двух суток, справив все по хозяйству, основательно запущенному непрактичным тестем.

Жена Лихопята решила пожить на хуторе на время декрета, поухаживать за отцом, оставленным без женского присмотра, и отдохнуть в тиши от городской суетоки.

В Облучках сохранялся записанный на Суреночку, еще не проданный саманный домик, в прошлом году обложенный кирпичом, отчего он приобрел красивый вид и, на-

до сказать, украшал неказистую улочку. Тигран попросил оставить, больше для развлечения, двух трубачей-голландцев, ходивших с потрепанными гребешками из-за соперничества по мужской линии перед стайкой инфантильных инкубаторных курочек с бледными клювами, лимонными глазками и ярко-алыми шапочками.

Лихопят имел собственную «Волгу» и на ней разъезжал, если поездки не связывались со службой. В Прилиманск он выехал в вечерние сумерки по более удобной дороге через бригаду Повалия, мимо ветряка и птицефермы. На полдороге к станице пришлось переключить подфарники на дальний свет. Тихо подзуживал ветер, распушивал сорочьи хвосты, показательные птичьи флюгера.

Лихопят не мог предположить, что надвигается беда, и потому особенно не спешил, покуривал, подмаргивал встречным машинам и, чтобы не задремать, напевал какой-то легкий мотивчик.

Миновав оставшиеся по левую руку два громаднейших корпуса элеватора, хранивших в своих бетонных закромах тысячи тонн первоклассного зерна сечевой степи, Лихопят выехал на главную магистраль, где езда была не мукой, а удовольствием. Мелькали мощные мачты электропередачи, красные огоньки на буровых вышках и сбросившие листву лесопосадки.

Магистраль обходила станицу, подрезая северные окраины свиносовхоза, а ближе к городу шла мимо двух сел бывших немецких колонистов и государственной фабрики, поставляющей товарных индеек.

Справа и слева угадывались знакомые Лихопяту поля, плантации сахарной свеклы, карианды, клещевины... Лихопят работал долгое время механиком в бригаде Повалия и пережил не один разбойничий налет азиатского урагана.

Ветер посвежел и шел низом, передвигая метлистые поземки сухого снега. Само по себе сочетание ветра и снега не предвещало беды, но тревожило устойчивое движение северо-восточного потока. С ним шутки плохи. Включив приемник, Лихопят вынужден был прослушать несколько избитых песенок, а потом, после короткой паузы, заполненной шипением и треском, услыхал баритон диктора, передающего по краевому радио уклончивое и неопределенное предупреждение.

Первое желание — повернуть обратно и вывезти се-

мью — отпало само собой при виде мирной картины: спокойно мигали огоньки села с редкими кронами оголенных садочков, а почти рядом ощущалось дыхание паровоза, катившего под уклон весело постукивающие вагоны порожняка.

Вдали сверкал пароход местных рейсов, использующий последние дни навигации. И луна выскочила из-за овчинных облаков и тут же крутнула дымным хвостом...

Перемена погоды не обязательно сулила ураган. Это просто обостренные нервы, и ничего больше. Миновав интернат для детей и корпуса местных черемушек, Лихопят проехал обезлюдевшим в этот поздний час городом и, наконец, коротко посигналил возле ворот завода, загнал машину в гараж и отдал распоряжение, прозвучавшее для сонного дежурного неожиданностью.

— Вы поняли правильно.

— Вызвать вам машину?

— Пожалуй, — согласился Лихопят, — хоть и недалече, устал чего-то смертельно.

— Еще бы, — дежурный ухмыльнулся, — праздники.

Добравшись до своей квартиры по пропыленной поземкой улице, Лихопят рассчитывал освежиться горячим душем, хватить наконец запрещенной по дорожным правилам перцовой горилки и забраться в кровать, застланную свежим бельем.

Человек предполагает, а ураган располагает; не удалось Лихопяту выполнить задуманное. Не успел он толком выкурить смачную сигарету, как по местной трансляции объявили: «Внимание, внимание, всем гражданам и учреждениям...» Мелькнувшая мысль о движении ядерных боеголовок, к счастью, не подтвердилась, и потому Лихопят с понятным облегчением, окончательно расставшись с сонливостью, услыхал сообщение председателя штаба гражданской обороны — предрайисполкома Осетинова — о приближении урагана.

Широкое оповещение означало серьезную угрозу. Опасность грозила всему населению, и бороться обязаны были все. Как говорится, горел не только сосед, а горел и собственный дом.

Лихопят знал свое место и не мешкал. Он отвечал за большое автохозяйство, подъездные железнодорожные пути, номерной пирс на пристани, кое-какой мелкий флотишко. Распорядившись дежурному по телефону, он связался с директором Дикушиным.

— Почему я дома? — ответил Дикушин взволнованно. — Представь себе: только-только отвез жену в родильный, машину отпустил и вот...

— Подослать колеса?

— Да что ты, скорее добегу. Раньше тебя буду. А ты давай вприпрыжку, что-то там на заводе уже произошло?..

Разговор прервали.

Лихопят, в прошлом военный, мигом собрался, отыскал пылезащитные очки, сунул в карманы спички, сигареты, электрический фонарь, взял машинально пару яблок и конфеты «Мишки», забытые женой на столе. Их ведомственный дом проснулся, захлопали двери, и никто не обратил внимания на сбежавшего по лестнице обычно неторопливого жильца.

На улице уже вытряхивало из поваленных урн мусор, крутило деревья, крыши странно и непривычно гудели.

Над городом замыкались и вспыхивали провода. Казалось, над кровлями бесновались и гибли молнии. Под трескучим ослепительным светом возникали летящие с колокольным звоном пожарные машины с прилипшими к алому металлу людьми во фригийских шлемах. Где-то горело, растрепанный дым несло вместе с мусором, бумагой, снегом, палыми листьями. Все труднее становилось дышать.

Завернув передохнуть в подворотню старого особняка, Лихопят чуть не сбил с ног человека с бритыми усами и черной бородкой. Это оказался служащий пароходства, знакомый Лихопяту, прекрасный рассказчик и преферансист, его называли Айртоном за эту самую бородку одного из жюль-верновских героев.

— Мистер! — Айртон схватил Лихопята за плечи, обрадованно его потряс. — Живая душа! Что же такое деется, а?

— Как там у вас?

— Воду угоняет с лимана. Валит краны... Если суда окажутся на суше, завалит и их...

— Не подымете, что ли? — сердито отрезал Лихопят.

— Поднимем! Не то поднимали.

Лихопят поспешил дальше. Каждый отвечал за свое: пожарники обязаны тушить пожары, вон та пролетевшая с воем «санитарка» — спасти раненого, он — вверенные ему машины.

Фасадной частью завод выходил на одну из широких бульварных улиц. Управление — отдельно, а корпуса

механических цехов располагались внутри территории, некогда окраины, заросшей по ракушечным дюнам пустыни несъедобными травами, куда и скот не гоняли.

Теперь завод был окружен городом со всех сторон. Предприятие тоже росло, приобрело союзный вес, став поставщиком внутри страны и экспортером.

Завод работал в две с половиной смены, и за его стенами круглосуточно сверкали огни, слышался гул станков, визг истязаемого на заготовке металла; чадила и играла разноцветьем огней литейка.

Подходя к заводу, Лихопят уже за квартал почуял недоброе. Дующий в лицо ветер донес до него многоголосые крики, свистки и тот слитный, угрожающий гомон, который создает чем-то обеспокоенная толпа.

Пробежав оставшееся расстояние осторожно по середине улицы, Лихопят оказался возле проходной, взятой на запоры и охраняемой бригадмильской дружиной во главе с отчаянно смелым секретарем заводского комитета комсомола, в прошлом году демобилизованным из пограничных частей. К нему и подбежал Лихопят, чтобы выяснить обстановку.

— Обстановка еловая, товарищ Лихопят. Сами видите.

— Вижу, но не понимаю, объясни, черт тебя задери!

Комсомольский вожак, будто очнувшись, ответил:

— Женщины бросились к семьям — детей спасать, кое-кто успел, прибежал директор, заперли ворота, закрыли проходную...

— Отчего такая паника?

— Паники нет, товарищ Лихопят. Сорвало крышу в механическом цехе, электричество погасло, все элементы для паники, а ее нет... Вы туда? Сейчас пропустим. — Он распорядился, и Лихопят прошел через проходную во двор, где Дикушин настойчиво, но мягко убеждал женщин оставаться на своих местах, подождать, пока подадут транспорт. Тогда их развезут по квартирам, иначе нельзя ручаться за безопасность.

— Вам хорошо, у вас небось... — всхлипывая, упрекнула его молодая женщина.

— Что у меня? — Дикушин остановился. — Что у меня? — И его замерзшие губы дрогнули, и в притихшей толпе прозвучало особенно громко: — Я жену в родильный отвез, только вернулся — началось... Дома еще двое

остались без мамки, маленького полотенцем привязал к койке...

Никто уже не кричал, не требовал, подчинились не столько милиции, подъехавшей на оперативке, и дружине с кумачовыми повязками, сколько тихому голосу человека, привязавшего своего ребенка к кровати и прибежавшего на завод.

Дикушин направился в механический цех вместе с главным инженером и секретарем парткома. Лихопят остался один. Он умел найти слова, подыскать правильный тон, сказывалась офицерская фронтовая закваска. Лихопят взялся за дело уверенно и крепко. Оказывается, при нынешних бедах цивилизованного общества все упирается в транспорт. Самые энергичные люди бессильны, если нет транспорта. Таков закон машинного века. Штаб требовал машины. Осетинов требовал тоже машины. Секретарь райкома Бабиев спокойно просил помощи, и, наконец, когда пришла просьба Потапова и весть об Облучках, Лихопят не выдержал и во второй половине дня, все наладив, вымолил у Дикушина право самому выехать с колонной в Сечевой район.

— Кто за тебя, Лихопят? — Дикушин взметнул кверху густые белесые брови.

— Пойми, Александр Михайлович...

— Что я должен понять?

— Жена у меня на хуторе, фактически в балке. А ее заметает, ты слышишь, как несет, эшелонами несет землю... — и добавил захрипевшим голосом: — А она у меня в декрете.

Дикушин сразу остыл, потер ладонями щеки, сказал:

— Я забыл. Извини... Езжай! Привет Потапову, свернешь с большака к Повалию, там же у него Облучки? — Лихопят кивнул. — Скажи только, чтобы радировали прямо в бригаду, связь порвана. Позывные... — пошарил в записной книжке, улыбнулся. — «Тулуп» позывные. Придумают же чертяки... Пойдешь пятью ЗИЛами, захватишь мотки буксирных тросов, скобы, если доверяешь прицепу, возьми вершковые доски и столбы. Да, швеллера возьми, швырки для крепления.

Распорядившись, Дикушин «повис» на междугородной: давали Москву, надо было доложить обстановку министру.

Глава шестая

Тимофей Аулов поджидал бригадира, навалившись грудью на батарею, согревая окоченевшие пальцы между горячими ребровинами. По-видимому, он заснул, притомленный ночными и утренними выездами по эвакуации Облучков, и не мог услыхать прихода Повалия. И тот сначала не узнал со спины Тимофея, недовольно поморщился от незваного вторжения в его комнатуху, поднял оброненные Ауловым очки и треух.

Не торопясь будить Тимофея, Повалий тихо уселся за маленький столик, вынул книгу нарядов, отыскал в ней написанную несколько раз фамилию Аулова и удивился сделанной работе. Действительно, надо иметь железный организм, чтобы столько переворочать, да еще в такую погоду. Пока Тимофей сладко похрапывал, Повалий постарался вспомнить все, что ему известно об этом парне. Ведь его намечал он в механики, если уйдет Кибрик в Лебедянку.

Тимофей был призван на действительную после окончания десятилетки и профтехучилища по специальности тракториста-машиниста-шофера. Военкомат направил Тимофея в авиацию, откуда послали его на годичную учебу в Канск, а потом в Тарту. Из армии он привез хорошую характеристику, стал коммунистом... Был он дотошным механиком: точил, паял, строгал. Отец его служил артиллеристом-береговиком в сержантском звании. Весной сорок седьмого вернулся в свой колхоз с Прилиманского бондарного завода, где проработал год после службы.

И мать Тимофея знал Повалий: это была бывшая связистка тоже с Черноморского флота. Договорились родители Тимофея еще там, в бамбуках, а расписались в станичном загсе. Начинали жизнь с чужого угла, так как родительский дом был переполнен. Котелок на двоих, потом купили первую свою кастрюльку; выучился отец Тимофея на шофера в пятьдесят втором и просидел за баранкой лет восемь, пока партком не выдвинул его бригадиром садоводческо-огородного отделения, а потом перевели в полеводство, доверив ему три тысячи шестьсот гектаров жирной низовой земли.

Хотя и не всегда яблочко недалеко падает от яблони, здесь полностью подтвердилась теория наследственности: Тимофей, как и отец, с головой окунулся в колхозные дела.

Пока он живет у отца, близко к центральной плотине, на западном краю станицы; река там очищена от камышей и водорослей, имеется пляж из азовской ракушки, и купаться одно наслаждение.

Верно наметилась и семейная линия у Тимофея, что не менее важно, чем производственная. Не сразу, с робостью, казалось бы несвойственной этому смелому парню, приблизился он к прекрасной дивчине из хлеборобской семьи Тарасенко. Сумел отыскать пути к сердцу избалованной вниманием дивчины, и вот, нате вам, еще одна колхозная семья. Харченко старался пособить и деньгами и материалами, чтобы поскорее построили молодожены свой дом. Будет дом с башенкой, откуда можно видеть реку, дальний горизонт с яблоневыми садами и элеваторы, будто плывущие на зеленой батумской волне.

Стоило прозвенеть рельсу, Тимофей тут как тут, и ни на минуту не оставляет боевого поста.

Николай Иванович любил таких людей, нежно относился к ним в глубине своей чуткой души, внешне прикрытой грубоватым налетом справедливо полученной власти.

Тимофей проснулся и, увидев бригадира, встал, провел рукой по глазам, будто снимая паутину.

— Прошу прощения, Николай Иванович...

Повалий тепло посмотрел на смущенного парня, пригласил к столу. Тимофей видел осунувшееся лицо бригадира, кровяные жилки на белках, черные линии в уголках обожженного ветром рта.

— Чутко спишь, Тимофей.

— Нет сна, Николай Иванович.

— Молодой, что ты... — Повалий просматривал журнал нарядов. — Извини, я хоть не Цезарь, а иногда приходится разговаривать, читать, писать и думать одновременно. Вижу, что-то тебя беспокоит, угадал?

— Угадали. — Он помял руки. — Думаю: не порушим ли хозяйство?

— Ты о колхозе?

— Да. О нашем, о других, о всем крае... Такая беда.

— Беда говоришь? — Повалий сделал какую-то пометку в журнале, закрыл его. — Можно и так назвать. А лучше — атака. Нас атаковали, мы должны драться, победить...

— А потом? — Тимофей осмотрел свои пальцы с обломанными ногтями.

— Что потом?

— После победы? Уносит землю, озимые, посадки, и те не щадит.

— На себя разве не надеешься? — спросил Повалий, понимая смысл и значение вопроса. — Руки-то на что?

Тимофей растопырил пальцы.

— Такие?

— Именно такие, Тимофей. А государство? Государство у нас большое, верное. Ослабел, поддержит... Не таких врагов побеждали. Бомбы швыряли, пулеметами косили, сметали города под корень, ну? Был в Ростове? Видел, каким стал? А ведь лежал в руинах. Воронеж тоже лежал... Крыши на земле искореженные. В Краснодаре почти девятьсот самых лучших зданий было разрушено. Глянь теперь на Краснодар!

Тимофей улыбнулся, пожевал губы, прислушался и вяло сказал:

— Дует.

— Ему не прикажешь остановиться.

— Кому?

— Урагану. Сам темпы программирует, площади выбирает, зубатый и жадный, хуже любого зверя... — Повалий, решив, что парень уже достаточно раскачался, приступил к делу: — Выйдешь навстречу колонне, что идет из города. Встретишь на свертке, на грейдере. Лихопят ведет.

— Лихопят? Да что он, дороги не знает?

— Лихопят знает, но спутать может. Все приметы занесло.

— Что верно, то верно, — Тимофей надел шапку, поправил очки.

— На всякий случай возьми, — Николай Иванович вынул из ящика ракетницу. — Две обычных, так договорились. Понятно?

— Еще бы...

— Умеешь?

— Служил же, Николай Иванович.

Повалий стоял у своего крохотного столика. На нем книга нарядов. Все! Ни чернильниц, ни календарей, ни вазочек, а только серый журнал со следами пальцев механизаторов. Листы словно разбухшие, истрепанные, с живой, пофамильной историей работ на пахоте, севе, жат-

ве. И в эти дни книга нарядов станет частью летописи подвигов, о которых пока еще не ведает великая наша страна.

Страна живет по-прежнему. Работает, учится, отдыхает. Никого не заставит испугаться или хотя бы задуматься слово «коридор». Но здесь это слово в сочетании с «армавирским» приобретает жуткий смысл: зловещая формула стихии, символ необузданного и коварного ее гнева.

Армавирский коридор! Еще не так давно Повалий расстилал на полу ватманский лист, обычный кусок бумаги с чертежами, а ныне тушевые и фламастерские линии словно ожили, взрывая почвы, снося скирды и крыши, ломая столбы и деревья...

Повалий, умудренный прожитыми годами, опытом наблюдений, может быть, впервые так отчетливо понял, как важно иметь рядом надежных людей. Он отвергает гнилые теории о якобы плохой нашей молодежи. Не оценить смену, не подыскать равную замену ветеранам — на кого же тогда надеяться? Взять хотя бы Тимофея. Кто он? Бездельник, прожигатель жизни или фантазер? Когда он родился? После войны, кажется, в сорок шестом. Между ними разрыв в годах невелик, хотя верные три пятилетки. Сумеет ли Тимофей, сын хлебороба, пробежать повалиевские отметки, не сойти на боковую, не утратить веры в себя, в других, в свое государство? Сумеет и достигнет! А он, Повалий, проследит, не даст оступиться. Лишь бы верил Тимофей в смысл завоеванной жизни, не судил по мелочам, не расхищал свой разум на пустые подделки.

Сколько пробежало пронзающих душу воспоминаний всего за какие-то две-три минуты! Вспомнил Николай Иванович лето сорок второго. Ему — одиннадцать. Война прервала учение. С арьергардными боями отступала казачья конница, набранная из бывших полеводов, трактористов, комбайнеров.

Полки отступали через станицу, были потери. Всадники отчаянно бросались в атаки, подрывали гранатами танки. Механизаторы не боялись машин, так выражался ветеран Кучеренко. Именно он настоял на том, чтобы после укрупнения колхоз назвали именем Четвертого корпуса, прошедшего в конно-механизированной армии Дон, Крым, Украину и половину центральной Европы.

И вот когда наши войска ушли и наступила тишина, которую не случайно называют мертвой, когда выстрел

из ружья мог показаться орудийным, когда даже самые отчаянные псы скрутились калачиками под крылечками и в других укромных уголках, мальчишки, обуреваемые страхом и любопытством, залегли под заборами в густом переплетении бузины и вишенных побегов.

Помнит Повалий зудящую над ухом пчелу, пытавшуюся выжать взяток из отживающего цветка тыквы, прижатого его локтем, недоуменный крик петушка-летника и последние бурые остатки пыли, с шелестом падающей на огудину и шелковицу. Сердце билось так, словно стучало в натянутую для барабана кожу, гудело в висках, а привядший лист лопуха, прикрывший стриженую голову, отдавал запахи земли и тлена.

Площадь, где совсем недавно — и пыль от них еще не улеглась — перестраивались расстроенные в бою эскадроны и черноусый Чекурда, поднявшись на стременах, смотрел на отставшее орудие с вороным носом, наполнилась треском мотоциклов и сизоватыми облачками моторного дыма. Рокочущий шум, нараставший оттуда, от немцев, водопадно ринулся на площадь и вдруг замер. Больше того, Повалию показалось, что обсыпанные пылью люди, в касках и словно стеклянных нагрудниках, подались назад. Возник совсем неожиданный затор. Танки с приплюснутыми крышками залязгали, замерли, и застыли тонкие стволы пушек, нацеленные из серой брони.

Замешательство продолжалось недолго, считанные секунды, но для мальчишек пронеслась целая вечность. Кто же заставил замереть разгоряченную колонну авангарда? Это был Ленин. Он стоял один, в порывистой позе, с обнаженной головой, с рукой, поднятой в ораторском жесте; вторая его рука сжимала кепку, казалось, в ней была самая разрушительная граната, способная испепелить не только это бронированное стадо, а всех врагов, посягающих на дело его жизни.

Кто-то резко прокричал команду. Повинуясь ей, танки окружили памятник, однако к нему не приближались, видимо, остерегались опасности.

А потом, когда к памятнику побежали спрыгнувшие с транспортера солдаты с ящиком, клейменным черными и желтыми буквами и цифрами, танки попятились назад, на короткое время оглушив воем двигателей. Чтобы увидеть происходившее, следовало подняться из засады, а лучше всего влезть на дерево, юркнув под ветки шелковицы. Но никто из мальчишек не решился на безрассуд-

ный поступок, и потому они не могли видеть, что делалось дальше. Лишь догадывались, слыша стук кирки и тяжелое дыхание работающих фашистов.

Наконец солдаты, принесшие ящик и стучавшие шанцевым инструментом, пробежали к своему бронетранспортеру и уселись в нем. По команде, повторенной эхом репродуктора, по-видимому установленного в одной из машин, все, кто стоял, курил, переговаривался, пил воду или шнапс из фляжек, исчезли. Лязгнула сталь, закрылись люки. Мотоциклисты и сидевшие у пулеметов в колясках пригнулись...

Взрыв будто поднял памятник, и уже в воздухе разломил его на куски, и со свистящим воем расшвырял, просекая листву деревьев, задирая кору и стуча по крышам бронированных машин. Подняв головы, мальчишки не увидели Ленина. Он как бы пал на поле боя или подорвался, бросившись под танк со связкой гранат, как делали бесстрашные бойцы.

Крышки люков поднялись. Солдаты врага не радовались, не выражали восторга, никто не шутил, молча и строго, будто стыдясь, они тронулись дальше. Площадь опустела, мальчишки вышли из своих засад и разошлись по хатам.

А потом пришел февраль сорок третьего года. Словно промерзшие до стальных ребер, убегали танки, постукивали зубами озябшие немцы, отрубая тесаками мерзлый хлеб, и, прижимаясь губами к цибаркам, пили колодезную воду. За ними гнались, наступая на пятки, конно-механизированные дивизии, сметая каски вместе с головами. Немцы бежали к Тамани, другой поток откатывался к горловине Ростова.

Полковник в шинели с отброшенным за спину синим башлыком картинно, опершись на отсеребренную рукоятку клинка, стоял на советском танке, клянясь прогнать врага с родной земли. У полковника было некрасивое лицо, простуженный голос и неправильная с точки зрения грамматики речь, а мальчишкам он казался красавцем, с прекрасным голосом и таким же языком.

Глотая слезу, сжимая кулаки, словно врубаясь рукой в смысл произносимых слов, заверял его председатель колхоза имени Ленина, вернувшийся с трехлинейкой из заснеженных плавней:

— Дадим хлеб и мясо, сынки! Дадим коней и седла,

сынки! Выкохаем землю, сынки! Ленина восстановим, сынки!

...В той же позе, выбросив руку в ораторском жесте, зажав кепку в другой, стоит сегодня Владимир Ильич на прежнем месте. Памятник восстановили на средства, которые вместе со всеми собирали по грошу они, тогдашние школьники, пионеры и комсомольцы.

Сколько может промелькнуть в памяти за какие-то мгновения! Повалий тряхнул головой, как бы очнулся, в уши его ворвался визг вихря. Тимофей сидел напротив, ожидая последней команды.

Повалий, устало водя рукой, вписал в журнал наряд, взглянул на ручные часы.

— Иди осторожно, — посоветовал он, — на кухне захвати харчей, кажется, должны напечь пирожков, молока возьми... — потер лоб. — Бачок не забудь заправить водой и захвати топливо.

— Можно исполнять? — Тимофей поднялся.

— Нужно! — ответил Повалий.

Глава седьмая

Окружив паренька с транзистором, люди слушали сообщение о похоронах маршала Мерецкова. Тимофей задержался у приемника. После траурного сообщения мужчины разговорились, нашлись ветераны, служившие под командой Мерецкова и в боях против Германии и при разгроме Квантунской армии на Дальнем Востоке.

Иван Терентьевич сидел на скамье и молча курил, опершись локтями о коленки.

— Ты куда, Тимофей? — спросил он.

— Встречать городских, батя.

— Подмога?

— Лихопят едет...

— Значит, дрогнул за семью, — сделал вывод Тарасенко. — Гляди в оба. Метет здорово.

— Я пошел, батя...

Тимофей, прежде чем выйти на улицу, протолкался в конец коридора, где осторожно пошумливала молодежь. Кроме штатных животноводов, здесь были активисты из станицы, приехавшие на подмогу. К ним и подошел Тимофей, чтобы выкурить сигарету перед рейсом.

— Химия возродит? — допытывался кто-то забиячным голосом.

— Возродит! — упрямо отвечал другой. — Иначе не развивали бы химию.

— Сантиметр почвы создается двести лет, а ветер снимает три, а то и больше, и несет столетия к такой бабушке!

— По-твоему, так запросто тысяча лет летит? — спрашивал третий, вслушиваясь в завывания бурана.

— Летит...

— А все же возродит химия, — подзадоривал дружков парень в кожанке с барашковым воротником.

— Родить легче, чем возродить! — подтвердил Тимофей.

— Почему?

— Ты имеешь в виду воскрешение, а это, как тебе известно, миф. Мы обязаны глядеть фактам в лицо и принимать меры...

— Вы не верите в химию?

— Почему не верю? Для девичьих причесок лучшего не придумаешь... — Тимофей повернулся к Пете Повалию. — Зою не видел?

— Отгребает контору.

Возле конторы девчата расчищали траншею. Они работали дружно, слышался глухой стук лопат, смех.

Тимофей задержался на крыльце, прижал спиной дверь и широко расставил ноги. От группы отделилась одна девушка и подошла к нему. Это была Зоя.

— Руку подай, Тимоша!

— Шутишь все, — упрекнул ее Тимофей. — Чего не откликалась?

Зоя потянулась к нему.

— Когда ж это кончится?

— Во всяком деле есть начало, середина и конец. Еду встречать городских.

— Вот как? — с наигранной безразличностью произнесла Зоя и поправила Тимофею шарф. — А это что, револьвер?

— Ракетница.

— Стрелять?

— Сигналить. Все предусмотрено, Зоя.

— Все ли? — Голос ее стал строже, заботливей. — Передавали: валит столбы, током бьет... Речку совсем занесло. Наш ДТ-54 провалился. Ступаков вел.

— Ступаков растяпа...

— Все же смотри! — Зоя прикоснулась к его щеке рукой. — Нас теперь трое...

— Это точно?

— Точно.

— Я рад. — Тимофей бережно обнял Зою. — Теперь я нигде не провалюсь, и током меня не убьет.

Тимофей вывел колесный «Беларусь» на дорогу к облучковскому мосту и включил дальний свет. Высокая кабина помогала обзору, тепло двигателя постепенно согрело озябшее тело. Слева угадывалась речка, справа лесополоса. Движение мелкозема возле нее напоминало бьющихся осетров, попавших на мелководье.

Трактор шел хорошо, хотя передок и утяжелился из-за навесного бульдозерного ножа. Проседала не успевшая уплотниться ветронамывная земля. Тимофей думал не только о настоящем, но и о близком будущем. Выходило, быть ему отцом в сентябре. К тому времени не только созреют, но и будут убраны зерновые, подсолнух и кукуруза. Только будет ли что убирать? Безрадостная картина вызывала чувство щемящей тоски. Умник, говоривший о сантиметрах веками создаваемой почвы, теперь превращался в злого вещуна. Тимофей вспомнил его: очки, запавшие щеки, красные губы и уверенный голос, привыкший, судя по всему, ошарашивать, а не успокаивать. Есть такие любители черных истин. Не будь его, разве пришли бы сейчас страшные мысли о земле.

Тимофею понадобилось не меньше часа, чтобы добраться до главной магистрали к трем развилкам. Позади осталось поле с мохнатыми бородами кулис. Они сослужили добрую службу, хотя о них толковали и так и этак. У шоссе замело глубокий кювет. Тимофей остановил трактор, вылез из кабины и поднялся на шоссе. Каравана пока не было, и Тимофей стал наблюдать за работой ветра. Бугор, канава, кустарник, оказывается, ему не были помехой, лишь немного сдерживали его. Встретив препятствие, он быстро справлялся с ним одним способом — заваливал пылью, сравнивал и продолжал свое черное дело. С посадками получалось иначе. Если посадка продувалась, пыль проходила сквозь нее, как вода через решето, а ветер, наткнувшись, взмывал кверху, беря препятствие, и уже за посадкой где-то спускался, чтобы поглодать почву. Таким образом, возле защитных полос с

одной и другой сторон создавалось мертвое, неуязвимое пространство. Но если полоса загустела да еще проросла кустарником и подлеском, недолго она служила защитой. Буря наметала на нее мелкозем, заваливала до макушек и свободно неслась, как по гребню дюны.

Тимофей спустился с шоссе, увязая в сыпучке. Обойдя трактор, он проверил прежде всего крепление бульдозерного ножа и, забравшись в кабину, провернул механизмы. Прокашлявшись, он вспомнил о молоке и выпил всю бутылку. Пустяковая штука, а после молока он почувствовал себя бодрее. Хотя и не хотелось покидать уют, пришлось вылезать и снова окунуться в круговерть. Почти по оси навалил мелкозем. Тимофей снял пылезащитные очки, всмотрелся в ту сторону, откуда должен прийти караван. Пока ничего не было видно. Где-то пылал пожар заката, играли земляничные тона по горизонту, а здесь непроглядная тьма. Страшная пустыня земли и неба. За шоссе лежала зябь «Четвертого корпуса». Она вымывалась бурей и улетала, быть может, до высоких широт.

Аулов прислонился к теплому радиатору трактора. Для Тимофея трактор был не просто машиной, а как бы живым существом, связанным с ним крепкими узами взаимной дружбы. Трактор приносил ему одежду и пищу, чувство удовлетворения за свой труд, иногда «выводил» на Доску почета. Поэтому Тимофей относился к нему примерно так, как прежде казак холил строевого коня, сам не доест, а коня накормит.

Свет фар размывался, как будто его пропускали через толщу мутной воды, и все же по многим огням можно было догадаться: идет колонна. Машины вскоре скрылись. Тимофей понял: проходят неглубокий распадок, потом снова появились и замигали фарами. Значит, они обращались к «маяку», приблизившись к повороту. Тимофей достал ракетницу, проверил заряд и выстрелил. Трассирующая линия быстро изогнулась, как гибкое удилище с крючком, зацепившим крупную рыбу, потом ракета лопнула, и яркий огонь опалил густой, бушующий воздух. Машины засигналили и двинулись вперед. Тимофей снова выстрелил из ракетницы и заметил примерно на высоте двухсот метров странно парящую птицу. Она не управляла распластанными крыльями, ее несло, как несет листья или бумагу, то подкинет, то завалит набок. Проследив за ее полетом, пока не погасла ракета, Тимо-

фей увидел, как птица, потеряв поддержку, понеслась вниз и скрылась в защитной лесополосе.

Тимофей взглянул на щиток, температура масла снизилась, можно было выключить подачу топлива и остановить двигатель, достаточно поработавший на малых оборотах. Мелкая крупка стучала по крышке капота. Снег не успевал таять, его тут же сносило. Чтобы разыскать птицу до подхода колонны, надо было не мешкать. Согнувшись, размахивая руками, Тимофей пересек насыпь шоссе и кинулся к лесопосадке. Ему казалось, что он сразу найдет птицу, так как проследил за ее падением, но расчеты его не оправдались: то он принимал за нее лохматую ветку, то облепленный пылью бурьян. Наконец ему повезло: птица висла в жестких кустах держидерева. Это был не коршун и не ястреб, как предполагал Тимофей, а молодой подорлик с загнутым клювом, с сильными лапами и длинными когтями. Подорлика убила буря. Он не сумел победить ее, не мог набрать высоту и уйти в чистый воздух, пыль забила ему легкие, глаза и вывернула крылья.

Тимофей отнес подорлика в кабину до подхода каравана. Из первого ЗИЛа степенно вышел Лихопят в овчинном полушубке и меховой ушанке.

— Тимофей, ты? — Лихопят снял перчатку.

— Здравствуйте.

— Нам сигналил?

— Как условились.

— Верно, договаривались так. — Он натянул перчатку, спросил: — Как у вас дела?

— Как сажа бела.

— Вижу. Ехали вслепую два часа, скирды несет, столбы ломает, буря, видно, надолго. — Закончив о погоде, Лихопят спросил: — Как мои?

— Вытащили. Правда, за «поместье» ручаться не могу. Петушки ваши, думаю, откукарекались...

— Шут с ними, с петушками, — Лихопят промял ногами нанос, спустился на грейдер.

Тимофей за ним не пошел. Когда Лихопят вернулся, сказал:

— У меня бульдошка.

— Видел. Это хорошо. У меня два прицепа со столбами, везем тросы, доски и еще кое-что по мелочи.

Из кабины головной машины высунулся шофер, резко закричал:

— Как там?

— Вылезай, Акимыч, разберемся! — предложил Лихопят.

Шофер вылез, захлопнул дверцу, пошел к ним вразвалку, как ходят не приученные к седлу люди после долгого гона. Вблизи он оказался пожилым человеком с толстыми губами и приветливой улыбкой. Из других машин тоже повыходили, собрались в тесный кружок.

— Попить есть, механизатор? — спросил Акимыч. — После праздников никак пламя не погашу.

Он напился из поданного Тимофеем бачка.

— Смотри, ветер бачок вырывает, — удивился пожилой водитель, передавая посудину молодому парню.

— Чего ты так долго? — поторапливали водители молодого. — Не облучковская ли там бражка? Присосался — не отдерешь.

Молодой парень отдал бачок, вытер губы, не снимая рукавицы, спросил Тимофея:

— Правда, что Облучки замело, или врали?

— Правда.

— Как правда, образно или буквально?

— Буквально. Я сам спасал хуторян.

— То есть, принимал участие в эвакуации? — поправил Аулова шофер.

— Тут не до грамматики, — Тимофей потянулся в кабину, вытащил оттуда подорлика. — Вот тебе образ, метафора или обычный шаблон при такой вселенской завирухе.

Птица пошла по рукам, вызвала пересуды.

— Стреляли по ней? — поинтересовался кто-то из рабочих бригады.

— Какой дурак позволит стрелять по такой птице, — сказал Тимофей. — Ураган убил птицу!

— Ураган? — Лихопят, не принимавший участия в разговоре, осмотрел подорлика. — Следов нет, не подстреленный... Думал переждать в небе, забила его земля. Что человек, что птица — без легких нет крыльев.

Ветер пытался вырвать подорлика из рук. Люди сгрудились, молчали. Наконец молодой шофер сказал:

— Рассказывали, будто буря бьет птицу. Я думал в курятниках, утятниках, а ведь тут орел...

— Подорлик, — поправил Тимофей.

— Суть одна, сильная степовая птица, а вот не справилась...

Горожане загудели неодобрительно:

— Мы справимся! Товарищ Лихопят, давай команду!

— И то дело! — согласился Лихопят. — По машинам!

Глава восьмая

Машины тронулись по расчищенному бульдозером спуску. Тимофей ждал, пока выйдут на грейдер ЗИЛы с материалами и людьми. Что-то большее, чем простое удовлетворение, овладело им. «Молодцы ребята, ну кто их заставлял? Свободно могли отказаться, никто силком бы их не потянул», — думал он после того, как поговорил и с Лихопятом и с рабочими.

Грузовикам с прицепами было труднее, они везли бревна и доски. Шоферы осторожничали, чтобы не завалить прицепы. В свете фар, реве двигателей, в клубах мятущейся земли движение колонны напоминало армейские маневры.

Мутный день опрокинулся за горизонт вместе с последними отсветами солнца. Тяжелые длинногабаритные грузы замыкались тремя пятитонками со швеллерами, необходимыми при креплении. На бухтах тросов, положенных поверх швеллеров, сидели, подняв капюшоны брезентовых плащей, рабочие второй группы буксирной бригады. Они, будто на винтовки, опирались на зажатые меж коленями лопаты и кирки.

В это время на шоссе появился человек. Он выполз из кювета, поднялся, что-то закричал, упал и, снова встав, поднял руки. Последние три грузовика остановились, засигналили. Тимофей выпрыгнул из кабины, чтобы выяснить, и, добравшись до шоссе, узнал Безмерного. Посветив фонариком, Тимофей увидел его обезображенное криком лицо, разлохмаченные волосы. Шапка болталась на затылке на тесемках, руки были в крови.

Безмерный не узнал Тимофея. Ухватившись за него, чтобы не свалиться, он сбивчиво рассказал о том, что буря разрушает кошары Макухи, в которых гибнут овцы.

— Режут их, режут! Вот... — он потряс руками, размазал кровь по щекам и пришел в себя лишь после того, как Тимофей встряхнул его и приказал успокоиться и «не разыгрывать бабу».

Обеспокоенный задержкой, подошел Лихопят, выслу-

шал Тимофея, не обращая внимания на Безмерного, продолжавшего что-то бормотать.

— Как он здесь появился?

— Говорит, добирался от Макухи «Явой». Мотоцикл бросил подальше посадок, — ответил Тимофей. — Что будем делать?

Лихопят тяжело вздохнул, гмыкнул, ответил не сразу.

— Надо помочь! Только как? — После раздумья сказал: — Придется тебе, Аулов, идти с бульдошкой. Там крупный массив зяби, ни кустика, ни бородки, небось насугробило, не зря он «Яву» бросил...

— Кого с собой взять?

— Вот эти три машины замковых и бери, людей трогать с них не будем. Справитесь — вернетесь! Лады?

— Лады, товарищ Лихопят!

— Тогда действуй, Аулов.

— Спасибо, спасибо, — забормотал Безмерный, пришедший в себя. Он надел шапку, проверил завязки на телогрейке, вытер руки о штанины и натянул торчавшие за поясом рукавицы.

— Будто притворялся, — заметил Лихопят, — есть такие субъекты...

— Садись в кабину, — приказал Тимофей Безмерному, выводя на шоссе «Беларусь».

— Мотоцикл...

— Хлопцы заберут! — грубовато оборвал Тимофей молодого агронома и, дождавшись, пока Безмерный устроится в кабине, тронулся первым на спуск к придорожной посадке, к тому самому третьему отростку развилка, где некогда собирались соседи на «тильзитский мир».

— Давай скорее! — Безмерный попытался схватить рулевое колесо.

Тимофей потеснил его плечом.

— Возьми ветошь, вытрись... Как мясник.

— Представь себе...

— Брось придуряться, Безмерный.

Караван разделился. Лихопят повел свою колонну к стану бригады, Тимофей к овцеводческой ферме Макухи.

Ферма Героя Социалистического Труда Макухи стояла всего в десяти километрах от моря, что позволяло чабанам иногда отдохнуть на рыбалке и добавить к мясному блюду красной рыбы, судаков и паюсной икры, сохраняемой в холоде в виде шаров, будто накатанных из смолы. Макуха имел радиосвязь, к нему также бежали по степи телефонные столбы. Каменный приземистый дом под цинком, бассейн для пресной воды, постройки из ракушечника дикого камня, похожие на торговые лабазы, — там держат технику, шерсть и запасы комбикормов. На ферме была своя артскважина. Тимофей бывал у Макухи не раз, пользовался его гостеприимством, видел в этом мужичке с острым, забронзовевшим лицом и крутыми плечами некий тип радетеля земли, неискушенного должностями, обманчивой властью и излишним образованием. Ему хватало всего, жаль, что таких, как Макуха, начинает у нас не хватать.

На зимней стоянке овцы распределялись в четырех кошарах, из них три с кирпичным основанием и высокими остроконьковыми крышами, взятыми под волнистый шиферный лист, а третья — как дань прошлому — под камышом, прохладная летом и теплая зимой. Как у Антонца на птицеферме, у Чубова на молочнотоварной, так у Макухи сохранилась патриархальная постройка, на нее не поднималась рука, хотя в шутку вот такие строения и называют «отрыжкой старого быта».

Макуха недавно купил себе с превеликими трудностями «Волгу», обратившись с письмом через своего депутата к самому министру торговли, откровенно признавшись, что ему легче было стать ударником коммунистического труда, Героем, чем купить машину на свои кров-

ные денежки. Министр торговли без всякой оттяжки приказал продать «Волгу» из своего резерва, и Макуха по-детски радовался не столько удаче, как отзывчивости тех, кто стоял высоко. Тимофею тоже хотелось иметь машину, но мечта его оставалась мечтой.

На небольшом распадке, прогнувшем солонец, пришлось «побульдозерить». Пофыркивая и пошумливая, трактор раздвинул завалы и порулил дальше, где твердая грунтовка пошла по настоящей степи.

Безмерный заснул с прихрипом, подсунув под щеку ладонь. В закрытой кабине МТЗ-50 сиденья классные, обтянуты автобимом. Очиститель, работая с центра, старательно обметал стекло, а четыре передние и задние фары позволяли видеть и дорогу, и позади идущий транспорт.

Расслабясь в уютной кабине, Безмерный сладко отдыхал, вытянув ноги. Ритмичная работа двигателя, покачивания высоко поднятой кабины и надежный спутник, сидевший рядом с ним, уравновешивали его после нервного потрясения. Искоса, чуть-чуть приоткрыв опухшие веки, он с завистью наблюдал за Тимофеем, спокойным и сосредоточенным. Люди такого поведения всегда удивляли Михаила Кузьмича естественностью и надежностью.

Отправившись за подмогой и совершив несвойственный ему поступок, Безмерный растерялся в одиночку, а когда мотоцикл завяз, он впал в отчаянье, и, не окажись на шоссе каравана, неизвестно, что бы с ним стало. Теперь все обернулось в его пользу, и Безмерный, как человек эгоистического склада, планировал наперед свои выгоды.

Тимофей ни разу не сбился с дороги. На твердой почве степи пыль забивала сухие бурьяны и уходила в сторону моря. Защитные очки, закрепленные на ушанке, Тимофею понадобятся позже, а сейчас хорошо работающий стеклоочиститель помогал ему видеть все, что открывали фланцевые лампы фар, установленные на кронштейнах по бокам обшивки радиатора. Смотровое стекло, изготовленное на бутофольной прокладке, исключало возможность проникновения пыли. Трактор предназначался для полевых работ в условиях большой запыленности, и потому конструкторы заставили засасываемый в двигатель воздух проходить тройную очистку.

Сидят где-то умные люди, думают, варьируют машины, учитывая климат и капризы погоды; ни с кем из них не встречался механизатор Аулов, а хотелось бы пожать

руку и сказать спасибо тем, кого нет-нет да и называл очкариками и птенцами асфальтовых гнезд.

Ночь, запросто прогнавшая истерзанный день, хозяйничала по праву своего времени. Ветер не ослабевал. Движение его упругой, плотной струи выдерживало стабильное норд-остовое направление.

Ферма Макухи угадывалась издалека по тополям. Они всегда поднимались на пустынном горизонте степовища, как мачты со свернутыми парусами, а уж за ними различались высокие конусы кошар, похожие на группу пирамид, особенно если подъезжаешь к ним в предвечерье. Заглушая близкий гул двигателя, слышался далекий рокот тополей, глухой, неумолчный, как бы раздраженный. Возле овчарен в клубах вихря дрожали лучи автомобильных фар.

— Кучеренко там? — спросил Тимофей.

— Был там, — отметил Безмерный. — Ты здорово угадал маршрут... Я наблюдал, как ты смело орудуешь...

— Ладно, — оборвал его Тимофей, — кемарил, как суслик в норке, чего придуряться?

Безмерный попытался возразить, но Тимофей уже не слушал его, приближаясь к цели. Навстречу им, будто из морской волны, вынырнул сам Макуха с топором и фонарем, подвешенным на груди по-шахтерски.

Он подождал, пока мимо него проползет нож, разрезающий метровую дюну, подошел, сам открыл дверцу и, заглянув внутрь, узнал Тимофея и Безмерного.

— А я уже решил: ни посла, ни осла, — обращаясь к Безмерному, произнес Макуха. — А машина где? Ты схватил «Яву» у Гридасова, а он меня за грудки. Тимофей, а грузовики с чем и с кем?

— С машиностроительного. Десяток рабочих и по мелочи всякий хабур-чабур...

— Понятно! Занимайте позицию. Старую кошару добивает буря, а вот «армянские» надо спасать без репетиции... — И он разлаписто пошагал к грузовикам, брался за борт, заглядывал в кузова, знакомясь с доставленными материалами.

Появился Кучеренко. Его можно было узнать только по голосу. Безмерный успел ему доложить обстановку, и председатель был в курсе всей операции.

— Зануздывайте кошары, — приказывал Кучеренко, — сначала давайте сюда швеллера, а потом заведем тросы. Кому-то надо на крышу...

Рабочие молча сняли бухты троса и швеллера, понесли все к овчарням, сгибаясь под тяжестью грузов и напором ветра. Одни молотами принялись забивать стальные швеллера в землю, другие по лестнице взбирались на кровлю.

Работали они умеючи, будто всегда только этим и занимались. Обутые в валенки с калошами, они не скользили по крыше, к тому же держаться им помогал нанесенный туда мелкозем. Надо было спешить. Ветер неистово забирался под кровлю, и она парусно вспучивалась.

Возле старой кошары орудовали пять человек: три чабана, зоотехник и приехавший с Кучеренко из станицы Гридасов, выделяющийся своей массивной фигурой и громовым басом. Они вытаскивали из-под рухнувших стропил кошары придавленных овец, их бегло осматривали и тут же прирезали. Если овца сопротивлялась, ее прижимали к земле, пересекали горло, швыряли в штабель. Люди скользили по крови, и, когда сюда падал луч света, зрелище было не из приятных.

— Давай на крышу!

— Заводи сюда!

— Стальной? Пожег руки? Эх ты, сколько стали прошло сквозь тебя!

Проворные, цепкие горожане лихо справлялись с задачей. Каждый трос завести было нелегко, буря пыталась повалить рабочих, швырнуть их с крыши, но молодые парни «зануздывали» кошару за кошарой.

Теперь отары были спасены. Овцам задали сено. Выйдя из кошары, Кучеренко натолкнулся на Тимофея.

— Едят, — сказал он. — Словно дети, напугались, успокоились. Приглашай хлопцев на ужин, Тимофей. Кстати, расскажешь, что там случилось с Облучками. Были жертвы?

— Человеческих нет, Игнат Степанович, а вот остальное...

Кучеренко перебил его:

— Остальное наживное, мил человек.

— А у вас как? — в свою очередь, поинтересовался Тимофей.

— Как и везде, что-то поломало, что-то унесло, а в общем тоже без жертв, — и повторил: — Остальное наживное.

* * *

Рабочие из городской бригады сидели вместе с чабанами у противней с бараниной. Ели горячее мясо молча, сосредоточенно, много. Возле каждого грудой вырастали кости.

Кучеренко лениво взялся за еду, пил квас, слушал рассказ Тимофея об Облучках.

— Куда же их разместит Харченко?

— Пока в бригаде.

— Долго там не продержишь. Придется ему отдавать под Облучки Дом специалистов. У нас Докуки и Хворостянки стоят. Будник за рыбу опасается...

— Есть такая угроза? — переспросил Макуха.

Кучеренко усмехнулся краем губ, погрозил пальцем в его сторону:

— Каждый баран за свои рога отвечает, что тебе рыба?

— На одной баранине не потянешь, — отшутился Макуха, — не возражаете, если одарю хлопцев сухими судаками и бараниной? Поработали славно.

— Безусловно, и в бригаду Повалия пошли несколько тушек на погорельцев... — Кучеренко обернулся к Безмерному, говорившему с городскими. — Со мной поедешь, Михал Кузьмич! Сделал свое, обеспечил стыки, теперь придется тебе повоевать во фронтальном порядке...

* * *

Кучеренко уехал вместе с Безмерным. Взяв круто с места, «газик» вскоре растворился во мгле. Макуха прошелся по кошарам, приказал пересчитать овец и снова вернулся в столовую.

— Спасибо вам, хлопцы. Поклониться надо бы до земли, чего я не делаю, чтобы не обеднить ваши чувства, не разорить ваши души... — почувствовав недоумение от запутанной речи, Макуха продолжил более просто: — Имею в виду сообщность наших интересов. Мы и вы одно цельное. Понятно?

Горожане перемигнулись. Кое-кто из них принялся снова за трапезу, намекали на водочку, ее не было, обошлись квасом, сваренным с сухой жерделой.

Макуха увел Тимофея в свою каморку, напутствовал его рассуждениями о степовой жизни, которую не променяет ни на «какие вокзалы и курзалы». Лучились смеш-

ком его глаза еще не поблекшей голубизны, голос смягчился.

— Когда завернуло первый камыш на кошаре, да навалило на нее, да затрещали стропила — будто в сердце ножичком. Не знаю, как приходит инфаркт, возможно, тогда было его приближение. Саданул я полстакана дагестанского коньяка, слыхал, что так надо поступать в подобном случае, и был опять прежним Макухой. — Он засмеялся беззвучно, только прыгали щеки. — «Волга» моя стояла под брезентом, думал, что ей? А тут пронесло дрюк и прямо по машине, стеклышки полетели, можно сказать, брызнули... Думаю, хана моей «Волге». Проверять не стал, главное — овцы. Они мне «нагуляли» машину, «нагуляют» и другую, лишь бы они целы были... А потом, когда рухнула первая связь... Я каждую овечку знаю, возле них и чабан, и повивальная бабка, характер их знаю, красоту их нрава знаю, никогда не боднет, не лягнет, не укусит... А тут... — Макуха встал, откашлялся. — Ни одной я сам не мог прирезать, лучше бы меня по горлу... Приехал Кучеренко, тряхнул меня за плечи, привел в кондицию и только бровью повел, как Безмерный — на мотоцикл и за подмогой. Он бросился к Повалию, сказал, тот поможет... И помог бы, но тут ты повстречался с городскими... Спасибо...

Тимофея крепко одолевала неожиданно пришедшая мысль: не попросить ли Макуху уступить ему поврежденную машину? Овцы ему ее «дали», теперь их спасли, значит, «дадут» и вторую машину через торговую сеть, без министра, тот и знать не будет.

— Слушай, дорогой человек, уступи мне свою инвалидную коляску.

— Коляску? Инвалидную? Да я еще сто лет без коляски... — Макуха действительно не понял намерения Аулова, а когда Тимофей, спотыкаясь на словах, разъяснил ему просьбу, едва сдерживаясь от гнева, тихо спросил: — Что у тебя вот тут, — указал на лоб, — шарик на шарик наскочил, а? Проворачивает?

— Ты же сам говорил, не жалко... — пробормотал обескураженный Тимофей.

— Мало ли чего не вякнешь вгорячах.

— Говорил, главное — овцы...

— Овцы! Овцы! На овце не поедешь! — Макуха сухо посмеялся, перешел на полную серьезность. — Спасибо тебе за овец скажу трижды и четырежды. Если из газеты

пришлют, выдвину тебя на первый план... А если ты машину отсюда уволокешь? Всяк скажет, трофейщик, воспользовался случаем, корысть одолела... А тебе еще жить, жить. В общем, ты не говорил, я не слышал. Пойдем еще раз глянем, если все в норме, подписываю вам путевой лист по прежнему маршруту.

Глава девятая

Ветер продолжал свою густую, будто сотканную из зловещих, стонущих звуков, песню. Слышались и утробное гудение сорванных водоотводных труб, и плеск разбитого стекла, и скрежет отдираемого от кровли железа. Вспышки электрических проводов освещали окна кабинета первого секретаря крайкома Сергея Сергеевича Харламова. Хотя окна не подвергались фронтальному напору ветра, все же и они знудко дребезжали, стойкая поверхность бемского стекла омывалась черными потоками пыли, прослоенной сухими зарядами снега. Иногда налетала крупа, и тогда по окнам будто шуршали и стучали намерзшими прутьями метел.

Добираясь в крайком, Харламов видел растрепанный сквер, перекинутые скамьи и заструги метели, чрезвычайно быстро накрывшие самшитовые окоемки аллей. Памятник Ленину у эркерного входа в роскошное здание крайкома был покрыт наледью.

Харламов ехал сюда по Красной улице, усыпанной словно в ступах истолченным стеклом и изломанными ветками гледичий и ясеней. По улицам, как при артобстреле, бежали и пересекали сплетения магистралей поднятые по радиотревоге люди. Заводы, фабрики, учреждения, транспорт были вызваны для обороны. Трещали и щедро играли огнем провода. Парни в брезентовых куртках, опоясанные широкими ремнями, смело «расшивали аварийные ситуации», укрепившись на шатких мостиках техничек, брошенных в пекло бури. Автобусы шли, задыхаясь в пыли, рассекая воздушные волны, и в полукружиях стекол, обмахиваемых очистителями, смутно угадывались напряженные лица водителей.

Харламов и сам переживал упоение опасностью, чувствовал подъем, трезвую, энергичную собранность всего

организма, будто мускулы стали крепче, глаза зорче и дух весомей.

Торопясь в крайком сразу после первого удара урагана, Харламов знал, что все члены бюро и ответственные сотрудники прибудут на места: действовала система, равная гражданской обороне.

И, отправляясь из дому, провожаемый поднявшейся по тревоге женой, он знал, что она, Степанида Алексеевна, с присущей ей заботой уже распорядилась. В машине будут кожаные и резиновые сапоги, полушубок, ушанка, шерстяное белье и шарф, обязательно шарф, его, зимний, командировочный, и чемоданчик с полотенцем, мыльницей и бритвой...

— Ты надолго? — спросила Степанида Алексеевна.

— Не знаю... На этот раз действительно не знаю.

— Понимаю, — она мягко попрощалась с мужем, — поедешь на места?

— А как же? Лучше один раз увидеть... — он не продолжил всем известной поговорки. — Закрутило надолго и, как слышишь, довольно изуверски.

В здании горел свет. Пыль пришла в город, становилась все гуще и превращала день в ночь. Измельченная, будто на жерновах, земля просачивалась в любые щелочки и, найдя их, уже не оставляла в покое свои лазейки. Как бы ни были плотны добротно сделанные рамы, все же пыль находила, куда ей проникнуть, и на подоконниках паметало узкие, постепенно уширяющиеся полоски. Это были крохотные дюны, последствия самума в миниатюре. Нетрудно было представить, что сейчас делалось в поле, как трепало постройки, если даже каменное здание крайкома будто поднимало на воздух, гудело железо кровли, пели водосточные трубы, неистово «молились» деревья, склоняясь чуть ли не до земли и беспомощно размахивая ветвями, ставшими тоже черными, будто их окунули в мазут.

Харламов дважды докладывал центру о положении на фронте вторжения урагана, идущего стремительно и плотно в жерле «армавирского коридора», этой как бы аэродинамической трубы, подсасывающей ураганные ветры и пыль на плодородную кубанскую равнину, на ее неувлажненные карбонатные черноземы.

Ветроударные районы дрались, как в самом жестоком бою. Ветер усилился до тридцати пяти метров в секунду, поднимая, как на ладони, скирды и крыши, ломая столбы

электропередачи, деревья, стены. Такой ветер действует на психику, вызывает у некоторых чувство безысходности, моральную подавленность. Растерявшийся может сам стать жертвой стихии и натворить много бед. Чтобы не ослабить себя потерей воли, нужно действовать вместе, организованно.

Коммунисты проверялись в первую очередь, они стояли в центре организации, и с них был особый спрос. Поведение коммунистов, как рядовых, так и руководителей, пока было безупречно, и, возглавив борьбу, они сумели повести за собой массы.

Об этом надо в первую очередь сказать Генеральному секретарю ЦК КПСС. Ничего не просить, не жаловаться, а спокойно, достойно доложить, что происходит и как ведется борьба. Пока сообщение, основанное на сводках, но затем он, Харламов, выедет сам на места, выедут секретари, члены бюро, заведующие отделами.

Чтобы чего-то просить, надо знать. Харламов не мог сомневаться в поддержке государства, так как давно был на партийной работе и убедился, как экстренно подходит центр к быстрейшей ликвидации бедствий, будь то ураганы, землетрясения, наводнения, пожары, засухи. Государство являлось единым чутким организмом, где бы что ни случилось, туда немедленно шла помощь — так красные шарики крови бросаются к раненому месту, закрывая его своими тельцами.

Харламов отпустил собранных на оперативку членов бюро и ответственных сотрудников краевого партийного центра. Он готовился говорить с Генеральным секретарем. Из Москвы предупредили, и провод был свободен.

А пока Харламов накапливал сведения, вызывая к аппарату райкомы. Обстановка отменяла многословие. Только главное, только факты. Он записывал эти факты и это главное в свой дневник, который вел в фирменном блокноте, ежегодно даруемом ему начальником Новороссийского пароходства. Кстати, как Новороссийск? Там кухня норд-остов, и флот знает в них толк, не раз сражался с ним грудь с грудью. Ныне норд-ост другого сорта, кухня не там, но все же корабли выведены на рейд, у причалов взяты на штормовые швартовы, объявлена готовность номер один по всему периметру Цемесской бухты. Там опытный начальник пароходства, штурмовавший город

в сентябре сорок третьего года. Там будет порядок! В горкоме и горисполкоме молодые энергичные люди. Мгновенные мысли чередовались и возникали непроизвольно, но они играли одну и ту же роль, укрепляли Харламова, давали право твердо отвечать туда, где сразу же обращено внимание, немедленно принимаются меры.

От себя и от других Харламов добивался прежде всего спокойствия. Нельзя расслаблять нервы, давать волю эмоциональным порывам.

Заглянула уборщица, молча прошла к окну и принялась сгребать пыль с подоконника, покачивая головой. Она, хотя и не глядела на секретаря, видела его больше других, чисто материнским чутьем понимала его внутреннее состояние и, делясь своими наблюдениями, говорила: «Ему сейчас тяжеленько. Нас-то много, а он один...»

Харламов, дожидаясь звонка из Москвы, отрешенным взглядом следил за руками уборщицы. Звонок раздался резкий и продолжительный. Харламов взял трубку, отозвался, первые приветствия прошли, а когда коснулось главного, лицо его застыло, голос стал другим, надо было объяснить общую обстановку. Харламов докладывал скупо, отрывисто и прежде всего о поведении людей. Из Москвы переспросили, и Харламов привел два-три факта мужества.

Генеральный секретарь ЦК КПСС воевал в этих местах, высаживался с десантом, штурмовал Новороссийск, не раз прошел Кубань с войсками, да и потом старался не объезжать ее стороной.

Ему не надо было повторять названий городов и районов, станиц и рек. Память его цепко хранила эти ориентиры, и вряд ли можно было отказать себе в предположении, что, слушая сводку, он как бы видел перед собой картины былого. Можно безошибочно сказать, что легче стало у него на сердце, когда ему сообщали о боевой спайке людей, всех без исключения. А ведь здесь фронт и тыл были перемешаны, битва шла по всей глубине, и, если хорошо дрались разъединенные ячейки, значит, за всю армию можно было быть спокойным.

В Москве шел мягкий снег, а здесь свирепствовал ураганный ветер, по воздуху передвигались миллионы тонн самой плодородной земли, ее гуммозный слой, ее верхний мускульный покров. Ураган сдирал с земли кожу. Ветер звенел. Его удары слышались в телефонной трубке...

Откинувшись на спинку кресла после разговора, Харламов вдумался в будто случайно оброненные фразы и особенно в одну из них. Мы несколько самоуспокоились. Теперь следует думать очень серьезно, как нам победить ветровую эрозию почв.

Вошел второй секретарь Ручкин, скромный, интеллигентный человек, с учтивой улыбкой и мягкими манерами. У него высокий залысоватый лоб и густые, смело выписанные брови. Ручкин — строитель, и не просто по профессии, а по призванию.

— Проверим теперь все ваши швы, — Харламов назвал его по имени и отчеству, — проконтролирует нас ураган... Садитесь!

— Говорили? — Ручкин указал глазами на телефон.

— Только что... Еще трубка не остыла. — Харламов вышел из-за стола, подошел к окну. — В Москве и то было слышно. Аппарат чуткий, а тут еще с визгом пронесло кусок чьей-то кровли... Как в городе?

Ручкин отвечал спокойно и вразумительно. Харламов поручил именно ему определить меры помощи со стороны государства, чтобы быстрее ликвидировать разрушенное.

— В Адыгее несет, — сообщил Ручкин, — недавно говорил с Майкопом.

— Да, мне звонили оттуда. Пожалуй, я сначала выеду в Адыгею, а потом, вероятно, в Курганинский и Тихорецкий районы...

— Стоит ли, Сергей Сергеевич? — Ручкин приподнял брови. — Может быть, мне...

— Нет, вы останетесь здесь за начальника штаба.

— Тогда другое дело.

— Может быть, заверну в Сечевой и Баклановский...

— Далеконько, Сергей Сергеевич.

— Нефть и то бурят до девонских слоев, идут в глубину, если надо, а там люди, да еще какие... — В голосе его прозвучали нотки гордости, и он объяснил причину своего желания поехать «далеконько». — Надо посмотреть, что же дали новые способы противоэрозионной обработки земли. Посмотрю, как ведут себя кулисы...

В кабинет входили вызванные на срочное бюро, осматривали себя, извинялись за внешний вид.

— Ничего, товарищи, — успокоил их Харламов, — после бури отмоемся.

Появился жизнерадостный Мигунов, потер ладони, обменялся шуточками, присел на обычное свое место.

— Вот вам, братцы кубанцы, не стихия, а воздушная Вандея. Ополчилась, ополчилась, братцы кубанцы!

Редактор газеты вздохнул, невесело улыбнулся, потрогал грудь. Ему вредила любая перемена давления. Придя на бюро фактически больным, он думал не о своих болях, а о том, как строить дальнейшие выпуски газеты, так как «загон» теперь ни к чему и от многих ранее запланированных материалов придется отказаться. Корреспонденты с мест могут завалить любыми очерками, самой достоверной информацией, а вот какой взять тон, как повернуть материал, надо подумать сообща. Настрой газеты выявится после этой оперативки.

Пришел академик, великий маг селекции, с твердыми, волевыми чертами лица и взглядом исподлобья, что придавало несвойственную его характеру мрачность.

В крайкоме собрался настоящий ареопаг, ведающий самыми сложными вопросами, задаваемыми ежедневно, ежечасно жизнью.

Секретарь крайкома, ведающий сельским хозяйством, молодой, высокий, с растрепанным чубом густых волос, докладывал о вторжении урагана. Он был напорист в отстаивании своих выводов, его энергичное лицо, не потерявшее летнего загара, пожалуй, было красиво, и только одно портило его: небрежная полуулыбка, кривившая тонкие губы большого рта. Свою речь он вел, не глядя на других, жестикулируя смуглыми руками с тонкими пальцами, и когда он смотрел на людей, то веки его вздрагивали, как будто внезапно обращенные к свету.

Харламов еще не раскусил секретаря на новом месте, хотя не сомневался в его работоспособности. Он был проверен и на районной работе, и в аппарате крайкома. У него было хорошее качество — способность мыслить самостоятельно и не поддаваться соблазну шаблонных рекомендаций, как бы они ни были «проверены жизнью».

Сейчас он не только утверждал случившееся, а как бы отыскивал более точный интеграл — ключ к сохранению периодически разрушаемых почв.

— Нам надо будет собрать специалистов, собрать отовсюду — с целины, из Ростова, из Ставрополья, — чтобы вместе найти безошибочный рецепт... Я понимаю, насколько странно говорить об этом, когда вокруг бушует стихия...

Ученый согласно кивал крупной головой, не без удо-

вольствия слушая запальчивую речь секретаря. Селекционер знал много, за ним была большая жизнь, и в своем скрупулезном деле селекции он не мог доверять чувствам — горячность могла привести к ошибкам и затяжке поисков.

— Соберем, соберем... чародеев, — ворчливо бурчал он.

Секретарь был молод и мог позволить себе жить в мире эмоций, и потому у него свежо и упрямо прорывался собственный голос, то, что можно назвать инициативой руководителя, беспощадного к рутине и жаркого в выводах.

«Что же, и это неплохо», — думал Харламов, выслушавший одного, другого, третьего, все время опираясь на свой опыт и разум, понимая, что ему, как и любому руководителю, предстоит впереди много дел.

В стакане чая плавала пыль. Сахар потемнел. Взяв кусочек, Харламов прищурил левый глаз, осмотрел сахар, поднося его к настольной лампе.

— А ведь страшная штука пыль, она проникает повсюду, — он кашлянул, физически ощущая, как пыль проникает в легкие. — Теперь можно понять, что за штука силикоз.

Бюро закончилось. Первая телеграмма ушла в Москву. Харламов перенес время отъезда на утро четвертого января и остался на всю ночь в крайкоме.

К утру ветер усилился на восемь метров в секунду. Теперь скорость его достигала ста двадцати шести километров в час при морозе ниже десяти градусов.

Ветер пронизывал, обмораживал незащищенные части тела, осыпал измельченной землей, смешанной с сухим снегом, склеивал мелкозем, прессовал его давлением урагана, превращал в губительные черные дюны.

Это была беспощадная, непрерывная атака стихии, не знающей усталости, отдыха. Человек вынужден был драться с такой же яростью.

Дело шло о жизни и смерти, о спасении или гибели, о нищете и горе. Подвергшийся штурму край был поделен на участки. Они занимали не просто обычную линию фронта, так бы еще ничего, бой шел в ширину и глубину, везде вторгался противник, любая щель была насосом, накачивающим со зловещим шумом песок и черную пыль.

Птицы погибали на лету, чайки становились из белых черными и кричали страшно, как дети во сне; те из них, которые оказывались слабее, умирали в воздухе, и долго еще буря трепала их мертвые тела.

Реки явились приманкой для мертвой земли, летящей с гудением и стоном, с быстротой гоночной машины. Тростники и вода магнитно притягивали миллионы тонн пыли, погребались жизненные артерии края.

Могла быть катастрофа, если бы питание пресной водой зависело только от наружных источников: скважины артезианки, густо рассеянные повсюду, вплоть до ферм, спасали людей и животных. Девяносто процентов населения края пили подземную воду. Ежегодно триста пятьдесят буровых вонзаются в недра, чтобы добыть пресную воду из слоев четвертичной эпохи.

Древние артезианские воды залегают на глубине семисот метров и ниже, то поднимаются, то опускаются, уходя под днище огромного бассейна Азовского моря.

Землю нельзя было ни накрыть, ни упрятать. Спасать ее будут после. Теперь же, в ураган, надо было сохранить скот и птицу.

И опять, как и всегда, как при штурме укреплений врага, впереди были коммунисты и дерзновенное племя комсомола. Ураган проверял швы, качество духовного цемента, спайку. Люди отдавали себя сознательно, без понуканий: партийные и беспартийные, мужчины и женщины, старики и дети, молодежь и подростки: отдавали себя на износ, на разрыв, на удар, как металл во время испытаний конструкций, и надежный сплав выдержал самые бешеные перепады температур и не разошелся трещинами.

Это, только лишь это, в самую первую очередь хотел видеть Харламов, отправляясь в далекую и небезопасную дорогу.

За Кубанью, после Пашковского моста, начиналась Адыгея. В низине у аула Лакшукай его встретил секретарь обкома — маленький, крепенький адыгеец, из той породы людей, которых ветер может катать, но не сломить.

Обменявшись короткими приветствиями, они тронулись дальше по равнине левого берега, при виде которого щемило сердце. В Закубанье проживало большинство адыгейцев. Их поля всегда отличались превосходной обработкой. Лёссовые почвы древних отложений позволяли выращивать большие урожаи пшеницы, кукурузы, свеклы. Используя реки, выходящие из горных ущелий, адыгейцы создали рисовые поля с разветвленной системой каналов,

орошающих филигранно разработанные чеки, дающие большие урожаи риса.

Пересев с коня на тракторы, комбайны, машины, адыгейцы стали джигитами культурного земледелия. Их трудолюбие, обращенное на общую пользу, вызывало ответное чувство благодарности. Отсюда питался овощами крупнейший центр края — Краснодар, отсюда на мощный консервный комбинат шли помидоры, огурцы, перец, — да мало ли чего не дает эта изумительная пойма!

Теперь ничего не узнать. Все скрыто в бушующей пелене, хотя слова эти весьма приблизительно говорят о вакханалии стихии. Морозный ураган жестоко расправлялся с озимыми, не разбирая, где что, не ценя труда людей, решивших к юбилейному ленинскому году погордиться введенными в оборот новыми сортами «Авроры» и «Кавказом».

Жалкие нити корней беспомощно цеплялись за почву, трепетали, принимали разное положение, то стлались, будто умоляя их пощадить, то выкручивались спиралью, не зная, что этим они приближают свою кончину. Ветер выхватывал ростки с корнями, тут же поднимал их все выше и выше, измельчал в мокрую труху намороженные стебельки и нес их в мглистый простор, а спустя десяток километров пойди разберись, что сечет твои щеки: льдинки, земля или то, что недавно называлось озимкой.

Харламов не представлял себе такой картины бедствия. Он открывал дверцу машины, преодолевая прессинг ветра, вываливался наружу в полушубке, грубых сапогах, в меховой шапке и нагибался, чтобы, подобно неверующему Фоме, вложить персты свои в раны. Сомнений не оставалось: беда была грубее и значительней, и надо было решать, как поступать дальше.

Вместе с секретарем Адыгейского обкома Харламов объехал фермы и полевые станы семи хозяйств и рисовые системы.

В конце дня они завернули в аул к председателю артели Нухову, встретившему их с чисто восточным спокойствием. Ни одного лишнего жеста, ни одной заминки в плавной гортанной речи, ни одной жалобы не услышали секретари от председателя.

Они сидели в горнице при закрытых окнах, в осажденном доме, подрагивающем будто от недалеких подземных взрывов; горницу вполне можно было назвать кунацкой,

а сидевших за столом и на диване людей кунаками. Их медные лица с типичными чертами адыгов, медально высеченными профилями, плотно сжатыми губами говорили о большой силе воли, которая угадывалась даже при абсолютном молчании и неподвижности. Это был покой мудрости, признак непоколебимого мужества.

Председатель артели развернул блокнот, попросил сесть рядом с ним своего агронома. Тот сел на стул, как будто бы на ковер для мусульманской молитвы: руки — ладонь к ладони, ноги развернул в коленках и сблизил внизу, у головок сапог.

У них был план выхода из положения. Они сообщили спокойными голосами, вначале Нухов, затем агроном, какие культуры следует посеять и что это даст. Озимки погибли, что ж, не колотить же себя в грудь, не вызывать плакальщиц, не заставлять их царапать щеки до крови и рвать волосы, как бывает при отпевании покойника. Пшеницу придется заменить кукурузой, семена уже есть; посеять подсолнечник, сахарную свеклу, вместо озими — пропашную ярь.

— Жалобы есть? — спросил Харламов.

Нухов обвел соратников испытующим взглядом и, хотя никто из них даже не повел бровью, ответил твердо от имени всех:

— Нет!

— Жалко земли? — Харламов ждал, наблюдая, как секретарь обкома гладит подошедшего к нему огромного кота. Мурлыканье довольного лаской кота неожиданно как бы заглушило шум бурана.

— Жалеть можно жалкого, — ответил Нухов с улыбкой, еле тронувшей его сухие губы. — А наша земля сильная.

— Мы ей верим, она — нам! — сказал агроном.

Поздним вечером Харламов приехал в Майкоп. В новой гостинице не сумели нагнать температуру выше восьми градусов. Под двумя одеялами из верблюжьей шерсти, после крепчайшего чая, после такого пути можно было свалиться в мертвом сне. Харламов приказал помощнику разбудить себя: «Ровно в шесть должны выехать дальше». Звонок Ручкина в половине двенадцатого развеял его первый сон: из Москвы просили срочно доложить о положении в крае.

Ранним утром несло по-прежнему. Дорога из Майкопа вела через прилегающие к центру Адыгеи Восточные сады на Кужорскую, откуда сворачивала несколько вниз к станице Ярославской, заселенной у слияния горных рек Псефира и Фарса, и шла далее по равнине на Лабинск, лежавший в трубном зеве Армавирского коридора.

На мосту через Лабу пришлось пропускать колонну войск, прибывших на помощь Курганинскому району. Недолго пробыв в Лабинске, Харламов поспешил в Курганную, куда вызвал на оперативное совещание руководителей колхозов и совхозов.

Железная дорога вела в горы к пункту Щедок, к извести и алебастру. В обратном направлении к Курганной, в междуречье Лабы и Куксы, шоссе шло параллельно железной дороге.

У Родниковской, на половине пути, на станции был заметен товарняк. Река Кукса дымилась волнами пыли. Поваленные столбы размахивали проводами. Из облачных завес появлялись и исчезали люди.

В Курганинской настроение такое же, как и в Адыгее: опытные кадры обнадеживали.

И все же своими силами не обойтись, нужна техника, не хватит семян, бульдозеров, экскаваторов для выручки каналов и рек.

Харламов вернулся в Краснодар правобережьем Лабы через Темиргоевскую, Воздвиженскую, Некрасовскую и Усть-Лабинск. Везде корчилась в судорогах земля. Надо было думать, как выйти из беды.

Город продувался насквозь. Машину подбрасывало на ухабах, не успевали очищать намерзлины. Транспорт работал. В театре горели огни. Милиционеры стояли на своих постах. Прохожие двигались осторожно, по-видимому, уже приловчились, как моряки приспосабливаются передвигаться по штормовой палубе.

Крайком жил тихой, ночной жизнью. Милиционер встрепенулся, откозырял на входе. Газетный киоск затянут на ночь парусиной. На вешалке несколько шуб: «Ишь ты, даже приезжают...»

Пройдя в свой кабинет и ощутив запах полированного дерева, кондиционированного воздуха и чего-то еще, похожего на запах лака или нагретого стекла, Харламов приказал помощнику соединиться с ЦК, умылся в бытовке, выпил из термоса стакан чаю и, прожевывая кусочек

лимона, вышел в кабинет в тот момент, когда звонок позвал его к аппарату.

На проводе был секретарь ЦК КПСС.

— Я звонил вам, Сергей Сергеевич, — сказал он, приветливо поздоровавшись, — разыскивал, но не торопил. Расскажите, как там у вас? Что там у вас, мы уже знаем... — Внимательно выслушал ответ и попросил Харламова выехать в Москву. — Надо будет предварительно согласовать с различными ведомствами по линии Совмина. Утрясти, как мы привыкли выражаться... — секретарь ЦК КПСС иронически произнес последнюю фразу и, пожелав спокойной ночи, добавил: — Если только она может быть спокойной.

Тихо приоткрыв дверь, появился Ручкин, прошел по ковру бесшумными шагами и положил на угол стола красную папку.

Свет настольной лампы выдавал Харламова, как бы он ни бодрился: лицо было утомлено, обмякло, морщины углубились, и всегда живые, коричневатые его глаза припухли и как бы глубже спрятались в орбиты. Только ореховая россыпь волос, озорновато сшибленных вправо, молодила его, не давала подсчитывать неизбежную карусель лет, и даже иневатые нити, продернутые кое-где, не предвещали еще зимней стужи этой лихой голове.

Ручкин был склонен к аналитическому мышлению, но чаще собственная лирическая натура глубоко интеллигентного человека заводила его в, пожалуй, ненужные в его сегодняшнем положении поэтические рощи. Ручкин сошелся с Харламовым, полюбил его, считал не только полезным для себя, но и поучительным работать бок о бок, не прибегая ни к лести, ни тем более к угодничеству.

И сейчас, в дни напряжения, он понимал Харламова, радовался, видя его столь же ровным и одновременно пылким. Мало или много придется работать вместе, а никогда не забыть совместных трудов и дружбы.

Ручкин почувствовал на себе пристальный взгляд Харламова, спросил:

— В Москву собираетесь?

— Уже догадался? — улыбнулся Харламов.

— Когда же выезжать?

— Сегодня поездом. Самолеты на приколе. — Он раскрыл папку, надел очки и, сутулясь, принялся за бумаги. — Ого, да вы потрудились! — И вместо того, чтобы

бегло просмотреть, уперся локтями в стол, прихватил пальцами виски, так что к глазам сбежались морщины, и углубился в документ.

Глава десятая

Буран угнетал, вызывал болезни, отнимал сон и расшатывал нервы. К счастью для обороняемой земли, большинство населения сельскохозяйственных провинций края оказалось устойчивым и физически и нравственно.

Тимофей Аулов жил в своей среде как рыба живет в воде: работал «зверски», ел хорошо, пил много чаю и молока, спал крепко и не ставил мучительных проблем.

Втянулся в битву Чубов, стал спокойнее, распорядительнее, исчезла суматошливость, проснулся в нем солдат-фронтовик. Никто не мог теперь удивленно вопрошать: «Помилуйте, как же он воевал, этот Чубов? Да его прихлопнуло бы в первом бою!»

Выносливы были молодые, особенно девчата. Удивительное что-то есть у наших советских девчат. Помнится, как они действовали в батальонах морской пехоты, увлекали за собой, а в самом кошмарном бою, где седели мужчины, они по-матерински расчетливо, бережно и неприметно храбро вытаскивали раненых, спасали от смерти, никогда не кичась своими подвигами и не понимая иногда, за что им выдают ордена.

Взглянуть на ту же Хаврашек с ее растопыренными косичками, туго затянутыми по концам ленточками. Куда только ее не посылали на «Беларуси». Сама приладила бульдозерный нож, овладела им с ходу, смело вонзалась в сугробы земли, разметывала их так, что смерчи выпрыгивали из-под ее «злого жала»... Или та же Зоя, счастливая будущим материнством, с загадочно лукавым взглядом карих глаз и ямочками на полных щеках. А вот Анатолия повело. Надломилось что-то в этом внешне хладнокровном парне, развинтились какие-то шурупы. Видимо, где-то есть предел моральной утомляемости: терпит, терпит человек, и вдруг сразу сбой. Процесс проходил незаметно для окружающих. Анатолий по-прежнему аккуратно обслуживал технику, быстро перестраивался в дни авралов, без окриков умел подтянуть, увлечь отстающих. Кибрика ставили в пример, советовали у него поучиться,

и скупой на похвалы Харченко, осмотрев хозяйство, назвал его «сердцеведом моторов».

Только со своим сердцем не мог справиться механик бригады.

Пока он вел трагическую беседу только с самим собой, никого не посвящая в сомнения. Сын рыбака, выросший в двух шагах от моря, он привязался к земле только через семью земледельцев Тарасенко. Анатолий наблюдал за этой семьей не издали, а исподволь, день за днем, вникая в их труд, разговоры, скупые мечты. Он, так же как Потапов, не раз слушал Ивана Терентьевича, смотрел другими глазами на рассветы и закаты, на бугры и траву. Незыблемый быт Облучков теперь был разрушен.

И не только это вторглось во внутренний мир Анатолия, масштабы беды были гораздо крупнее: на его глазах, казалось, погибла земля. Эта мысль не давала ему покоя, вызывала глухую, вяжущую тоску. Он не осмеливался ни с кем поделиться своей тревогой, и его страдания становились сильней. К этим мыслям властно присоединялись воспоминания детства, навеянные недавним посещением родителей. Он помнил все: и атласную серую волну, лизавшую бледный берег, и скрип колкого ракушечника под ногами, и чаек с их мраморными брюшками, и фаянсовую стаю лебедей. Все выплескивалось само собой, как ни отгоняй, как ни бери себя в руки. И все чаще он видел родителей, молодых, с такими звонкими голосами, быстрыми движениями, веселым смехом. Тем более надо идти к ним, когда они стары и нуждаются в нем, как он когда-то нуждался в них.

И все же не это было главным. В мглистом сегодня он видел более пугающее завтра. Он отправился в поле пешком, избрав низовую дорогу через мост, оставляя влево от себя могильные холмы Облучков. На мосту он повстречал молоковозы с номерными знаками Прилиманска. Дизельный трактор расчищал им дорогу. Пропустив машины, ухватившись за шаткие перила моста, Анатолий наблюдал, как дышала река под тяжестью проседающей до дна пыли. Сивые проталины кипели изнутри. Поток еще пытался пробить себе путь, но это были последние и, пожалуй, бесполезные усилия.

Увязая в месиве пыли и снега, закрывая лицо от колких частиц, он по гати перебрался на ту сторону реки и не пошел по дороге, на которой скрылись молоковозы, а свернул вправо, держась посадок катальпы.

За лесополосой по склону лежало четыреста гектаров сильной пшеницы. Сюда он направлял темно-вишневые сеялки.

Анатолий вспоминал, как мягко убеждала Повалия Анна Сергеевна ввести здесь кулисы, а Повалий с уважительной настойчивостью просил главного агронома хотя бы здесь «не пачкать» визитную карточку.

— Мамочка вы наша, Анна Сергеевна, везде вырастил я проклятые «бороды», дай же мне хотя здесь, откуда жалуют городские гости, показать искусство чеканки.

— Ветроударный участок, Николай Иванович, — говорила Анна Сергеевна, укоризненно покачивая головой, — вы же проводник прогрессивной системы.

Анатолий представлял голубое небо, четко обозначенную линию горизонта, отрисованную единым сочным мазком раскустившихся зеленей. Так было. Так, может, никогда больше не будет!

Истерзанное, неузнаваемое поле. Куда только ушли их труды? Зачем было бороновать, разрыхлять, прикатывать, сглаживать засеченные плугами повороты, выделывать все эти ненужные па, если земля изодрана в клочья, всходы обнажены до корней, и белые вялые их нити ломки и хрустят под ногами? Есть ряды, улетевшие неизвестно куда, есть готовые к полету, а есть придавленные, мертвые, с них уже не будет прока.

Окоченевшими пальцами он брал жалкие остатки сильной пшеницы, разминал, пока не образовывалась жижица, и влага каплями просачивалась между сжатыми пальцами и стекала на землю. Анатолий шел с сухими глазами. Он был более зол, чем опечален. Жалости не оставалось в его сердце.

Он шел, и взгляд его будто волочился по земле. Он вынужден был противостоять ветру, так как шел ему навстречу; ему приходилось напрягаться при каждом шаге, следить за движением ног, куда и как стать. Пожалуй, он потерял счет времени. Больше того, он не мог вспомнить, какой сегодня день, число, и ему казалось, что он не мог бы определить время суток.

Руки его закоченели, на ссадинах выступила кровь. Он машинально отсасывал ее и сплевывал, и солено-сладкий привкус крови смешивался с пылью и вызывал тошноту. Надо повернуть обратно, небо давно смешалось с землей. И только мутные огни стана говорили о жизни.

Возвращался, располагая одним ориентиром — ветром.

Анатолий пробовал подсчитывать шаги, но сбивался со счета, дыша на заледеневшие пальцы. Ему казалось, что отморозил щеки и нос. Южанин, он знал понаслышке, что их надо тереть снегом, и он брал непослушными руками черную массу, подносил ее к лицу, и за шарф стекала холодная мутная жижа.

Он ввалился в контору, еле передвигая ноги, подошел к своей койке. На ней кто-то спал. Тимофей? Значит, он уже вернулся. Анатолий лениво снял полушубок, бросил поближе к батарее, лег и тут же заснул.

Утром его разбудила Римма.

— Толя, где ты был?

Анатолий открыл глаза, увидел Римму.

— Ты почему такой? — Римма спросила тихо, опасливо, нагибаясь к нему. — Почему?

— Земля умерла, — глухо произнес он.

Римма обеспокоенно провела пальцами по его небритым щекам, касаясь лба, ей показалось, что у него жар, и, рассчитывая его успокоить, сказала:

— Разве земля может умереть?

Анатолий ничего не ответил, прислушался: все по-прежнему, ничего не изменилось. Только странно гудит сорванная водосточная труба и шипит снаружи, за стеклами. Смутный полумрак от единственной лампочки заливает спящих на полу людей. В коридоре двигающиеся силуэты, огоньки сигарет. Анатолий слышит крепкий запах табака, просыхающей одежды, пота и почему-то запахи подсолнечного масла. До его сознания доходят слова: «Вторая партия на Сечевую! Пришли машины!»

— Что это такое? — Анатолий поднимается, пробует разобраться.

— Вывозят наших, облучковцев. — Римма рада пробуждению мужа, рассказывает ему, что уже уехали в станицу Параскева Терентьевна, Иван да Марья, Леночка, им отдала приготовленную для себя квартиру Анна Сергеевна, а сама увезла первую партию в дом специалистов.

— Остальных куда? — без интереса спросил Анатолий.

— Разбирают по квартирам, а потом видно будет.

— По квартирам? — Анатолий беспомощно улыбнулся, потер виски, глянул на Римму. И она глядела на него в упор, чего-то не понимая, ждала ответа. — Нам тоже надо подумать о своей квартире... — он подчеркнуто произнес слово «своей» и после короткой паузы, пони-

мая ее вопросительный взгляд, добавил более твердо. — Нам надо уходить от земли.

— Уходить? — ее лицо стало отчужденным. — Куда уходить?

— К морю...

— К морю?

— Мы ж не раз об этом говорили. Теперь я решил окончательно...

— Окончательно?

— Да!

— А ты посоветовался со мной?

— Не понимаешь меня? — глухо спросил Анатолий.

— Ты решил это там? Когда ездил туда?

— Нет, я ходил в степь. Земля умерла, Римма.

— Что ты говоришь, Анатолий, разве может земля умереть?! — Она взяла его руку, перебирая пальцы, заглянула ему в глаза, еле сдерживая тревогу. — Ты просто устал. Тебя надломил ветер. Это действует на психику... Потом человек привыкает, все проходит бесследно...

— Море вечно живое. Оно никогда не умрет... — продолжал Анатолий, глядя перед собой пустыми глазами, казалось, он не видел никого, не слышал ни ее, ни шума, а разговаривал сам с собой.

— А земля не живая? — Римма пыталась найти подход к нему, в ней накапливалось несвойственное ей терпение, и сейчас она поняла, как важно самой прислушаться, а не эгоистично ждать, когда к ней прислушаются другие.

— Земля уже мертвая, Римма. Я видел собственными глазами. — Он провел по глазам пальцами, и жесткая складка у переносья сделала суровым его доброе лицо.

— Ты не прав, Толя, не может умереть земля. — Римма подыскивала более убедительные доводы, чтобы не прекословить мужу, не раздражать его. — Земля ранена, Толя. Ты правильно заметил, но не убита, ранена. Раненых перевязывают, лечат, они становятся здоровыми... К тому же землю нельзя убить... Если человек обожжен, кто-то дает ему кусок своей кожи, заживляют ожог. Ты впервые видишь такое, Толя, а я, даже я испытала... Всего четыре года назад в станице, у нас в школе, от ветра лопались стекла. Тогда в Облучках еще не было школы. Несколько дней мы жили отрезанные в интернате... Я помню, как упало дерево в школьном дворе. Когда ветер утих, я видела пустыню, ничего не понять... Спра-

вились, разгребли, какие потом пошли урожаи, папа говорил, комбайны не прокашивали...

— Само слово Лебедянка, — пробормотал Анатолий, — там лебеди, Римма. — Впервые улыбка осветила его лицо. — Там чайки... лодки... Скучно? С тобой и с Леночкой разве может быть скучно? Согласна?

— Конечно, Толя. У меня нет выбора. Я его уже сделала. Как говорит мама, куда иголка, туда и нитка. Отпусти руки, ишь ты какой сильный, посинели пальцы. — Она потрепала его по щеке, давая понять, что разговор окончен, и тихо предложила: — Пойдем, умоешься.

Анатолий старательно умылся в бытовке, насухо вытерся полотняным полотенцем. Нагнувшись к зеркалу, он причесал волосы, поправил их ладонями. Теперь на Римму глядели прежние глаза мужа.

— Хлестнуло меня, — признался Анатолий.

— Ничего, раз хлестнуло, значит, не повалишься.

— Ты куда?

— На работу. — Римма старалась держаться так, будто ничего не случилось. — Ты тоже отступись от беды, глянь на нее не лицом в лицо, а как бы издали, в перспективе... И тебе легче будет и нам с Леночкой.

В коридоре шумно отдыхала молодежь. Здесь были девчата из звена Зои и она сама, с тыквенными семечками в кулачке. Рядом с ней Хаврашек грызла яблоко, брызгавшее соком из-под ее остреньких зубов.

— Гусеничные давят землю, мордуют ее, — говорила Хаврашек, — вчера гляжу на траки, не то глина на них, не то замазка, дорылся дизельный до мертвого слоя.

— Как он мог дорыться? — удивилась Зоя.

— Крутился, завяз, вот так крутился, — показала рукой и снова принялась за яблоко. Затем, будто спохватившись, вынула из накладного кармана стеганых брюк яблоко, потерла его о рукав и подала Зое.

Анатолия задержал вошедший с улицы Повалий. За ним, заложив руки в карманы полушубка и надвинувши на глаза шапку, шел Лихопят.

В комнате бригадира поджидали Заремба, Чубов и агроном бригады, молодой человек в вельветовой куртке на «молниях». Повалий уперся воспаленными от пыли и бессонницы глазами в покорно сидевшего механика.

— Смотрел поля?

— Ходил... — ответил Анатолий. — А что?

— Потом добеседуем, а пока обсудим животрепещу-

щее, — он обратился к Зарембе. — Объездил ты бригады, как?

— В общем, никто не сплоховал, поддержка будет, а смены никогда. Кучеренко просил помочь комбикормом, по принципу локтя. Потому сюда и подгреб по черной волне. Харченко просил выделить надежных хлопцев на тягачи с прицепами. Найдутся?

— У нас да не найдутся! — Повалий оживился. — Только один уговор, также по принципу локтя: у Кучеренко имеется карбомид и сульфат аммония. Пускай не поскупится с обратным рейсом. Мы открываем траншею с кукурузным силосом, и как раз будет в точку. Верно, Чубов?

— Гениально! — обрадованно заявил Чубов. — Кучеренко, кажись, не до смесей, а мы идем...

Повалий остановил Чубова.

— Не хвастай. Я не отвык от суеверий и потому сплюну через левое плечо...

Повалий отпустил Чубова, затем Зарембу и, расставшись с Лихопятом, бригаду которого штаб перебрасывал на другие объекты, заявил:

— Комбикорма повезет Аулов. Он выспался, значит, нервная система у него в порядке. С лохматыми нервами много не накукуешь. Так, Анатолий? Ты что ж решил от нас уходить?

— Кто вам сказал?

— Римма.

— Римма? — Анатолий не сумел скрыть недовольства, и Повалий, не дав ему высказаться, произнес:

— Она не удержала секрета, но сделала правильно. Невозможно оставаться вам один на один с такими мыслями. Такие думки, как пар в котле, не стравишь, разорвет... А я, хотя и молод для роли вашего отца, а все же батя.

Анатолий ничего не ответил.

— Почему молчишь?

— Мне нечего больше добавить.

— Делаешь ошибку. Не веришь нам? Не веришь земле?

— Родители там...

— На родителей сваливают, когда не умеют отыскать более надежный аргумент. — Повалий встал, зашагал из угла в угол, зябко поежился. — Родителей твоих можно перевезти в Сечевую. Жилплощадь, хоть и трудно сейчас, выцарапаю. Хочешь, с ними живи, хочешь, отдельно.

— Море.

— Что море?

— От моря они не уйдут.

— Не обрыдли им мартыны! Курлыкать журавлиными ночами на плоской косе, не пойму, чего в той лазури?

— Люди пустыни умирают в городах от свежей тоски...

— От свежей тоски? — переспросил Повалий, морщась. — Ну и микроорганизмы ныне пошли! Век распада, гнилых фантазий. У людей в голове перепрелая каша. Дефективные. Ему дают просторы, а его тянет к луже... Ну было б море как море. А то влезешь чистый, вылезешь как из багна. Ты прости, если обидел твое море. — Он присел к столу, перелистал журнал нарядов, называя фамилии механизаторов, крутил головой, наконец наткнулся на Аулова, нашел его в одном, другом, третьем месте.

— Что думаешь о Тимофее?

— Он мой родственник.

— Не о родственнике спрашиваю.

— Исполнительный, знающий парень, любит технику. — Анатолий понял, куда клонит бригадир, и без всяких сделок с совестью выдал лестную характеристику Тимофею.

— Все так, согласен. К тому же отслужился, дисциплинирован, — намек был понят, Анатолий густо покраснел. — У него только профтехучилище.

— Он поступает на заочный в институт.

— Правление его может не утвердить на должность. Чего ухмыляешься?

— Смешно, Николай Иванович. Если предлагает Повалий, кто захочет возражать? Портить себе биографию.

— Это ты оставь, — Повалий самодовольно хмыкнул, пришлепнул журналом по столу. — Я буду нейтральным, насиловать тебя не стану. Действуй через райком. Советую побывать у Карамана. Потапова пощади. Он остро переживает измену... А Тимофея поднатаскивай исподволь. А то, боюсь, заберет его отец в свою бригаду... — Повалий дал прямо понять, что разговор пришел к концу. — Не иду на перекос. Кому земля, кому море, кому воздух, кому космос... — И когда Анатолий поднялся, попросил его: — Только чтобы люди лишнее не болтали, не истолковали твой поступок как трусость. Уйдешь, когда пересеем озимки, может, и жатву прихватишь. Туда надо к осени, когда плавсредства потащат на ремонт... Лады?

Анатолий завидовал Повалию, тот привык к буре и вы-

вел формулу поведения, помогавшую ему безукоризненно управлять подчиненными. Бывало, он срывался, нервничал, теперь вел себя ровно, ни окрика, ни вспышки раздражения, хотя поводов хоть отбавляй.

Глава одиннадцатая

Семью Тарасенко временно поселили в новом доме колхозных специалистов, на третьем этаже, в квартире, намеченной для Анны Сергеевны Барышевой. Чтобы не было лишних сомнений, Анна Сергеевна сама перевезла семью с бригадного стана, поговорила и успокоила пригорюнившуюся Параскеву Терентьевну, объяснила, как зажигать газ, как пользоваться бытовыми приборами.

— Как же мы вас обидели, Сергеевна, — кручинилась Параскева Терентьевна. — Поживем тут недолго, надеюсь, построимся, надеюсь... Месить саман начнем, когда потеплеет... а мы умеем саман...

Анна Сергеевна растроганно обняла старую женщину, всхлипнула незаметно, будто от простуды, и постаралась поскорее оставить ее. Пришла в райком, отряхнулась от пыли, доложила Потапову о выполнении партийного поручения, выслушала его благодарность.

— Партия для людей и я для людей делала, Виктор Павлович, — остановила первого секретаря Анна Сергеевна, — меня благодарить не за что... Скажи, приедет Харламов?

— Нет, Анна Сергеевна.

— Обещал же приехать. Да куда ему в такие дебри забираться?

— Добрался бы, ты же знаешь Харламова. Звонил из Курганной, оттуда в Краснодар. В Москву срочно вызвали...

— Зачем?

Потапов подвинул ей бумагу с цифрами погибших площадей озими. Анна Сергеевна, достав очки и долго протирая их, спросила, на основании чего создана докладная.

— Примерно. А площадь рассчитали. Проверишь, окинув опытным оком. Разве неизвестно, сколько потребуется семян для пересева, техники, стройматериалов?

Барышева вчитывалась в цифры.

— Потом придется подправить, Потапов.

— Подправим, конечно. А эти уже ушли к Ручкину. Харламов повезет их в Москву. По вашему колхозу сведения давал Харченко. Советовался?

— Мимоходом. Когда тут советы держать? — Она откашлялась и тише спросила: — Можно реально рассчитывать на помощь?

— Еще бы! Ташкент отстроили, Ашхабад не узнать. А у нас похуже землетрясения. Там понимают не хуже нас, Сергеевна. Как Параскева Терентьевна?

— Непривычно ей, дико...

— Дико в цивилизации?

— А ты продумай, Потапов. Поставь себя на ее место. Советую навестить и Терентьевну и других.

— За совет спасибо! — Потапов проводил женщину через приемную, открыл ей наружную дверь, а сам зашел к Караману.

— Бригаду Лихопята направил к Шакунову, — сказал Караман. — Какое дело? Или так?

— И так и дело. Надо навестить семьи потерпевших.

— То есть? — он приподнял брови. — Что-нибудь случилось?

— Нет, ничего не случилось, — ответил Потапов, — просто проведать.

— Разумно. Когда понадоблюсь, гукните, как говорят станичники. Да, одно курьезное происшествие, Виктор Павлович. Унесло наш «приграничный знак». Нетвердое было основание у Сечевого района. Сообщил новость не кто иной, как Безмерный. Обещал доставить буквы...

Секретари посмеялись над действительно курьезным случаем. По традиции каждый район украшал свои границы на подъездах к главным магистралям «погранзнаками». Изобретали кто как мог. Одни пускали вверх трехметровый колос «лукьяновки», другие ракету, третьи серп и молот.

* * *

Три небольшие комнаты составляли квартиру Барышевой, куда переселили семью Тарасенко. Одна комната, самая большая, выходила окнами на площадь Ленина, но не в самый центр, а поодаль, хотя из окон можно было увидеть высокое здание универмага и полуразмытые очертания Дворца культуры колхоза имени Ленина.

Вторая комната смотрела на пустырь, где достраивали родильный дом и вторую больницу: здания современные,

без скидок на бедность. Поднимались штабеля бетонных плит, арматурной стали, кирпича. Сквозь пустые окна новостроек густо трубил ветер. Пошатывался причаленный к распорам кран, и лохмотьями трепались лозунги строителей. Ни одной машины. Все ушло на помощь земле. Длинные, узкие дюны уже вползали в проемы первого этажа и расширялись черными лентами в сторону движения потока.

Привычный уклад жизни для Параскевы Терентьевны был опрокинут, все на новом месте казалось чужим. Вещи, вытянутые из облучковской хаты, создавали хаос в квартире, казались тоже чужими, временными постояльцами, как и люди.

Вещи толпились, требовали внимания, каждая имела свою судьбу, свое назначение. Теперь они были не нужны, а выкинуть их жаль.

Корова осталась на ферме. Ее будут доить в общем ряду. Птица либо задохлась, либо разлетелась неизвестно куда. Погреб с припасами замело. Ульи так и не раскопали в хворостяном омшанике.

Несмотря на горе, Параскева Терентьевна крепилась, никто не видел ее заплаканной. С детьми она говорила по-прежнему, стараясь не заронить в их душах ни капли сомнений. Она оставалась для всех той же строгой, ясной и крепкой матерью. Мук ее пока никто не знал, а так хотелось поделиться наболевшим, чтобы хоть чуточку облегчиться.

Потапов, проверявший вместе с Караманом, как устроены переселенцы, постучал в ее двери. Параскева Терентьевна встретила знакомого секретаря райкома не только приветливо, но и с улыбкой, засуетилась, чтобы найти ему и Караману стулья. Их не оказалось, все осталось в Облучках. И тут она не выдержала, залилась слезами. Она стояла, поддерживаемая Потаповым, приложив к глазам пестрый фартук, подаренный Риммой, стояла неожиданно маленькая, согбенная, совсем другая Параскева Терентьевна.

— Что вы, что вы... — утешал ее Потапов, — все будет хорошо.

Караман поклонился и вышел.

— Параскева Терентьевна, успокойтесь, зачем же плакать?

— А где, когда, Виктор Павлович? Некому мне поплакать. Детей малых боюсь напугать, старших расстроить,

мужа обескуражить. А вы-то все слезы принимаете... Принимайте и мои...

Она постепенно приходила в себя, пыталась все обратить в шутку.

— Сватали вы тогда нас в станицу, звали к конфоркам, на этажи. Но увидели нашу жизнь и привычки и поняли нас, — всхлипывая, говорила Параскева Терентьевна, — а буря не посчиталась. Пришла и понесла нас, как курай, покатила неизвестно куда... — Она беспомощно развела коричневыми, будто бодылья подсолнуха, руками, смяла фартук, и снова затряслись ее плечи. — Как будем жить?

Потапов понимал слабость своего утешения, другого искало материнское размягченное горем плечо, а все же произнес казенные фразы о выдаче страховки, денежной безвозмездной помощи, о материалах на стройку...

Параскева Терентьевна слушала строго, не перебивала и не вникала в его слова, они шелестели для нее, как лепестки на искусственных пыльных цветах: другого она искала и потому облегчилась слезами. Теперь она опять почувствовала себя прежней, понимая, что надо отрешиться от своей тоски и постараться загладить свое поведение.

Так она и сделала. Отвечала скупо, неохотно, вскоре отозвалась на зов внучки, потом извинилась: надо найти книжки для младшеньких.

Потапов ушел, понимая свою оплошность, браня себя за черствость, за неумение найти общий язык, верные слова, чтобы облегчить горе старой женщины, а не забивать его страховкой и ссудами банка.

Караман успел обойти несколько квартир, везде было тесно, вселяли по две-три семьи. Встретив Потапова в подъезде, удивился:

— Что с вами, Виктор Павлович?

— По линии банков, кредитов мы вроде готовы, а вот по линии душ...

Караман не пробовал уточнять, многое он понимал с полуслова, только сердце его было более жестким.

— Да, Караман, все гораздо сложнее...

— В ослаблении духа повинна вялость руки. — Караман пообещал сам заняться хуторянами, потребовать обувь, одежду, посуду и мебель, чего в первые наметки, посланные в крайком, не включали.

Вместо Харченко в райком пришел человек другого типа, Караман. С ним было непонятней, а все же надежней. Караман не оставлял места для иллюзий. Никому не

говорил «ты». Не отвечал на тосты и ничего спиртного не пил. Его потребности были ограничены. Такой была и вся его семья.

Вот к нему-то и пришел Анатолий Кибрик с просьбой отпустить к родителям в Лебедянку.

— Причина? — Караман выслушал не поторапливая.

— Я все объяснил, товарищ Караман.

— Ваша причина слишком сложна и эмоциональна. Вы видели обезображенное поле. Вы ужаснулись жестокости природы. Вы не хотите быть при земле, вас тянет море? Я так понял вас, если выражаться многословно?

— Да!

— Вы думаете, море не подвержено атакам стихий?

— Я не могу так думать, товарищ Караман. Бывший муж моей нынешней жены...

— Вы уже об этом говорили.

— Море отштормилось и снова такое. А земля... — Анатолий не мог удержаться, губы его дрогнули.

— В наш век живут люди сильной воли, — подчеркнул Караман. — Меня не разжалобишь. И потом жалеют только жалких. Не будьте таким. Я поддержу вас, товарищ Кибрик. Бригадир Повалий найдет себе механика. Ваши родители не найдут себе сына...

Глава двенадцатая

Восьмое утро января поражало тишиной. В пасмурном, еще не остывшем небе путалось робкое солнце. Впервые под окна, на голые ветки канадского клена прилетели воробьи, неизвестно где прятавшиеся в ураган. Воробьи требовали пищу.

Харченко провел пальцем по запыленному столу, взял кусок фланели, протер стол и позвонил в райком.

Потапов поздравил его с погодой. Харченко промычал что-то невнятное, и Потапов укорил его:

— Вам-то не привыкать, Григорий Васильевич. Воевали, теперь восстанавливать...

— Я собираюсь в поле.

— Возможно, и я подгребу. Край требует уточнить размеры потерь. Из центра прибывает комиссия.

Харченко хотелось побыть наедине с израненной зем-

лей, ну что же, Потапов не помешает. Бумаги, накопленные за время бури, он придавил пресс-папье, надел ватную куртку и шапку и вышел во двор. Машина была готова. Харченко молча сел за руль.

— Григорий Васильевич, там чего-то тормоза недобачают, — предупредил шофер. — Разрешите мне с вами?

Харченко ничего не ответил. Прогретый мотор помог быстро тронуться с места.

— Уехал без улыбки, — сказала уборщица, пожилая женщина со скорбным лицом.

Сразу за станицей начиналось истерзанное поле. Въездная арка совхоза со словами «Добро пожаловать» скелетно выпирала из черной бугровины. Ее повалило при первых порывах и занесло накатом черного вала. На кладбище кое-где торчали звездочки обелисков, макушки кленов и верхние брусья крестов.

На шоссе дорожные машины успели сбить заструги. «Волга» по-козьи подпрыгивала и поскрипывала. По трассе частили полупустые автобусы дальних рейсов. Электрики на двух линейных техничках проверяли провисшие провода, меняли изоляторы. Другая партия «подпасынковывала» пострадавшие столбы: сизая проволока змеисто извивалась под кожаными рукавицами монтеров.

Харченко поставил машину на обочине и пошел вправо, где будто в судорогах застыл массив озими. Частицы некой земной плоти, возможно перенесенные за тысячи километров, были чужими, безадресными и потому опасными. В прошлом сюда долетали личинки саранчи, семена колючего паслена, осота — иначе откуда бы взяться их злому, бродяжьему племени на ухоженных кубанских полях?

Лесная полоса, героически принявшая бурю, была почти доверху погребена под могильными холмами. Деревьям, лишенным листвы, пришлось круто. Харченко нагнулся, запустил поглубже голую руку. Он сжал в кулаке землю. Теплота ладони, отданная холодному комку, растопила прослойку снега, и между пальцев просочилась жижа. Он разжал пальцы — комок развалился.

Подошвы оставляли глубокие вмятины. Воздух был упоительно чист, и дышалось легко. Отравленный организм отдавался покою, но душа не отходила от потрясения, и предчувствия новой беды не оставляли его. Природа вновь готовилась к схватке.

Не везде лежала намытая ветром земля. Большая часть поля была выметена под корешок. Гигантские метлы бури долго скребли почву, пока выбрали верхний слой, добрались до более твердых комков, обнажили корни прекрасной озимой пшеницы, названной за урожайность и высокий процент клейковины сильной. В битве за жизнь она оказалась слабее. Кое-где сохранилась жалкая, распластанная зелень, издали похожая на стрекоз или толстые пучки паутины, и на оголенных пролысинах бежали наклоненные в одну сторону бледные стежки из остатков унесенных растений.

Колхозники рассчитывали на озимку. Всегда она выручала. Она воздвигала школы, больницы, заливала гудроном полевые дороги, приносила довольство и радость в дома, помогала молодежи учиться, уверенно двигаться по жизни.

Эти поля придется пересеять, иного выхода нет. Харченко шел медленно, высчитывал возможности быстрого пересева, исходя из числа тракторов, культиваторов, сеялок и семян. Семян было мало, их надо достать, хотя проблема не вызывала отчаяния: за ними могучая спина государства, резервные склады посевного зерна и щедрость тех, кто должен раскрыть для хлеборобов ворота хранилищ.

Ураган разрушил мягкий покров, добираясь до твердого, рвал его на клочки, будто шариковыми бомбами.

В бурю Харченко наблюдал у железной дороги передвижение косяков вырванных растений. Поезд шел по однопутке, поднятой над плоскостью степи. Шел осторожно, с завинченными стеклами, будто выпачканный нефтью, фонари с трудом пробивали полуденный густой воздух. Поезд тоже казался слепым и осторожно скользил по рельсам с наваленными на них сочными зеленями пшеницы. Рельсы утопали в «Лукьяновке», и она умирала под чугунными колесами, сопротивлялась, истекала белой кровью, и — кошмар не приснился — поезд не сумел сразу осилить подъема. Колеса заскользили, как на гололеде. Поезд сражался недолго, окутанный паром, он выбился наверх и укатил, зло помаргивая красными глазками.

Пройдя еще по пашне, Харченко свернул к реке, ее название возникло давно и встречалось в описаниях военных походов. Постепенно в процессе глубинного иссушения река мелела, заболачивалась, а плотины создали це-

почку водоемов, неумолимо зарастающих камышами. К устью река добиралась обессиленная, выпитая зноем, скотом, насосами и поливальными черпаками. Нельзя было без жалости и тревоги наблюдать за медленной ее агонией.

Потапов слыл энтузиастом воскрешения реки. По его совету начались береговые посадки деревьев, пока еще не сомкнувших свои кроны. Он ездил и в край и в центр, добивался свиданий с высокими лицами, выколачивал кредиты на строительство крупного нерестилища, чтобы надежно обводнить устье реки, поднять уровень грунтовых вод и тем возродить питательные родники.

Тяжелая беда — потеря реки. Тонкий лед не выдерживал пластов намета, трещал, проседал и ломался. Камыши также замело, кое-где светло-рыжими гривами шевелились метелки, прижатые хрупким льдистым снегом.

Харченко попробовал пройти дальше: проседало, значит, внизу теплилось. А что это? Неужели? Он присел, оторвал вмерзшего сазана, точечки глаз остекленели, жабры забиты землей.

Харченко долго не мог оторвать глаз от сазана. Самая сильная, жизнелюбивая рыба. Что же творится в мелководных лиманах? Тяжело поднялся Григорий Васильевич, обернулся: сигналил «газик» на дороге. Вскоре подошли Потапов и Заремба.

— Мы тебя, Харченко, искали на трех развилках, а тебя потянуло к реке! — еще издалека покричал Потапов. Шел он молодо, размахивая руками и пришлепывая рукавицами; солнце ударяло ему в спину, и от него ложилась длинная косоватая тень.

— Были на трех развилках, как там? — неохотно спросил Харченко, продолжая глядеть на сазана.

— Представь себе, хотя картина тоже не из приятных, но кулисы сыграли свою роль, — сказал Потапов, — озимки удержались в междурядьях.

— Намело сверху?

— Ну, намело, где и не намело, а все же...

— Считаешь без пересева? — вопрос был обращен к Зарембе.

Заремба пожал плечами, помялся, хитро посматривая на секретаря райкома, закурил.

— Чего молчишь, Заремба? — поинтересовался Потапов.

— Может, обойдемся и без пересева, — осторожно за-

явил Заремба. — Загадывать не будем, спросим специалистов, потом, говорят, комиссия будет...

— А потом... — Харченко обратил внимание на небо. — Боюсь, не кончился ералаш. Ишь какие выползают крылья архангелов.

Все трое долго и молча смотрели на небо, пытаясь проникнуть в его тайны.

— Синоптики пока трутся и мнутся, — вздохнул Заремба, — по штабу предупреждение...

— Вот тогда и поеду к трем развилкам при стойкой погоде, — сказал Харченко, — гляжу на речку, как ее, бедняжку, повело.

— Скажешь, мертвая? — дерзкие огоньки заиграли в карих глазах секретаря, сейчас ему не возразишь, хочет весело объезжать район.

— Не мертвая, а больная, — осторожно произнес Харченко.

— Мертвеца хоронят, а больного надо лечить... — Потапов решительно пошел от берега, шагая крупно, с досадой. За ним шли Харченко и Заремба.

— Посмотри ты, сухарик, Григорий Васильевич, — Потапов притопнул ногой и вслушался в тонкий перехруст ледка, как верующий в колокольный благовест, — родничок пробивает! Ничто ему нипочем... Подумать, какая силища в каком-то родничке, а? — Он продавил лунку, нагнулся, сделал из ладошек ковшик. — Живая вода, братцы кубанцы, живая... Попробуем, а?

Глава тринадцатая

Краснодарский аэродром Гражданского воздушного флота был наконец открыт для полетов. Заканчивали очистку взлетно-посадочной полосы. В морозном воздухе искрился холодный иней, осевший на щетинистой высохшей траве грунтовой полосы аэродрома. Там скреперы двигали похожую на зернистую икру наносную землю. Держался тот особенный, ни с чем не сравнимый запах южной зимы, где все по-иному и снег воспринимается совсем несерьезно.

С поля местных линий поднимались поршневые машины, развозя захваченных ураганом пассажиров. Люди торопились, поглядывали на небо, недоверчиво щурились

на низкое солнце, опасаясь любого облачка, в котором видели предвестника новых несчастий.

В Краснодар из Москвы прилетал самолет с заместителем Председателя Совета Министров, и для встречи его приехали руководители края. Морозец, остро хватавший за кожу, заставил укрыться в ресторане «Интурист», погреться крепким чайком своих плантаций, а заодно еще раз продумать размеры помощи от государства.

Харламов прихлебывал чай, ссутулившись, внимательно вслушиваясь в цифры: о потерях, нанесенных бурей, докладывал председатель крайисполкома Мигунов.

— Что же, получается нарастание требований, — со вздохом произнес Харламов и посмотрел на часы, — надо запастись резиновым мешком...

— Резиновым мешком? — спросил Ручкин, сразу не поняв Харламова.

— Ну да, чтобы растягивался. Куда же совать эти цифры? — Гримаса усмешки скользнула по его лицу, потерялась возле губ. — Прошу, повторите наш расчет по технике...

Мигунов, почти не обращаясь к бумаге, назвал крупные цифры.

— Не дадут, не вытянут! — воскликнул Харламов. — Новое согласование, снова лететь в Москву...

Мигунов резонно ответил:

— Летит! — поднял глаза к потолку. — Ему и доложим. Он и подтвердит. Ничего лишнего не требуем. Не играем под стихию... Зато это поможет вытянуть даже нынешний лихой год и взять реванш в семидесятом...

— Продумаем, продумаем, — осторожно заметил Харламов, — не будем давать пустых обещаний.

Никто не отнес его замечание на свой счет, в том числе и председатель исполкома Мигунов. Он был избран недавно и еще не смог надавать обещаний. К тому же он отлично зарекомендовал себя, работая первым секретарем горкома в крупном курортном городе края, и оставил там о себе хорошую память.

С Мигуновым работалось легко, чему помогали и свойства его характера. Харламов ценил Мигунова так же, как и Мигунов этого динамичного, справедливого человека, беззаветно преданного исполнению своего партийного долга.

— Самолет идет на посадку, — сообщил вошедший с морозного воздуха краснощекий начальник аэропорта.

— Пойдемте! — предложил Харламов.

Из вестибюля можно было выйти на огороженную металлическим заборчиком площадку. Пассажиров дальних рейсов пока было не густо. Держался хрупкий морозец, в небе ходили редкие облака. Тянуло их все оттуда же, с северо-востока. Все смотрели на них, словно вынюхивая, не высказывая предположений, чтобы не прослыть лжепророком.

Самолет катился по бетонке к вокзалу. Встречавшие выждали, пока остановятся винты, и направились к самолету, куда уже подкатили белый колесный трап.

Из самолета молодо вышел смуглый худощавый человек в меховой шапке, темно-сером пальто и пенсне. Это был заместитель Председателя Совета Министров, ведающий строительными делами страны. Здоровались с ним дружески, все его знали, встречались с ним не впервые.

От аэродрома, расположенного близ небольшой пригородной станции, кавалькада машин прошла мимо домов с поврежденными крышами, поваленными заборами и расщепленными деревьями. Шоссе расчищали отряды специальных машин, присланных строителями водохранилища, которое соберет в мощной чаше воды Кубани, Лабы и Белой.

Следы бури несли на себе здания, киоски, вывески, деревья. Повсюду натягивали провода, вставляли стекла, подметали улицы, вывозили землю и мусор.

Заместитель Председателя Совмина ничего не расспрашивал, смотрел и, подбрасывая пальцы к переносице, поправлял дужку пенсне или вовсе снимал их, чтобы протереть, продолжая вглядываться прищуренными, близорукими глазами.

Ни Харламов, ни Мигунов не мешали ему сосредоточиться и запечатлеть своими глазами неприкрытую картину урагана.

— Было ли раньше такое? — поинтересовался заместитель Председателя Совета Министров.

— И такое и другое, похуже или чуточку получше, — ответил Харламов.

— Не в этом суть, — добавил Мигунов мелодичным тенорком.

— В чем же суть?

— Суть в том, что не только было, но и будет. Раньше веками дуло, и впредь будет веками дуть...

Заместитель Председателя Совета Министров сказал:

— И всегда будем вставлять стекла?

— Стекла — да, — ответил Мигунов, — а вот землю...

— Что землю?

— Ее надо сделать невыдуваемой и не столь ласковой к урагану. Он к ней, а она ему по ногылице...

— Следовательно, изменять методы обработки?

— Коренным образом. — Мигунов говорил о том, как они привлекают к практике науку, собирают ученых, выслушивают их проекты, выдвигают проблемы решения сложных вопросов земледелия в таком рискованном климатическом поясе, как Кубань.

Разговор был продолжен в крайкоме. В кабинете было тепло и чисто. Только снаружи, на стеклах, чернели языки снеговой наледи. Длинный стол справа от входа был занят бумагами и схемами, человек десять сидело за этим столом.

— Вот наши убытки. — Харламов неторопливо, как бы осиливая тяжесть, приподнял бумагу. — Мне нелегко их огласить... Ураган повредил многие тысячи гектаров озимых посевов пшеницы. Вы меня спросите, почему погибло столько посевных площадей? Влаги не было в почве, не было снега, зато был ветер, превышающий чуть ли не втрое скорость курьерского поезда, был мороз. Через горловину «армавирского коридора» летела земля...

Харламов встряхнул стеклянную банку, открыл притертую пробку и высыпал на чистый лист плотной бумаги горку земли, чем-то похожей на охотничий порох.

— Вот такой массы мы получили с неба свыше ста миллионов кубических метров. Пощупайте ее. Она сейчас безопасна, а ветер заставлял ее звенеть, она проваливала крыши, давила скот и птицу. Эти зернышки способны рассекать до крови кожу, выбивать глаза и парализовывать волю человека.

Харламов объяснял внятно, подкрепляя слова выразительной мимикой, жестами крепких рук. Члены комиссии по ликвидации последствий урагана слушали его доклад, и никто из них не решался притронуться к злому продукту бури. И только сам Харламов щупал его, раздвигая на бумаге, шевелил и наконец, насыпав на широкую ладонь, протянул главе комиссии. Высокий гость взял порошок, рассмотрел поближе.

— Динамит, — сказал он. — Когда-то человек, смешав

инфузорную землю, кокс, туф, получил первую активную взрывчатку, теперь нечто подобное фабрикует сама природа. Плодородная эта масса?

— Нет. Плодоносит два-три года, подобно почве с плантаций женьшеня, — ответил ученый, сидевший в самом конце стола, нахохлившийся, словно крупная степная птица. — Джинн, выпущенный из бутылки. Мы не любим принесенной ураганом земли...

Харламов выждал, пока ученый умолк, и, подчеркивая свое уважение к нему, продолжил:

— Вот такой штукой занесены многие тысячи километров оросительной и осушительной систем. В каналах миллионы кубов этой дряни, товарищи! Впереди остается всего шестьдесят дней для расчистки и подготовки к севу. Как уложиться в эти сроки? Люди готовы, нужна техника, много, немедленно...

— Сколько? — спросил заместитель Председателя Совета Министров.

— По скромным подсчетам, нам нужно... — Харламов обратился ко второму секретарю: — Товарищ Ручкин, вам, как строителю, карты в руки.

Ручкин поднялся, улыбнулся белозубым ртом и тихим вежливым голосом хорошо воспитанного человека сказал:

— Для очистки каналов нам необходимы экскаваторы, бульдозеры на тракторной тяге, канавокопатели, сорокатонные трайлеры... — И он назвал цифры.

— Не многовато ли?

— Многовато?! — Мигунов спросил глазами Харламова и дал знак Ручкину, что ответ берет на себя. — У нас рассчитано по срокам. Мы уверены в государственном отношении к краю, но там могут спросить, пожать плечами, черкнуть карандашом по той или иной цифре. Поэтому разрешите объяснить. Надо вычерпать нанесенную землю, пронивелировать сбитые ураганом уклоны оросительных каналов и чеки... Кроме того, у нас засыпаны пылью тысячи гектаров лесополос и прилегающей к ним пашни... Слой в три метра. — Мигунов поднял глаза к потолку. Выше карниза. Представьте. Мы засыпаны, над нами миллионы кубов самой инертной массы. По опыту прошлого мы знаем, если не очистить лесополосы, они погибают за один год.

Харламов тихо добавил:

— А на пашне, занесенной пылью, растения не развиваются три-четыре года.

— Таким образом, и здесь мы обязаны выдержать сроки, — сказал заместитель Председателя Совета Министров.

Харламов удовлетворенно кивнул. Мигунов приостыл и, потянувшись к нарзану, налил себе половину стакана.

— Продолжайте, — попросил Харламов Ручкина. — Вам придется курировать восстановление.

Ручкин взял одну из бумаг.

— Вот цифры потерь, которым можно вполне доверять, — сказал он. — Наши люди не любят хвалиться бедой. Цифры могут быть неточны в сторону уменьшения. Пылью засыпаны сотни машинных дворов с сельскохозяйственной техникой, силосные траншеи, полевые станы. Разбросаны тысячи скирдов грубых кормов, повреждена электросеть... Здесь имеются цифры, не буду перечислять, вы получите их. В них сказано, сколько разрушено и повреждено построек, жилых домов, складов, крыш, магазинов... Только по Краснодару надо переселить из разрушенных аварийных домов более тысячи семей. Думаю, вам представится картина того, что край пережил за трое суток штормового урагана...

Заседание продолжалось. Зажгли свет. Вспыхнули люстры.

Из Москвы звонили, просили как можно быстрее представить данные о нуждах края.

Кубани в этот год потребовалось сто двадцать тысяч тонн семян, около пяти тысяч грузовиков, три тысячи тракторов и тракторных тележек, триста тысяч тонн удобрений, пятьсот пятьдесят тонн ядохимикатов, четыреста тысяч тонн концентрированных кормов, двадцать тысяч белково-витаминных добавок, тысяча двести кукурузных сеялок, свыше тысячи комбайнов, пять тысяч тонн бензина, семь тысяч тонн дизельного топлива, шесть миллионов плит шифера, кровельное железо, лес, электропровод, сапоги, плащи, фуфайки, брюки, шапки, обувь...

Страна хорошо знала кубанцев: им дай — они возвратят сторицей. Государство списало задолженность наиболее пострадавших артелей, выдало на долгий срок кредиты, создало три мощные механизированные колонны, выделило фонды на тысячи тонн мяса, сгущенного молока и других продуктов питания.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Глава первая

Безветрие вызывало у людей тоску, они то поглядывали на небо, то выходили на бугор и смотрели туда, откуда могло прийти несчастье. Предупреждающий голос краевого чрезвычайного штаба призывал к бдительности. Ученые вымеряли длину и закругления циклонов, следили за меридиональной циркуляцией воздушных масс, за их столкновениями с теплым воздухом, за отрицательными аномалиями в толще вод Атлантического океана.

Задним числом можно установить один неоспоримый факт — кошмарная погода отметила шестьдесят девятый год! Крутило оба полушария. Беда обрушилась на всю планету, в глобальном масштабе разыгралась стихия. Наводнения, тайфуны, оползни, движение ледников, бураны, снегопады, гололед, метели, лавины, ливни — все пришлось испытать людям на разных широтах земного шара.

Январь, снежный и ветреный, принес в центральные области европейской части СССР три месячные нормы осадков. С самого Нового года мощный вихрь проник в Прибалтику, захватил Украину, Молдавию, Белоруссию, Дон, затем налетел на Архангельскую область, Карелию и Кольский полуостров. Метели, штормовые ветры, гололедица привели к остановке транспорта на многих шоссейных магистралях вплоть до Предкавказья. Лед рвал провода, валил опоры...

И пятого февраля грянула новая, норд-остовая пыльная буря.

Повалий не мог освободиться от тяжести, сдавившей грудь. Никогда не принимавший сердечных снадобий, он попросил валидола, положил таблетку под язык и ощутил мятную роскись во рту.

Что же принесет новая буря? Эх, напрасно Григорий Васильевич Харченко перевернул буревую страничку производственного дневника, подвел жирную черту и наметил планы по ликвидации первых последствий. Обхватив голову руками, Повалий сидел за столом, обмякший и сникший.

Анатолий Кибрик ввалился в коридорчик конторы, словно куль с мукой. В окнах выбило стекла, и ветер бросился на стены, срывая с них плакаты и диаграммы.

В коридоре никого не было. Следы вели в комнату отдыха, где, сидя на койках, вели куцую в словах и долгую в мыслях беседу трактористы звена Ступакова. При появлении механика они поднялись, ожидая команды. Анатолий махнул рукой и направился к бригадиру.

В кабинет Повалия Анатолий вошел в смятенном состоянии духа, покорный всему, почти потерявший надежду осилить стихию. У него болели ноги от колен и до пяток, хотелось сбросить сапоги, размять, растереть ноющие ступни или опустить их в горячую воду.

Повалий лениво поднял веки, увидев механика, кивнул и глазами попросил садиться.

— Молодец, Анатолий, — сказал он тихо, — неутомимый ты человек. А меня что-то крутнуло. Досасываю таблетку. Сейчас отойдет, доложишь. Садись, чего стоишь?

Анатолий виновато присел, почувствовав острый зуд в пальцах ног, и таким же негромким голосом доложил о своих распоряжениях.

— Как со стариком? — спросил Повалий.

— Пока держится, — Анатолий понял, что речь идет о старом коровнике.

— Чубов там?

— Не видел. Да и не увидишь, если лоб в лоб не столкнешься... — Анатолий рассказал о кормоцехе, о люцерновом стоге, который здорово потрепало, о прибывшем подкреплении.

— Значит, хлопчики не сплоховали? — Повалий улыбнулся. — Что же, если они поймут, нам каникулы... — Он вздохнул поглубже, щелкнул коробком, зажег спичку, а потом уже раскурил сигарету. Короткая заминка в беседе затянулась. Казалось, им не о чем было говорить. «Неужели и он потерял веру в победу? — думал Анатолий, выискивая оправдания своему смятению. — Сколько ни бейся, ураган сильнее. Расчистишь, опять занесет, приколотишь — оторвет».

В то же время он мысленно противопоставлял себе таких людей, как Аулов, Антонец и Чубов.

Старый коровник с залатанной крышей, оказавшийся под убойным углом нового урагана, кряхтел и стонал. Первыми по приставным лестницам на крышу старого коровника полезли трое комсомольцев во главе с резвым и менее рассудительным Петей Повалием. Пока снизу подавали смельчакам веревки, на помощь им полез четвертый. Они присели на самом верху у конька крыши, цепляясь

за него и за обледеневший, туго натянутый металлический трос. Все бы пошло своим чередом, если бы ветер не отодрал первые листы шифера. Отслоив хрупкую кровлю и изломав ее, ветер рванул новые листы и сбросил ребят на землю. Двое упали почти рядом с коровником и отделались ушибами. Петю отнесло дальше, перевернуло в воздухе и ударило о плотный сугроб из снега и пыли. К месту происшествия подбежали люди. Врача на ферме не было. После переселения в станицу пострадавших в первую бурю он уехал с фермы. Молоденький ветфельдшер, вызванный к месту происшествия, приказал пострадавших отнести в санпропускник. Прибежала Маринка. Петя попросился в контору к отцу.

— Петя!.. Как ты, как? — захлебываясь ветром, спрашивала Маринка.

— Нога... Только и всего. Хряснула... Как ветка хряснула...

Маринка крепко держала на своем плече руку Пети, не чувствуя тяжести его тела. Тимофей помогал с другой стороны и прикрикивал на девчонку.

— Что с ним, что с ним? Тимоша, что с ним?

— Ничего особенного... Да не спеши ты к богу в рай. Опять я споткнулся... Давай стой! Поправь шапку, застегнись, дурочка!

— Что же делать? — сокрушалась Маринка.

— Надо лубки наложить, — отвечал Тимофей, пересиливая ветер. — Не слышишь? Лубки наложить!

Они довели Петю до конторы и ввалились в коридор, обсыпанные снегом. В коридоре их встретил Анатолий Кибрик.

— Где Чубов? — спросил Тимофей.

Анатолий кивнул на дверь в комнату бригадира.

— Дайте передохну, — попросил Петя, — а то батя испугается.

— Передохни. — Маринка поправила его руку на своем плече, вытерла ладонью лицо. — Небось замарашка?

— Красавица, — не глядя на нее, пошутил Петя. — Начинает болеть, черт...

Чубов, пришедший доложить бригадиру о происшествии, остановился на пороге в нерешительности. Повалий сидел все в той же позе, подперев щеки руками, уставившись в одну точку.

— С очередной новостью?

— Старый коровник, ядри его на кочан, шелушит, — пробормотал Чубов.

Повалий, будто не расслышав ответа, провел ладонью по лицу. Когда Чубов тяжело, всем телом свалился на стул, Николай Иванович подтолкнул его резким вопросом:

— Тросы? Смотало тросы?

— Из-под тросов рвет, Николай Иванович. Слышишь, какой зверюга?

— Люди были на крыше?

— Люди? — Чубов привстал, будто опасаясь находиться так близко от бригадира, явно распаленного своим же вопросом.

— Чего трешься-мнешься? — Повалий встал. — Люди? Кого?!

— Петьку! Да, да, Петьку! — Чубов ошалело отодвинулся. — Он первым на крышу полез...

— Убило?

— Что вы, Николай Иванович! — облегченно вздохнул Чубов. — Мягко упали, мягко... Бог соломки подстилает. Небольшое происшествие...

Маринка и Тимофей ввели Петю. Подняв голову и прижмурившись от света лампы, он увидел отца. Никогда не видел его таким Петя, растерянным, жалким, с подрагивающими, будто в ознобе, губами. Чтобы успокоить отца, Петя попытался улыбнуться:

— Папа, ничего...

— Как ничего? — Отец шагнул к сыну, обнял его и, поддерживая, усадил на свое место.

— Как же тебя, Петя?

— Будто кто подхватил, папа, — объяснял растроганный сын. — Понесло — и жмяк!..

— Жмяк?

— В сугроб.

— Ну? — торопил отец сына.

— Слышу, хрястнула у меня нога, правая...

— Хрястнула? — переспросил Повалий.

— Как ветка сломалась. Хрястнула...

Отец наклонился, стянул у сына валенок, ощупал ногу. Когда Петя ойкнул, он вздрогнул, поднял голову и, увидев перекошенное болью лицо сына, украдкой смахнул навернувшуюся слезу.

— Я принес лубки, Николай Иванович, — сообщил вбежавший в конторку Повалия ветфельдшер. — Пока трогать не будем, создадим неподвижность поврежденной ко-

сти путем иммобилизации конечности... — Он отодвинул плечом старшего Повалия. — Кровотечения нет, перелом внутренний. Чтобы устранить боль и повреждение мягких тканей обломками костей, производим иммобилизацию... Маринка, у меня в кармане бинт. Снимите упаковку и дайте мне... Подержите вот тут. Не беспокойтесь, все нормально.

Руки ветфельдшера действовали проворно и умело. Прибинтовав лубки, он вытер ладонью выступивший на лбу пот, самодовольно оглядел людей, будто впервые его видевших, улыбнулся.

— Ветеринар, а управился как профессор Бурденко, — заметил Чубов.

— Так бы профессор Бурденко поступил и с теленком в аналогичном случае, — сказал ветфельдшер, приняв достойную позу. — Анатомо-физиологическое строение животных и человека полностью совпадает. Пусть это вас не шокирует. Человек всего-навсего вертикальное животное, и тело его имеет такое же клеточное строение, как у обезьяны, бычка или жеребенка... — Закончив краткую популярную лекцию, довольный собой и произведенным эффектом, ветфельдшер прищурил глаза, поклонился окаменело застывшему бригадиру и направился к выходу. Возле дверей он обернулся: — Санитарная машина вызвана, Николай Иванович!

— Вот дает! — выкрикнул кто-то густым басом.

— С Каневской он! А там все чудики!

— Как это чудики? — окрысился Чубов, решивший прекратить ненужные вольности.

— Утями планы перекрывают, разве не чудики.

— А ты чем перекрываешь?

— Рогатый скот бьем, а они утей в клетки, и нате вам мясопоставки...

— Не чудики, а умники! — обрезал Чубов. — Давайте, чудики-мудрики, очищать кабинет, тут не цирк.

Когда все с гулом разошлись, Чубов подсел к пригорюнившемуся Пете.

— Скажи спасибо, ногой отделался, — вздохнул старший Повалий, — могло бы и насмерть...

— Прости, папа, я не нарочно...

Николай Иванович отмахнулся:

— Мать узнает, с ума сойдет. Прошу тебя, Марина, сопроводить его до больницы. Санитара вышлют, но лучше, чтобы Петя лежал на носилках.

...Маринка сидела рядом, неестественно согнувшись. Он попытался подняться. Его тряхнуло на ухабистой дороге. Маринка силой уложила Петю на место, пригрозила привязать его, если он будет вести себя неразумно. Петя вздохнул, посвистел, произнес несколько фраз о том, что ей опасно связываться с футболистами и чемпионом зверской борьбы карате. Угрозы мало подействовали на храбрую дивчину, зато несколько ласкающих прикосновений к щекам и лбу вернули юноше блаженное настроение.

По дороге к больнице Маринке пришлось несколько раз оставлять парня одного, чтобы помочь шоферу и санитару вытащить машину из вязких пыльных сугробов. Возвращалась она холодная, с запахами снега и будто бы волглой травы, как казалось Пете.

Они въехали во внутренний двор больницы. Петю на носилках выкатили из машины, понесли в приемную, где закутанная в пуховый платок утомленная сестра наотрез отказалась пропустить в палату Маринку.

— Ваша миссия окончена, девушка, — сердито говорила сестра. — Вам поручили, вы доставили, а дальше предоставьте все нам... Ему нужно пройти санобработку, его надо переодеть, а вы... — Она строго посмотрела на ее сапоги, ватные брюки, телогрейку, и только быстро сброшенная шапка и рассыпавшиеся по плечам волосы смягчили пожилую женщину: — Неужели естественный цвет, девушка? Какая, подумайте, прелесть!

— Вы тоже прелесть! — схитрила Маринка. — Вы не откажете мне в халате, а?..

Проследив, куда увезли Петю, Маринка сбросила телогрейку, стянула сапоги, и на глазах ошеломленной сестры закатала в пучок волосы, надела белую шапочку, халат и чьи-то тапочки, оставленные у вешалки.

— Я должна проверить, как и что, дорогая... милая. А потом позвонить его матери. — Маринка чмокнула ее у щеки и попросила назвать палату, куда положат Петю.

— Второй этаж, хирургическое... — вдогонку крикнула сестра, убрала сброшенную посетительницей одежду.

Маринка оказалась первой у койки Пети. Еще до прихода врача она успела утешить его, погладила ему щеки, ощущая колкую щетину, шутливо прикусила ему ухо, поправила подушку.

— Маринка, я люблю тебя, — бормотал Петя, упоенный неожиданной лаской.

— Дурачок... Ты еще дурачок... То же самое ты говорил Зое... — Она щелкнула его по носу, снова куснула за ухо. — Какое оно у тебя оттопыренное, ай-ай-ай... Непременно заведи модную прическу, закрой уши, Петя.

— Хорошо, что я сломал ногу, — шептал Петя.

— На шесть недель будет хорошо, Петя.

— Ты будешь приходить ко мне?

— Еще бы... Между двумя ветрами и двумя дойками...

— Я скажу маме, чтобы она попросила тебя.

— Маме? А если мама не послушает? А если она приревнует? — Маринка беззвучно смеялась, склонялась над ним, их дыхания смешивались. Что-то наивное, свежее, милое сближало их. А ветер угрюмо гудел, стонал, угрожал. Они не замечали его свирепого неуютного гнева.

Больница была выстроена в короткий срок за счет неделимого фонда после товарищеской поездки Повалия в станицу Фастовецкую, в артель имени Кирова. Там ему приглянулся лечебный комплекс, и он убедил правление и общее собрание не скупиться, построить так построить, не хуже других, «на коммунизм».

Возникло современное здание в три этажа, с котельной, горячей водой, канализацией, кухней и двухгектарным участком, общим для больницы и поликлиники.

В больнице лежало около ста человек. Это были люди, пострадавшие от урагана. Петю определили в трехкоечную палату, где находились на излечении Иван Муравей, периодически отдыхавший в «теплом месте» от свирепых трудов «самостроя», влиявших на его культю, и «бригадир дальних рейсов» Шляховой после операции аппендицита. Шляховой на чем свет стоит обрушивался на проклятую слепую кишку, так не вовремя заявившую свое право на отсечение. «Сей-час-то, в самый разгар, уложила меня распроклятая тварь, дезертирно меня уложила!» — кипел Шляховой.

Муравей чувствовал себя великолепно, отлеживаясь на свежем полотняном белье, с бутылкой горячеключевской минералки на тумбочке, с книгой маршала Гречко «Битва за Кавказ» и сигаретами «Шипка», которые он курил, прокостыляв в коридор и усевшись в глубокое дерматиновое кресло. Муравей не мог понять Шляхового и старался как можно дольше побыть в уютной обители колхозной больницы.

Энтузиаст «самостроя» отлично устроился в ненастное межсезонье и по всем правилам медицины укреплял себя витаминами в виде сала, крутых яиц и вяленого окорока, доставляемых ему женой вдобавок к сытному больничному трехразовому питанию. Протез он сдал в кладовку, чтобы полностью отдыхала культя, и передвигался при помощи костылей.

— Стало быть, природа берет человека уже и на разлом, — установил он, флегматично выслушав Петю. — Могу проинформировать, что переломы бывают косые, поперечные, продольные, винтообразные, оскольчатые... Наиболее безответственный, стало быть, винтообразный, Петруха свет Миколаич, кроме всего прочего, винтовой разлом обожает витамины «цэ», «дэ» и «бэ» двенадцать... — Муравей долго подслюнявливал через усы куцый палец, перелистывая какую-то затрепанную медицинскую брошюрку. — Витамины, стало быть, улучшают сращивание и восстановление функции конечности, кроме, стало быть, начисто отпиленной, как у вашего сопалатника...

Маринку Муравей встретил почтительно и несколько удивленно, приподнялся на локте, вгляделся с дотошностью, узнал дочку старого фронтового друга, чему и обрадовался и опечалился, подозревая недоброе.

Хирург Раиса Тимофеевна, пышная, седеющая женщина, с прямой походкой и безапелляционным выражением на бледном отечном лице, удивленно округлила глаза, увидев девушку у кровати вновь поступившего пациента.

На ее молчаливый вопрос сестра пояснила, что девушка из бригады Повалия, дочь всем известного механизатора Тарасенко, сопровождала пациента по просьбе самого Николая Ивановича.

Этих сведений оказалось достаточно для смягчения строгой женщины, и потому она деликатно попросила Маринку оставить палату, чтобы можно было заняться больным.

— Прошу извинить, — покорно отозвалась Маринка, кивнула Пете. — Можно будет его посещать, доктор?

— Все потом, девушка. Не все сразу...

— Я жду тебя, Маринка.

— Все потом, Петя. Не все сразу, — ответила Маринка словами доктора и ушла с подчеркнуто независимым видом.

Маринка зачастила в больницу, улучая любую свободную минуту. Дом специалистов, куда поселили их семью,

находился невдалеке от больницы, в том же самом «порядке этажной застройки». Маринке ничего не стоило, отдежурив часок у койки больного, добежать домой, где ее всякий раз поджидала Параскева Терентьевна.

Они пили чай на кухне, ужинали. Иногда к ним выходил отец, если только ночевал дома. Покуривал, заложив ногу за ногу и скрестив на худом колене тяжелые руки, расспрашивал о своем друге Иване Муравье, не корил его, «однолапого», грозился навестить, да так и не выбрался до конца второго буревого захода, двадцатого февраля.

После двадцатого февраля в школе возобновились занятия. Старшие ученики вернулись с ферм и станов, полные впечатлений, как с поля сражений, младшие сумрачно слушали отпетых вралей, повествующих о всех ужасах битвы с ураганом.

Маринка близко и тепло сошлась с матерью Пети, забегала к ней, относила передачи, рассказывала о Пете, находя всегда в лице его матери чуткую, добросовестную слушательницу. К Маринке в больнице привыкли и персонал и больные. Однажды она попала на «высокий обход». Больных обходили Харченко, Заремба и главный

врач, ранее работавший заведующим райздрава, терапевт, имевший собственный дом, «Москвич» и моторку на Баклановской косе.

Начальство пришло не столько для негласной визуальной ревизии, как для выявления симулянтов.

— Какие симулянты, Григорий Васильевич? — Главный врач вскинул длинные руки, завязанные у запястий тесемками халата. — Недолеченные убегали в бурю... К примеру, тот же Шляховой дезертировал из больницы с открытой раной...

Харченко гасил хитрую улыбку, переглядывался с Зарембой. Шляхового пришлось посылать в дальний рейс за семенами яровой пшеницы.

— А ты, Маринка, — спросил Харченко, — говорят, освоила вторую профессию?

— Это наша Маринка, — ласково представил ее главный врач, наблюдая за ней поверх толстых стекол очков. — Мы к ней привыкли, Григорий Васильевич.

— Скоро придется отвыкать. Как дела, Петя?

— Дела муравьиные, — Петя скользил лукавым глазом по притихшему под одеялом Ивану Муравью, при-

творно посапывающему на левом боку. — Стало быть, готовлюсь к освоению протеза...

— Вернемся к этому вопросу в первой декаде двадцать первого столетия, — пошутил Заремба.

...Петю выписали из больницы в середине марта, в опять-таки ветреный день, хотя уже носились первые ласточки, говорливей щебетали воробьи, выдержавшие лихое время, пробивалось червонно-листовое солнышко в голубых небесных окнах, и упоительно тлели молодые души от невысказанных ералашных мыслей, навеянных скупыми свиданиями.

— Я и маме не сказал, что выпишут, — признался Петя, притоптывая ногой. — Раиса Тимофеевна уверяет, крепче нога стала, футбол не отменен...

— Давай постоим, Петя, — предложила Маринка, — у стенки. Погляди, как на кирпичи падает луч. Кажется, теплый-теплый кирпич, а пощупала — холодный, промерз за зиму, продуло его насквозь.

— Холодный, верно, — их руки встретились на стенке.

— Пусти, — мягко попросила она, не отнимая руки.

— А вот и не пущу, — Петя притянул ее к себе, она подняла к нему лицо, и он поцеловал ее молча, неумело, поспешно.

— Нет, Петя, — она покусала губы, погладила его руку, — смотри, как побелела у тебя рука. Загар весь сошел.

— А у тебя?

— Мои руки страшные, Петя, от ручной дойки.

— Страшные? Нет, Маринка. Я люблю тебя, — с наслаждением повторил он. — Почему ты молчишь?

— Что я должна говорить?

— То же самое...

— Ах да, верно, я забыла. — Она подтянулась на носках, положила руки ему на плечи, шепнула: — Люблю!..

И они поцеловались робко, целомудренно, стесняясь прижаться друг к другу.

Глава вторая

Эшелоны тяжеловесных поездов глухо рокотали по рельсам, вывозя из Центральной России автомашины, сеялки, тракторы, бульдозеры, скреперы, грейдеры, экскаваторы, краны, стекло, кровлю, лес, гвозди, электри-

ческий провод, удобрения, сапоги, брезентовые плащи, фуфайки, ушанки, брюки, костюмы, палатки малые и большие, концентраты, бензин, гудрон...

Хлеборобам нужно было дополучить сто двадцать тысяч тонн семян, увеличить на два миллиона гектаров объем тракторных работ для очистки нескольких миллионов гектаров, вычистить свыше ста миллионов кубов наносов, отремонтировать разрушенные и поврежденные девять тысяч колхозных и совхозных построек. Пострадали крыши, обрушены перекрытия, поломаны оконные переплеты, рамы теплиц и парников, засыпаны стоявшие на отлете триста пятьдесят шесть машинных дворов, разбросано две тысячи стогов сена, нарушена подача воды и энергии...

Харламов с запозданием выполнил обещание, данное Потапову, и заскочил в Сечевой район из Ростова, где, возвращаясь из Москвы, провел двое суток, координируя противоэрозийные меры с руководителями Дона.

В районе прогуливались теплые ветры, подсушивая обнаженную почву. Томились стада после встряски, лихорадочно срывая первую травку. У людей еще подрагивали подбородки и не остыли опаленные глаза. Разравнивалась земля, откапывались заживо погребенные лозы виноградников, перекрывались крыши, выпиливались изломанные ветки фруктовых деревьев и павшие стволы.

Харламов, слушая Потапова, Карамана и других членов бюро, кивал головой, особенно не нахваливал хозяев, зная пагубное влияние излишней признательности, и настойчиво направлял разбросанный поток информации в главное русло, интересовался настроением людей, практикой противоэрозийных мер, испробованных в колхозе имени Ленина, благодаря чему район сумел выйти вперед по сдаче мяса.

— А теперь, Потапов, бери плащик, — сказал неожиданно Харламов, — пощупаем не шкафы и кресла, а кулисную озимку. Покажешь ферму Чубова, строительство комплекса, и постараемся с кем-нибудь из рядового состава обменяться мнениями...

Потапов почуял недоброе: вдруг подкинули ненароком в крайком кляузное письмишко? Харламов, поняв его, расхохотался.

— Виктор Павлович, крепко себе уясни, не строим мы политику на кляузах и анонимках. Смотрим по живому

делу, Потапов! Причина моего интереса? Пожалуйста, секретов нет! Решили собрать актив, обменяться мыслями по борьбе с ветродуйством, и... мясо, мясо, Потапов! Плохо с мясом! У вас лучше, чем у других. Почему? Надо посоветовать другим... Понятно?

Виктор Павлович повеселел.

— Мне выступать?

— Зачем? Хорошее за тебя скажут другие, плохим и сам хвалиться не будешь.

— Так-то оно так, — покорно согласился Потапов и тут же решил: «Вооружусь к совещанию всем — и холодным и огнестрельным, милейший Харламов». Он на ходу натянул плащ и заторопился за Харламовым.

Райком занимал второй и третий этажи, райисполком разместился на первом, опустив в полуподвалы сельскохозяйственный и жилищно-коммунальный отделы; там же устроили столовую.

Дударина в райисполкоме не было. Он вылетел в Армавир улаживать поставки строительных материалов. На лестнице Харламову встретился Караман, успевший помотаться по району. Сергей Сергеевич приподнял шляпу, будто незрячим взглядом окинул его и пошел к выходу. Выйдя на улицу, прижмурился от солнца и озабоченно сказал:

— Передай мое извинение Караману... Я его сразу не узнал. Бачки он сбрил и изменился.

Потапов тут же исчез. Харламов увидел через стекло дверей, как Потапов что-то говорил Караману.

— Виктор Павлович, так же нельзя, — пожурил секретаря райкома Харламов, когда они уселись в белую крайкомовскую «Волгу». — Опять мне неудобно. Нельзя так по-адъютантски... Вернулся бы и передал...

— Лучше выполнить просьбу сразу, а то еще забудешь, Сергей Сергеевич.

Но Виктор Павлович возвращался в райком не ради адъютантской исполнительности. За ним такой поспешности не замечалось. На всякий случай он попросил Карамана «дать гонг» по местам, куда может нагрянуть Харламов, предупредить предколхозов, Повалия да и звякнуть соседям в Прилиманский район ради товарищеской солидарности.

Они ехали на самое удобное место, к трем развилкам, там была та самая «печка», откуда можно было танцевать.

— Время не будем терять зря, Виктор Павлович, — предупредил Харламов Потапова. — Рассказывай, как и что у тебя, без всякого «во исполнение решений», как брат брату.

Потапов собрался с мыслями и в начале рассказа сыпанул цифрами, которые, несмотря на ежедневную калейдоскопичность, знал как таблицу умножения. Харламов поморщился, но не остановил секретаря райкома, цифры были названы солидные, чему он порадовался, имея дело с особо пострадавшим районом.

За россыпью цифр, иногда невероятно скучных и утомительных, Харламов видел людей, словно возникших в рассеянных лучах света, людей отважного будничного труда. Они подкармливали озимые, расшвыривали в полях навоз, очищали посадки, торопясь освободить землю от черных струпьев, вернуть ей дыхание, свободу и жизнь.

— Понимаю вас так, Виктор Павлович, руки не опускаются?

— Нет! — Потапов попытался что-то добавить, но Харламов не требовал доказательств. Его интересовало другое. С мест поступали жалобы на задержку определенных по лимиту поставок в счет госпомощи.

— Мы не обижаемся, Сергей Сергеевич. Были какие-то срывы, ощущалась нервозность... Однако надо понять и железнодорожников, и товарищей из «Сельхозтехники». На них сразу столько навалилось! Шли эшелоны за эшелонами, настоящее фронтовое напряжение, постоянные часы «пик»...

— А что обо мне говорят? — неожиданно спросил Харламов.

Вопрос застал Потапова врасплох, слишком резко пришлось переменить тему. Пауза, последовавшая за этим, заставила Харламова насторожиться.

— О вас говорят хорошо, Сергей Сергеевич.

— Слишком общо, Виктор Павлович.

— Могу уточнить, — Потапов сосредоточился. — Когда вы приехали в край, думали, потянете за собой кадры... Вы не потянули, доверились нашим людям, сработались с ними, взяли курс на выдвижение молодежи. Трезвый, дальновидный курс. Что еще? Работаете спокойно, ровно, не дергаете людей, не повышаете голос. Как вам это удается в столь сложной, накаленной обстановке — загадка...

Харламов улыбнулся, остановил Потапова.

— А что плохо?

— Плохо? — повторил Потапов. — Надо вспомнить.

— Вспомните.

— Вспомнил, — Потапов поднял голову, весь как-то подобрался, даже невольно отодвинулся от собеседника. — Говорят, что вы мало принимаете по личным вопросам. К вам трудно попасть, Сергей Сергеевич, хотя люди понимают, что невозможно всех желающих принять, а нужно... И не все письма, адресованные вам лично, попадают в ваши руки. Минуют вас и вытекают обратно через канал канцелярии...

— Много пишут!

— Не все надо читать, но от людей...

— Кого вы имеете в виду?

— Как правило, это чем-то обиженные, пожилые люди, ветераны войны и труда. Они требуют внимания. Они много не просят. Они хотят знать, что их помнят и ценят... — Потапов шел, как говорят, напропалую и отвечал искренностью на откровенность. Чтобы не быть голословным, привел несколько примеров и по своему району, и по краю.

— Спасибо, Виктор Павлович, — Харламов прикоснулся к его руке, — надо учесть.

— Возможно, только дымок...

— Дымка без огонька не бывает...

Машину у трех развилок свернули к широкому кулисному массиву. Мягко струились поля озимой пшеницы. Желто-бурые канты кулис казались как бы шевронами на полотне цвета хаки. Бросались в глаза прежде всего поперечные гоны против господствующих ветров. И этот посев несколько сбивал привычный рисунок массива по отношению к лесополосам. Непривычность заставляла задерживать внимание, вдумываться в смысл этих письмен агротехники.

После измятых, облысевших полей здесь открывалась иная картина. Озимка была не только густой, но сочной и сытой. Вчерашний дождь смыл с нее остатки буревой пыли, освободил от траура, и пшеничка кустисто растопырилась. Если ее польет еще один майский дождь, выскочит непременно, выскочит «лукьяновка».

И Потапов посвежел лицом, встретив неузнаваемое после дождя поле. Вот действительно получился «мидовский клин», как шутя именовали показные участки. Харламов

затоптал недокуренную сигарету и пошел в глубину поля, не оборачиваясь, не приглашая следовать за ним. Пройдя шагов тридцать, он нагнулся, провел рукой по стеблям, ощутив их упругость и свежесть, выдернул кустик, пощупал, помял, изучая его жизнестойкость: корешки активные, живые, жадно нахватавшие крошечными усиками мягкой, сыроватой земли. Вернувшись к машине, Харламов завернул в бумагу кустик озимки и спрятал его в портфель.

— Наглядное пособие для тугодумов, — сказал он, — надо прислать сюда кое-кого.

Потапов напомнил:

— Полевые опыты ведут сотрудники отдела защиты почв от эрозии Краснодарского НИИСХИ, Сергей Сергеевич.

— Надо воспользоваться опытом. Как ведут себя сорняки?

— Мы боремся с ними химией, прометраном.

— Не вреден?

— Если и вреден, то только для бурьянов.

— Хорошо. Значит, прометран...

Харламов и Потапов после осмотра кулисного массива направились в бригадный стан Повалия. Полевая дорога, обработанная грейдерами, уже пропрессовалась тяжелыми скатами грузовиков и блестела, как вороненая сталь. Кое-где виднелись грифельно-черные наметы буранной земли. Следы свежие. Январская буря продолжалась с короткими перерывами до конца второй декады, потом февральская, с пятого и тоже по двадцатое число. И в марте дуло. Буран может повториться и в апреле.

Харламов продолжал думать о способах защиты земли. Как дальше вести земледелие? Надо прислушаться, найти правильное решение, а оно может быть утверждено только опытом. Кустик озимки в портфеле еще не все. Опыты проводятся во многих местах. Предлагается опыт целинников. Был Мальцев с его безотвальной пахотой. Сейчас прогрессирует Бараев, увлеченный, энергичный человек науки. Все понимают, что такое эрозия, куда она может привести.

Оскудение почв неизбежно влечет за собой оскудение животного мира. Есть над чем задуматься, есть необходимость посоветоваться.

Потапов не отвлекал от раздумий первого секретаря крайкома.

— А это что? — Харламов обратил внимание на разлохмаченное поле.

— Не применили кулисы, Сергей Сергеевич.

— Чье поле?

— Новалия.

— Вот тебе и раз! И так у него и этак?

— Подкормил. Возможно, поправится озимь после дождя...

Вправо, за рекой, лежал засыпанный хутор. Над ним шеренгой тополя.

— Хутор Облучки, — сказал Потапов, — мы сообщали.

— Помню, — Харламов посмотрел туда, где на прогибистом склоне, подходившем к реке, виднелись заметенные по макушки катальпы.

— Решили полосу не откапывать, — объяснил Потапов, — заложили рядом акации. От катальпы и фруктовых деревьев отказываемся.

— Отказываетесь? — машинально переспросил Харламов.

— Не оправдали себя.

— Даже деревья не оправдали, — задумчиво произнес Харламов, — они же не знали, что́ с них потребуют...

Невдалеке от моста, на правой стороне реки, их встречала большая группа людей во главе с Караманом.

Харламов достаточно долго стоял у руля партийной власти, чтобы выработать и характер и навыки. Широта представляемых полномочий не давала ему права на высокомерие, на подчеркивание своих прерогатив. Любая оплошность в такте, внимании оборачивалась иногда весьма круто и для других, и прежде всего для него самого. Он старался держаться ровно, но не снисходительно, не докучать назиданиями, но и проявлять настойчивость в требованиях, не оскорблять личности, понимая, насколько ранимы люди. Поэтому он никогда не старался повышать голос, как бы ни была накалена его психика, какие бы чувства ни бушевали в нем. Крик — признак слабости, брань — невежества, невнимание — бескультурья.

Вот и сегодня Харламов мог догадаться без особого труда, что люди собрались не по щучьему веленью. Успел все же ловкий Потапов отыскать окошко и кому-то шепнуть... Кому-то? Ясно кому, Караману. Харламов попросил Потапова продолжать движение. Кортеж тронулся в направлении полевого стана. Харламов, оглянувшись и

увидев кавалькаду машин, бегущих к мостику вслед за ними, попросил Потапова после встречи в бригаде колонне легковых машин рассредоточиться.

— Ненавижу свадебные процессии, Виктор Павлович. Мы все на виду. Парадные выезды раздражают людей, вызывают насмешки... — Он говорил негромко, ровным голосом. — Я попрошу, чтобы все ехали, а мы задержимся.

Так и поступили.

Повалий подошел к Харламову, стал слева, снял шапку.

Апрельское солнце ярче высветило седину в его поредевших волосах.

— Эге, — Харламов метнул глазами на его голову.

— Эге-ге-ге! — Повалий помахал рукой в сторону моря. — Туда ушла моя чернота, Сергей Сергеевич.

— За одну бурю?

— Зато за какую! — Повалий провел ладонью по голове. — Попросил цирюльника скосить полынок до самой макушки. Для кого буря черная, для меня серая.

Харламов понимающе кивнул, задумался.

— Да, такая буря — Курская дуга... Не помню, кто так определил нашу битву. Помните, после первого январского задува мы собрали актив, выработали стратегический план дальнейшей битвы и госпитализации земли...

— Помним, — подтвердил Повалий.

Харламов смотрел, как густо сочилась река среди жирных берегов, омывался камыш, будто окунули его в мазут, и лежал засыпанный по самые крыши брошенный хутор.

— Жителей устроили? — спросил Харламов.

— Устроили и устраиваем, ссуды выдали, страховки, материалы...

— Это я знаю, а души? Успокоили, побеседовали, утешили?

— Занимались и этим, — ответил Повалий.

— Надо поставить себя на их место, — сказал Харламов. — Завалило дом, где ты рос, печку, которая тебя грела, мамашин сундук... — Харламов, не требуя ответа, спустился с бугра и пошел по верху первой гребнистой дюны, первого мощного вала вторжения бури. Подойдя поближе к хутору, он увидел дымок, поднимающийся над хатой.

— Не знаете, кто там живет? — спросил Харламов Повалия.

— Как не знаю. Моя доярка, Курбатова Елена Тихоновна.

— Не хочет уходить?

— Ждет, пока построят дом в станице.

Харламов посоветовал Потапову:

— Проследите за устройством каждой семьи. Мы обязаны душевно принять их личное горе. Товарищ Повалий, я слышал, что вы имеете план, как поступить с Облучками.

— Думаем раскатать набережную, берег обрезать. — Николай Иванович черкнул ладонью воздух. — Халупы забульдозерим, все забетоним...

— Забетоним?

— Забетоним! А что не так?

— Нет, нет, так, продолжайте.

— Пристань для лодок вон там. Вышка. Дно вычистим, Сергей Сергеевич. Пустим толстолобика, карпа, белого амура. Камыш оставим для пропитания рыбам и для пейзажа. Бугор закроем ясенями. К тому времени будет готов животноводческий комплекс и к нему зона отдыха...

Потапов слушал его с затаенной болью. Все выполнит он. И пристань будет, и лодки, и ясени. Чего доброго, аттракцион поставят или карусели. Все будет! Только не будет бежать к отцовскому дому Маринка, не будет суетиться у летней печки Параскева Терентьевна, и той беседки не будет с кавуном, медом и зудящими осами.

Твердо организованный ум Повалия был скроен по-другому. А может, это совсем новый человек, с другими задатками? Тогда почему же он так бережно пестует иву первых коммунаров, вырезал их имена на обелиске, выкохал чуть ли не своими руками старый ветряк, ныне тревоживший самые черствые души?..

— Итак, — выслушав до конца планы Повалия, сказал Харламов, — нас ждут. Посмотрим на комплекс, потом на ферму. Научите всех, как кормить и доить коров в такую бурю.

— Научим...

— Да, приближается юбилейный год, надо людей представить к наградам.

— За этим дело не станет! — воскликнул Повалий.

— И еще один вопрос, — Харламов близко подошел к Повалию. — Скот в бурю ревел?

— Что, что? — Повалий не сразу оправился от неожиданного вопроса, поставившего его в тупик.

— Ревел ли скот, спрашиваю?

— Ревел...

— Беспрерывно?

— Нет, — Повалий потер ладонью вспотевший лоб, — дай бог памяти. Нет, нет, потом перестал...

— Когда перестал?

— Когда пришли люди... Когда животные увидели людей, поняли, что люди с ними, перестали реветь, успокоились, стали отдавать молоко...

— Значит, пришли люди, и скот успокоился?

— Люди были спокойны, — подтвердил Потапов.

— Спокойны? — переспросил Харламов.

— Да, спокойны, — подтвердил и Повалий, — они вели себя как нужно. Кстати, пирожки готовы, есть и абрикосовка... — Повалий стушевался, совершенно упустив из виду, что в одном анонимном доносе, прочитанном ему инструктором крайкома, его абрикосовка выросла в семь смертных грехов.

— Абрикосовка? — Харламов ткнул пальцем в бок Повалия. — Попробуем и абрикосовки. Только после осмотра хозяйства и небольшого совещания. Раз все съехались, подумаем, как поднять мясо по краю. А потом домой. Нет, ночевать не буду, хоть к полночи, а должен попасть в Краснодар.

Глава третья

Артель, Иван Терентьевич, буря не повалила, кругом крепкие плечи, и потому правление постановило новый квартал на Джигитском плацу ставить из надежного материала. — Харченко ближе подвинул к старому комбайнеру план застройки части выгона, издавна именуемого Джигитским плацем из-за проходивших там и поныне конных потех, и, прижав пальцем крайний участок, начинавший новый квартал, пояснил: — Вот твой огород, Терентьич. Сбоку, через улицу, родычи твои — Ауловы. Тимофею срочно помогли, потому как организовалась новая семья, самому строить некогда, механик. И тебе поможем...

— У меня у самого руки, Григорий Васильевич.

— Твои руки одни... Кирпича тебе выделили пятьдесят тысяч, цемент, кровлю, лес получишь по списку долгосрочной помощи. В смысле кредита... Меня не благодари, так решило правление колхоза...

Кроме спорыша и мелкой полыни, на участке Ивана

Терентьевича ни деревца, ни кустика. Закопошились хуторяне на отведенных «планах», одни сразу же воздвигли балаганы, другие турлучные времянки, и забурлила жизнь на Джигитском плацу.

Наезжал сюда и Дударин, хлопотал, громко и басовито распоряжался, в общем-то напрасно: каждый понимал, что ему делать. Люди старались свить гнезда к зиме.

— Радуйтесь, селяне, — с неподходящим к случаю смехом возглашал Дударин, собирая хуторян в кучки, — жили при реке, и опять нарезали вам планы при ней же, кормилице. На визуальном расстоянии, братцы вы мои. Облучки! Культурная часть этой славной бессмертной реки. Пляж перед вами, купальня и зонтики от жары...

Дударин считал, что таким скоморошеством можно выше поднять дух переселенцев, и ошибался. Люди слушали его с кислыми полуулыбками, задавали вопросы о гвоздях, известке, шифере, досках, краске...

Иван Терентьевич, наладив косу, в два приема начисто выкосил сухой бурьян, сжег его на костре, забил колышки и натянул в одну нитку дрот. Ребята из мехколонны пригнали экскаватор и оконтурили его участок неглубокой канавой. Вырывая темное время из полевых работ, он вскоре сколотил закуток, нечто вроде летней кухоньки, где сложил плиту, вывел жестяную трубу и установил раскладушку. Восемь квадратных метров, таким был первый «дворец» Тарасенко на новом месте. Зато впереди рисовались пышные картины. Сидя с женой и любопытными детишками, Иван Терентьевич выстраивал на бумаге будущие хоромы, вычерчивал план посадки фруктовых деревьев и виноградной лозы, намечал место для погреба и беседки, для коровника, птичника...

— Хорошо будет, хорошо, — успокаивала Параскева Терентьевна мужа. — Надо только успеть до белых мух. Не могу в той квартире.

— Подожди, все будет.

— Поскорее бы.

— Спешу.

— Я вижу. Исхудал, постарел.

— Чего мне молодиться? В женихи теперь негож, а ты не прогонишь.

— Все работали, спешили, годы пробежали. Где они?

— Позади остались, — косился на жену Иван Терентьевич.

Она журила мужа за подозрительность, стараясь ободрить, воодушевить его.

— Погляди, какое гнездо у Зои! — Иван Терентьевич, прищуриваясь, любовался новым домом дочери. — Молодцы! Когда только успели крышу покрасить?

— Позавчера. Уже высохла, — ворковала Параскева Терентьевна. — Получилось красиво. Дом кирпичный, крыша под сурик. Хотели башенку выкладывать, райархитектор отсоветовал, — сообщила Параскева Терентьевна.

— Затея от праздного ума. Надо нам прикинуть, чего еще надо? — Иван Терентьевич вынимал тетрадку с записями, брал шариковую ручку, принимался вновь и вновь подсчитывать кирпичи, доски, олифу...

Жена не мешала ему, собирала и мыла посуду. Когда он отрывался от тетради, спрашивала:

— Колодезь рыть не надумал?

— Зачем? Пробьем траншею. Подведут артезианку.

— А если не подведут?

— Если бы да кабы, — Иван Терентьевич хмурился. — Дударин лично обещал. Видела, тянут воду?

— Тянут долго. Копнут раз-два, уйдут...

Она заканчивала домашние дела, уходила на квартиру. И там надо было накормить, напоить, обстирать... Вот если бы ее лишили всех забот, тогда бы она затосковала, занедужила.

— Терентьевна, чего ты так мечешься? — не раз говорили ей.

— Для детей...

— Нужны мы детям? Помрешь и не вспомнят.

— Может, и верно, — соглашалась она, — только дети без нас проживут, а вот мы без детей? Не будет забот, не нужна и жизнь. Зачем трещать под ногами бурьяну-старюке?

Такая философия помогала ей оставаться заботливой и неуемной в труде. Она не кичилась собой, не требовала излишеств и без кривляний и ужимок принимала помощь того государства, которому являлась матерью.

Пострадавшие получили страховые премии, банковскую долгосрочную ссуду и безвозмездную помощь от колхоза. Иван Терентьевич пока не отколол ни одной сотни от своих трудовых накоплений, дав зарок, пока ходят ноги, не выдаивать сберкнижку. После бури дел прибавилось много. Получить выгодный наряд легче легкого. Свыше двухсот зарабатывал он в месяц.

— Вы за них не волнуйтесь, Виктор Павлович, — басил Дударин, — не переживайте. Если хотите выполнить совет Харламова и поддержать не их, а свой дух, поедем, поглядим...

— Поедем, — согласился Потапов, — покличь Карамана.

Караман предложил пойти пешком.

— Чтобы видеть, надо ходить. Горький изучал Россию с посохом и котомкой...

— И Горького зацепил, — удивился Потапов. — А как изучал жизнь Толстой?

От центра к Джигитскому плацу около двух километров. Добирались туда два часа. Первая задержка произошла возле продуктового магазина, где выстроилась неподвижная очередь. В очереди стояли женщины, ожидавшие, когда подвезут молоко и мясо. С мясом были перебои не только в их районе. В очереди стояли учительницы, медицинские работники и колхозницы.

— Свое бы молочко имели, — упрекнул Дударин одну из женщин.

— Когда-то имели, а потом разымели.

— Коровенок не заводите?

— Нет. С бидончиком легче, товарищ Дударин. Мы отвыкли, а разве молодежь заставишь за коровой ходить?

Потапов заставил Дударина позвонить из магазина на базу.

Рассеивая самих себя от скучных дум и повседневных забот, они дошли до подворья Ауловых, где невдалеке от отцовского дома красовался кирпичный домик молодоженов.

— Караман, — сказал Потапов, — погляди, как живет наша Зоя!..

В это время, заметив их, выбежала сама Зоя, на ходу снимая фартук и оправляя высокую прическу.

— Неужели к нам в гости? — обрадовалась она. — Заходите. Простите, пока еще не устраивали новоселья, но, если позовем, не вздумайте отказаться!

— Зоя, прилетим, прилетим, — заверил Дударин.

На пороге их встретил успевший приодеться Тимофей.

— Показывайте свою халупу, — попросил молодого хозяина Потапов. — Все, мелочей нет, краники, унитазики. Слышал, устроили местную канализацию...

— Сразу с канализации, — мягко упрекнул его Караман.

— Для нашего райцентра больной и острый вопрос.

— И кроме того, мы должны отыскать золотую середину, — сказал Дударин. — Пятиэтажки не прививаются в наших условиях. Приближение к городу — это не копирование города... И притом имейте в виду, Караман, психологический фактор. В станице должна стучать в окно цветущая вишня. Виноград должен виться по стенам. Огурец не из кулька, а прямо с грядки, цыпленок паровой, а не из нейлона...

Потапов пропускал мимо ушей балагурство Дударина, внимательно осматривал дом. Тимофей постепенно мрачнел, не совсем соображая причину столь тщательного осмотра: даже в кладовку заглянули, проверили банки маринадов и соков, пощупали связку тарани.

— Тимофей, — обратился к хозяину Потапов, — ты хочешь что-то спросить и как будто бы не решаешься?

— Хотел, Виктор Павлович. Угадали.

— Спрашивай.

— Помню, в армии съел я три порции пломбира у киоска, комсорг заявил: «Перерождаешься, Аулов!»

Потапов усмехнулся, глянул на строгого Карамана.

— Отыскиваешь у меня черты своего комсорга?

— Всякое бывает, — уклончиво ответил Тимофей, — теперь я коммунист, а вы первый секретарь...

— Вот видишь, Виктор Павлович, какое осложнение! Не сумели взять правильный тон, получилось что-то вроде проверки, контроля, а ведь все как раз наоборот...

Тимофей полуобернулся, слушая не совсем серьезную речь Дударина. Он ждал ответа от Потапова.

— Молодцы, — похвалил тот, — устроились надолго, прочно, удобно. Продолжай есть сколько угодно пломбир, Тимофей. А теперь, раз уж мы здесь, как идут дела в бригаде?

— Нормально.

— Харченко не обделил вас новой техникой?

— Повалия не обделишь, — Тимофей выпил сока, мигнул Зое, и та вышла, покачивая полным станом, и вскоре вернулась с закусками и вишневой настойкой.

— Назвали вы нас молодцами, Виктор Павлович, подумал, подковыриваете, — признался Тимофей.

— Неужели мог так подумать! — воскликнул Дударин. — Разве Виктор Павлович такой! Наш Виктор Павлович!..

— Центурионы всегда льстили Цезарю, а потом убивали его, — мрачно пошутил Караман.

— Брось ты свою Грецию! — Дударин подлил себе еще настойки.

— Не Грецию, а Рим, — Караман отодвинул рюмку. — К тому же надо не забывать, что Римская империя фактически погибла не от меча, а от пьянства.

— Что ты все Рим, Греция? Ты о себе скажи.

— Аналогии доступны даже менее пылкому воображению, — отрезал Караман и, подвинувшись к Тимофею, слушал его с присущим ему вниманием.

— Недвижимая собственность закрепляет движимые организмы, как любил выражаться один сержант. Он обслуживал стационарные ракетные установки... — Тимофей глянул на Зою, пригласил глазами к столу, и она присела возле него, положила ему на плечо полную, оголенную руку. — Мне рассказывал другой сержант, он призывался из Иванова, что фабрикант, по фамилии не помню, дарил молодоженам мебель, комод или буфет таких размеров, чтобы их нельзя было вытащить из комнаты. Сначала мебель ставили, а потом дверь. Ушли бы с фабрики, да комод «не пущал», как говорил тот сержант.

Дударин и Караман переглянулись.

— Рассказал со значением? — спросил Потапов.

— А как же! Куда мы теперь от такой хоромины, Виктор Павлович?

— Каждый уголок облюбовали, — сказала Зоя.

— Как с учебой? — спросил Зою Потапов.

— Задача остается, Виктор Павлович. Заочно, во всяком случае. И ему тоже. Сейчас он работает как практик, а потом рано или поздно потребуют диплом. Твердо пообещал: «Будем учиться!»

— Решили правильно, — похвалил Потапов. — Надо учиться! Ты, Зоя, стала запевалой, повела за собой девчат не в балетные школы — на тракторы. Но мы не закрепляем тебя навечно за баранкой, тем более... будущих детей ваших. Нельзя закреплять одних в качестве хлеборобов, других — хлебоедов...

Зоя слушала с интересом, и, хотя дело как бы касалось судьбы ее «будущих детей», она не совсем понимала горячность Виктора Павловича. Может быть, потому, что у нее ровно и по династической линии сложилась судьба, может быть, потому, что она и не испытала другой жизни, как, к примеру, испытала Римма, но она не хотела пере-

мен для себя. У нее был свой дом, работа, уважение, интересы, ограниченные окружающей ее средой. Она ждала ребенка, и это особенно удерживало ее от всяких нарушений привычного быта.

Она даже чуточку всполошилась в душе, прикидывая, куда ведет затеянный разговор, не хотят ли куда-то послать их, кого-то заменить и, потянувшись к столу, вытащила оттуда удостоверение тракториста-машиниста, выданное районным производственным управлением.

Когда удостоверение пошло по рукам, обрадованно следила за ним глазами и, получив его обратно от Карамана, подержала открытым.

— Простите, — она спрятала удостоверение в тот же ящик, — никто его и не требует, все знают.

— Не нарушала правил уличного движения, потому и не требуют, — пошутил Дударин, — людей же не возишь.

— Как не возим? Зимой и людей возим. Чуть не польку-бабочку оттанцовываем, особенно по гололеду.

— Жалуешься? — спросил Потапов. — Если жалуешься, обязаны принять меры, если просто так, посочувствуем и дальше. Хотели к твоим родителям.

— Батя будет очень рад...

Зоя вспомнила себя девочкой, когда отец, сорокалетний мужчина, раскидал старую хату и заставил всю семью месить землю с соломой, формовать ее в станки, сушить на саманные блоки, сам рыл колодец глубиной в четырнадцать метров, выкладывал его кирпичом, а мать весь день скрипела воротом, напрягалась так, что выгибалась спина. В те дни Зою давила скарлатина. Лежала в сарае. С полей шел запах трав, залетало дикое семя, врывались ласточки и, утомленные зноем, юркали в лепные серые гнездышки и что-то тихо выпевали на своем щебетном языке. Возле койки на земляном полу стояла кубышка с теплой водой, а на арбузную скибку налетали осы, изгибались, сверкали прозрачными крылышками. Горячка не оставляла ее. Заглядывал отец, небритый, в рубахе, прилипшей к сухому телу, с жестким чубом, выпаленным солнцем. Потом жали камыш, и отец ползал по стропилам, подбивал крышу под корешок, требовал подачу снизу снопов. Дети помогали справить новую хату в однолетье. Так и теперь, хотя управится ли отец к зиме? Зоя слышала, как Тимофей отвечал на вопрос председателя райисполкома, сколько материала идет на такой дом.

...— Кирпича шестнадцать тысяч, не меньше, товарищ

Дударин. Цемента три тонны, леса десять кубов, сто пятьдесят листов шифера.

— Весомый комод, Тимофей, — Дударин откашлялся. — Солидный якорь, Тимофей?

— Не в якоре дело, товарищ Дударин, — неодобрительно ответила Зоя. — Мы никуда уплывать не собираемся.

— Не якорь, так комод...

— И комод в данном случае ни при чем, — Потапов поклонился Зое и пожал протянутую ею руку.

— Тимофей проводит вас к бате. А у меня столько дел, — она улыбнулась, — мама в бригаде, отец тоже.

— Нет осложнений с новыми родителями? — осторожно спросил Зою Потапов у калитки.

— Что вы! Я сама боялась. Наслышалась про свекровьи нравы. Люди очень хорошие. Теперь тем более, отделились. Еще роднее будем.

— Никаких просьб к нам, Зоя?

— Нет, у нас все в порядке, — подумала. — Вот разве бате? Хочет переехать хотя бы глубокой осенью, а не сумеет.

— Знаем, Зоя. Твоя забота стала нашей заботой.

Зоя вернулась в свой дом с особым чувством удовольствия. Теперь у нее был свой дом. Она могла устраиваться в нем как ей угодно, не считаясь с чьими-то вкусами, ни к кому не применяясь, не изменяя своим привычкам. И то, что свой дом новый, что в этом доме только начиналась жизнь — не было здесь еще ни болезней, ни смертей, ни семейных неурядиц и дрязг, и горя не было, — еще выше поднимало ее чувства к этому своему дому, источавшему особые запахи свежести, еще пахло дерево, стены, окна. Она заметила на свежеокрашенном полу следы пыльных ног, опустилась на корточки и, чувствуя свой живот, нагнулась и вытерла мокрой тряпкой. Заметила росчерки, оставленные резиной каблуков, попыталась оттереть их. С ней происходило то, что сопутствует многим женщинам, начинающим самостоятельную жизнь: повышенная забота о своем уголке. Раньше она ни за что не обратила бы внимания на такие мелочи, ими занималась мать.

Теперь она сама держит дом в чистоте и порядке. Ей самой хочется сделать то и другое. Она полна планов на весь день. Работая на тракторе без прежнего увлечения, она и там думает о своем доме, спешит сюда, принимается

за работу, ведь столько еще недоделок, везде нужны ее руки.

На ней будет держаться дом. Она не задумывалась над тем, что от нее уходило девичество, присущая молодости беспечность, что наступала женская озабоченность, те нужды и тяготы, которые отныне не покинут ее.

Глава четвертая

Совещание в крайкоме проходило при переполненном зале. Кроме секретарей райкомов и горкомов, были приглашены председатели райисполкомов и горисполкомов и по особому списку председатели колхозов, директора совхозов и бригадиры.

Из Сечевого района вызвали всего троих — Потапова, Дударина и Повалия. Прилегающие к крайкому улицы с самого раннего утра запрудили машины. Хорошо промытый город с его улицами, похожими на зеленые тоннели, солнечно встречал гостей с ближней и дальней периферии.

Сечевики тронулись из дому на зорьке, успели отряхнуться и помыться в гостинице и, пройдя пешочком по центральной улице Красной, направились в крайком.

— Дадут тебе громыхнуть, Виктор Павлович? — спрашивал по дороге Дударин.

— Не знаю, не знаю, — Потапов поправлял галстук, нащупывал в кармане тезисы, набросанные на всякий пожарный случай.

— Громыхни! — резко басил Дударин. — Надо воспользоваться нашим преимуществом! Харламов не зря приезжал, отметил, выделил... Надо утереть нос любимчикам, баловням природы, южанам.

— Нечем утереть, платком нужного размера не запасся, — сухо останавливал Потапов экзальтированного председателя райисполкома.

Дударин обрушился на молчаливо шагающего Повалия:

— Почему Звезду не надел, Николай Иванович?

— Зачем? Каждый знает про мою Звезду. Зачем ею выхваляться...

— Знает, знает, — бубнил Дударин, — идет периферийный мужичок, виски стрижены, шляпка неважнецкая,

костюм мятый, кто знает? А дай Звезду — и тот глянет, и та обернется...

Совещание началось оперативно, без длинных речей и размазанных прений. Мясо связали с эрозией. Буря ударила по животноводству, нарушила ритм, разбросала корма, развалила постройки: три месяца клокотало. Расклеился, зашатался мясной баланс. Поставки выполнялись с напряжением, так как скот отощал. Неуютная весна поздно выдала травы. Магазинам хватало мяса на час, люди бросались к рынку, а рынок тоже стихия.

Курица — восемь, индюк — пятьдесят, мясо — не менее трешки. Таких цен не знала Кубань.

Совещание неожиданно развернулось, как стальная пружина. Прелюдии были отброшены. Пример показал сам Харламов. Свою речь он начал с курицы, вот той самой драгоценной курицы на Сенном базаре, где она «окопъюнктурилась», как на бирже.

— Чтобы проверить данные, я сам пошел с кошелкой на рынок. Было стыдновато за себя и за всех нас, товарищи! Стыдно мне стало, товарищи! — Харламов говорил взволнованно, искренне, неуклюжая комбинация слов, непривычность действовали лучше и глубже, чем гладкая речь. — Мы принимаем львиную долю вины на себя, берите и нас в оборот, но не забывайте и себя, мы попросим сюда руководителей районов, где плохо, и тех, у кого чуточку лучше... Информируйте, что предпринято вами практически, зримо, а не в бумажном потоке по защите земли.

Горячая была в тот памятный день трибуна. Кое у кого подкашивались ноги, хотя не трусливого десятка кубанские вожаки. Впервые люди увидели разгневанного Харламова, резкого, требовательного, непохожего на себя.

— Это мы его довели, — бормотал Дударин, толкая сидевшего рядом Потапова. — Не узнать его сегодня. Хотя и надо быть таким с нашим братом... Стой, стой, тебя вызывает! Иди! Галстук поправь!

Потапов так и не вытащил тезисов из кармана. Он рассказал, что они делали в предвидении бури, сослался на настойчивость Повалия, на его принцип работать «под бомбежкой», рассказал о пресловутых тросах и швеллерах, и о том, что они не «сбросили свиней», как в свое время не распахали многолетние травы. Сами собой вылетали кое-какие подтверждающие цифры, а в общем, он не хва-

лился, не выпячивал себя перед товарищами и заслужил аплодисменты.

Вызванный на трибуну Бабиев рассказал о помощи горожан, о том, что их не оставил в беде рабочий класс в чернобурье:

— Мы другими глазами читали ленинизм, товарищи! Мы освежили в мозгах почти забытое слово «смычка».

Высокий, красивый, молодой Бабиев не кичился этими своими качествами, а даже будто стеснялся их, не выпячивал лацкан с Золотой Звездой, и Харламов с радостной грустью думал о надежном значении смены, о том, кто примет от них рулевое колесо и всю аппаратуру сложного пульта.

Шумно разъезжался «табор». Прощались перед тем, как хлопнуть дверцами машины. Были и объятия, и тряска друг друга, и челомкались друзья-ватажки.

— Тряхнуло нашего Сергея Сергеевича!

— Чему удивляешься, сам же тряхнул.

— Я вины не снимаю. Довели, мы довели...

— Все же, братец, нельзя так ретиво, — говорил кто-то обиженный. — Вытащил меня на стыд и срам, как кутенка из проруби.

— Да, ты был жалок. За тобой ничего не светилось... Пустая Доска почета в твоем районе.

— Бувайте, сечевики, ха-ха... Шестнадцатая нестроевая затопала во главе! — это подтрунивали бывшие знаменосцы из непродуваемых районов.

Потапов предложил отужинать в ресторане гостиницы «Краснодар», где обещали бифштексы и рыбу, переночевать и тронуться пораньше с утра.

Так и поступили.

На обратном пути обсуждали вчерашнее совещание.

— Надо было громыхнуть, Виктор Павлович, раз предоставили кафедру, — продолжал упрекать его Дударин.

— Как громыхнуть? Орать, что ли? — спросил его Повалий, решивший вздремнуть.

— Промаршировать со знаменем!

— Не надо, — бросил Повалий.

— Надо!

— Не надо, — поддержал Николая Ивановича Потапов, — нельзя хвастаться перед товарищами.

— Там был представитель ЦК!

— Тем более некрасиво.

— Почему, объясни?

— Я уже объяснил, — мирно продолжил Потапов. — Нельзя шуметь у постели больного. Я суеверный.

— Кто больной? — Дударин округлил глаза, разжал губы, во рту блеснули золотые коронки.

— Земля.

— Ах вот оно что! Землю вылечит дождик.

— Его пока мало, — сказал Потапов.

Дударин продолжал кричать с переднего сиденья резким и неприятным голосом.

— Ты мог бы, мог бы похвалиться, Потапов! Скромность твой порок! Скромность хороша в меру, а когда перерастает... — Во что перерастает скромность, Дударин не объявил, перескочил на прежнее, на упреки: — Не себя хвалишь, народ хвалишь, массы отмечаешь...

Повалий с трудом приподнял тяжелые веки, поморщился, крик разбудил его. Дударин воспользовался его пробуждением и зачастил еще громче.

— Их надо было убедить, убедить...

— Кого их? — спросил Повалий.

— Их, их, — Дударин тыкал пальцем на уже пробежавшие столбы, задымленные пылью. — Из Москвы был...

— В чем? — Повалий не понимал причин, возбуждавших этого человека до повышения голоса.

— В характере советских людей.

— А именно?

Дударин пожал плечами, округлил влажные глаза:

— В том, что наши люди сплачиваются в беде, подчиняют свое личное общественному — мы...

Потапов тяжело вздохнул.

— А то там не знают характера советского человека.

— Кубанцев надо оттенить, кубанцев!

— И кубанцев знают.

Пыл Дударина иссяк. Заулыбавшись и с булькающим смешком сказав еще несколько слов, он натянул поглубже фетровую шляпу, так что она села на его уши, вобрал голову в плечи и больше не оборачивался.

Дударин перекипел и задремал. Повалий кивнул на него:

— Хорош мужик, только говорун и все криком.

— Привычка. Я не захватил его, когда он был на комсомольской работе, но, говорят, умел запалить сердца.

— Сердца не знаю, а под мышками всегда от него потно, — процедил сквозь зубы Повалий, имевший несколько

стычек с предриком по поводу тех или иных хозяйственных дел по своему депутатству.

Они выезжали из пасмурно нахохлившегося города. Со стороны предгорья наползали облака. Даже морось пошла по ветровому стеклу, и шофер Филя дважды включал очиститель. Но чем дальше убегала на север серая жила шоссе, тем становилось светлее и суше.

— Не везет нам с осадками, — сказал Повалий, — иногда осатанеешь, хочется схватить за бороду бога и повернуть его к нам... — потянулся, поправил съехавшую с головы Дударина шляпу. — Просил его потолкаться по столоначальникам, пока мы отсиживали оперативку, а он как комод...

— Зачем потолкаться?

— Надо было добыть автокран, еще один экскаватор и газовые трубы. Ведь комплекс — это пожиратель, гонишь, гонишь в него. Расторопные рвут нужное и ненужное под черную бурю.

Потапов сказал:

— С его толкотни все одно мало было бы толку. Достал бы вместо шила коленкор. Я за тебя не волнуюсь, кому-кому, а тебе...

— Всегда вот такие рассуждения, Виктор Павлович. Все так думают, и никто ни фига не дает... Слышал, как жмут по мясу. А комплекс — это фабрика мяса, — и он стал увлеченно говорить о том, как он завалит план мясом, стоит только довести до конца стройку.

Следы урагана виднелись повсюду. Никуда не запрячешь кинжальных заструг, еще не тронутых бульдозерами, намывов небесного ила на берегах речушек после весеннего половодья. Стая галок снялась с густым шумом крыльев. Люди чистили посадки, вытаскивали срез, жгли. Там, где закончили, только круги от костров и жерди, которые могли пойти в дело.

— Какая все же непобедимая природа, — раздумчиво произнес Повалий, — казалось, все кончено. А вот и плесы, и утки, и зеленя взялись, люди заколошились.

На втором часу пути изменилась погода, затянуло горизонт. Посвежевший ветер подмел шоссе. Встречные машины бежали с огнями.

Филя включил свет.

— Опять завернет, — сказал Дударин, — мне заранее жутко.

— Типун тебе на язык, — бросил ему Повалий, — по-моему, ветер локальный, и нечего паниковать.

— Грудь затеснило, Николай Иванович.

— Спишь много, Дударин. Не успевает сердце перегнать суточную норму крови...

— А иди ты к богу в рай! — Дударин посмеялся. — Во сколько соберется актив?

— В семь вечера.

— Приемлемо, успеем перекусить и вытянуться.

В станицу въехали при ветре. Машину будто подхватывало под брюхо, шатало. На улицах почти не было прохожих. Возле райкома стояло десятка три автомашин.

— По домам уже некогда, — сказал Потапов, — умоемся здесь, а за то, что без фраков, хлопцы простят.

Приехавшие активисты кучковались в коридорах, курили, обсуждали неотложные дела, приплод. Члены бюро поджидали в кабинете первого секретаря, пили фирменный квас и говорили о том же. Никто не признавался в тревоге, а все же прислушивались к ветру, жмурились, кряхтели.

Потапов поздоровался, прошел в бытовку, умылся, причесал волосы, прижал их ладошкой и вышел вполне готовый, как говорится, начинать все сначала.

Прежде всего он доложил членам бюро о краевом совещании, о своем выступлении. Посоветовавшись, вышли к активу в конференц-зал, где уже собрались вызванные.

Из-за сгустившейся наружной темноты пришлось зажечь все люстры, и под их ярким светом смуглые лица казались синими, зубы голубыми и только белки глаз светились фаянсовыми шариками.

Потапов подождал, пока уляжется шум, расслабил воротник, откинул пятерней упавшие на лоб волосы и, облокотившись на трибуну, рассказал о совещании. Не всегда секретарь райкома приезжал с удачей из края, не раз приходилось докладывать о нахлобучках, и потому похвала в их адрес в такое трудное время вызвала одобрительный шумок.

— Это что ж, на безрыбье и рак рыба, — бахнул с места Шакунов. Его неожиданная реплика пришлась не к месту, на него зашикали, а он, повинуясь своей натуре, никого не спросившись, важно прошел к трибуне, облокотился и спросил хриповатым баском присевшего у стола президиума Потапова: — Хвалили нас за аванс?

— Не совсем понятно, товарищ Шакунов, — сказал Потапов.

Шакунов причмокнул влажными губами, провел ладонью по залысинам, обратился к залу:

— Нам проавансировали благодарность, товарищи. Ну, мы скаканули через барьер. Кто-то не смог, кого-то обнесло. А мы скаканули, пришли хоть в пене и мыле, а призовыми, а дальше? — Он протянул обе руки к окнам. — Чуете, опять засвистел. А я понимаю, нам надбавили. Надбавили, Виктор Павлович?

— Надбавили, — строго ответил Потапов.

— Надбавили план, надо перекрыть отстающих, а нам, может, придется вообще сбрасывать скот... Не знаю, как наши призеры, а артель имени Дмитрия Жлобы хоть куска еще не просит, а на зипунце латка на латке... — и пошел старый вожак Шакунов к своему креслу, не «сорвав ни единого хлопка», хотя надеялся: раньше выходило, коли шел всем наперекор. Теперь не вышло, положение было серьезное, и шуточки не воспринимались.

Шакунову тут же хотел возразить Дударин, потянулся с рукой, но Потапов, будто не заметив этой протянутой из президиума руки, поискал глазами и нашел человека, по всему видно готового ответить и предыдущему и, как говорится, по существу вопроса. Это был Харченко, и ему дал слово Потапов.

Харченко кивнул в ответ на немой вопрос секретаря, поднялся и своей легкой походкой прошел к трибуне.

— Товарищи, есть прорыв, неудача, надо помогать, — сказал он твердо, без запальчивости. — Насколько я понимаю, просит государство, то самое государство, у которого мы попросили, и оно нам не отказало, не упрекнуло, не поглумилось над нами. Не знаю, как думают жлобинцы и все ли рассуждают так, как их председатель, а мы, ленинцы, кроме говядины и свинины, обязуемся вместо тридцати пяти тонн птичьего мяса сдать сто двадцать... — Харченко сделал паузу, глотнул воды, на миг мелькнул острый кадык на его сухой, тонкой шее, и обернулся к Повалию. И все также смотрели на него. Повалий чуточку промедлил, кивнул Харченко, что означало его согласие.

— Объясни, Григорий Васильевич, расшифруй цифру, — попросил он, — чтобы не подумали о пустоте обещаний.

— Мы решили выращивать птицу не только на фермах, а в птичьих домиках. Птичьи домики покупаем в Карелии, куда уже послали Антонца. Что такое птичий домик? Объясню. Каждый домик рассчитан на двести пятьдесят штук, стоит сто пятьдесят рублей. Остальные подсчеты сами сделаете, не буду перед вами кудесничать, — Харченко помолчал, отхлебнул еще воды, хмуро заявил: — Восемь рублей курица — стыдно всем нам. Буря бурей, а нам стыдно...

Глава пятая

После весьма позднего домашнего обеда, побыв часок в семье, Потапов отправился в райком.

Ветер спал до штилевого. От площади доносились шумы толпы, радиомузыка, светились неоновые буквы на универмаге и Дворце культуры. Постепенно возникало городское обличье станицы, расширялись кварталы двух- и трехэтажных домов, асфальт завоевывал все новые и новые территории.

Потапов с особым удовольствием приходил теперь в райком. Душа отдыхала в его просторах, все было ново, любовно оформлено, подобраны цвета стен, панелей, полов. После тесного, забитого древней мебелью старого здания здесь было привольно и уютно.

Виктор Павлович включил лампу, заглянул в стол и лениво начал разбирать бумаги. Продолжительный звонок междугородной связи оторвал его от дел. Помощник Харламова с корректной изысканностью извинился за беспокойство и более категорично попросил не отлучаться: «С вами будет говорить первый».

Харламов не заставил себя долго ждать. В трубке послышался его рокочущий, сочный басок, начавший с обычных норм вежливости, о здоровье, как доехал... Затем тон сменился на деловой, поинтересовался, как прошло бюро с активом, все ли людям разъяснено, не расценили ли как очередную скоропроходящую кампанию. Получив вразумительные объяснения, Харламов попросил завтра же передать в крайисполком сведения о том, где, по какой цене и как можно приобрести птичьи домики.

— Откуда вам известно о птичьих домиках, Сергей Сергеевич?

— Разведка, Виктор Павлович, — Харламов хохотнул. — Дударин звонил Мигунову, а тот поделился со мной. Общее же дело.

— Оперативный мужчина наш Дударин.

— Решил, по-видимому, похвалиться. Его не ругайте, Виктор Павлович. — Харламов, завершив с птичьими домиками, спросил: — У меня имеется еще один вопрос... — Интонации его голоса смягчились, приобрели доверительный оттенок. — Как, на ваш взгляд, прошло краевое совещание?

— Хорошо прошло совещание, по-деловому, Сергей Сергеевич. Правильно вы заступились за сдатчиков мяса. Нельзя забивать подсвинков. Голов будет много, а мяса мало. Ниже ста килограммов на мясокомбинат не отправлять. Мы уже объявили ваше указание, Сергей Сергеевич.

Харламов слушал, не перебивал, однако, судя по дальнейшему разговору, его интересовали не подсвинки, а собственное поведение на совещании.

— Не перегнул ли я, товарищ Потапов? — спросил Харламов. — Кого-то я посадил, не дал договорить, вас потребовал на трибуну... Видите ли, меня расстроил рынок. Поутру, перед совещанием, я прицепился, послушал женщин, совестно стало перед ними, напомнили они нам, аграриям, о нашей ответственности...

— Все было правильно, Сергей Сергеевич. Вяло руководить — рыхлая будет система...

— Как вы сказали? Повторите... — и в трубке пророкотал басовитый смешок. — До свидания, Виктор Павлович. Спасибо...

Без стука открылась дверь, вошел Караман.

— Не нарушаю приятного одиночества? — спросил он с легкой улыбкой.

— Входите!

Караман обошел длинный стол, упиравшийся торцом в секретарский, присел.

— Почему не отдыхаете?

— Подбивал цифры по уборке мелкозема. Нужны еще машины, чтобы не затягивать сроков.

— Бульдозеры?

— Само собой. Землечерпалки нужны. Оросительные каналы бульдозером не выгребешь.

— Обещали добавить техники. На ах-ах не рассчитывайте, край огромный и весь засыпан... — Потапов не

стал продолжать дальше, это было известно Караману. — Как идет расчистка индивидуального сектора?

— Мы можем только помочь магистральной расчисткой, — сказал Караман. — Там, где может работать бульдозер или скрепер. Раскопать клуни, сарайчики, садики машинами нельзя. Надо брать лопатой. А где руки?

— Обращались в школы, к комсомолу?

— Школьники должны учиться. Ведь в бурю мы доили коров, а детей не учили, — в сдержанном голосе Карамана возникла натянутость, и можно было уловить нотки раздражения.

Потапов пока еще никак не мог найти правильного тона с этим не совсем обычным человеком. С Харченко было просто. Харченко не нужно было разгадывать. С Караманом сложнее, значительно сложнее. Может быть, потому, что и человек он был сложный, не укладывался в общепринятые стандарты. Говоришь с ним, а сам должен быть начеку, как на дипломатическом приеме. И трудно было с ним, и остро — хотелось об него порезаться.

Караман порылся в записной книжке, чтобы заполнить сомнительную паузу. Его губы были сжаты, а на виске пульсировали темные жилки. В профиль он был отчеканен великолепно, линии твердые, металлические.

— Вы что там ищете, Караман?

— Цифру, обещанную комсомолом. Обещали бригады тимуровцев: для стариков, инвалидов войны. У них садики. Деревья засыпало, особенно на восточных окраинах. Задыхаются деревья, не цветут... — он говорил с горечью, отрывисто, делая резкие жесты смуглой рукой. — Не расчистить — деревья умрут. Природа убьет природу. Если человек не придет на помощь, самопожирание зайдет далеко.

— Самопожирание? — переспросил Потапов.

— Да! А вы не согласны? — он дерзко вскинул глаза.

— Согласен! — Потапов развел руками. — Вы как-то сразу выпускаете коготки, Олег Христофорович. Я хочу о вас порезаться, а вы царапаетесь. Порезы куда ни шло, а царапины... — Он прошел в бытовку, взял из холодильника бутылку кваса, предложил освежиться.

— Спасибо, Виктор Павлович, — задетый Потаповым, он старался сдержать свое волнение и потому перешел к обстоятельному докладу о том, что он успел сделать по

выполнению рекомендаций как краевого совещания, так и районного актива.

«Сказать ему или нет о звонке Харламова? — задавал себе вопрос Виктор Павлович. — Как он воспримет? Не припишет ли мне наивного хвастовства?»

— Помилуйте, вы, оказывается, залезли в другой район, — остановил его Потапов. — При чем здесь Кучеренко? У него есть Бабиев. Забыли поговорку чабанскую: каждый баран только за свои рога отвечает?

Шутка не возымела нужного действия. Караман будто ее не расслышал.

— Кучеренко, а сказать точнее, сопредельный бригадир Безмерный превратился в полного иждивенца Повалия.

— Чем он его околдовал?

— Ничем, — сухо сказал Караман. — Ему нечем.

— Тогда почему?

Караман улыбнулся уголками тонких губ.

— Слишком неопределенно, но отвечу. Безмерный использует оружие Повалия, его бригадирский интернационализм: забудь свое — беги к соседу!

— Это плохо?

— Если себе в ущерб, да!

— И в большой политике? — Потапов испытующе уставился в непроницаемое лицо Карамана.

— Тем более, — не задумываясь, ответил тот, — ядро состоит из молекул. — И, не уточняя своей мысли, перешел к другому: — Повалий задумал строить так называемый животноводческий комплекс.

— Почему так называемый?

— Потому что животноводческий комплекс — нечто другое, более крупное. Начнут придираться, требовать проектную документацию, сметы и тому подобное. На мой взгляд, лучше бы назвать специализированной механизированной фермой по откорму. Так и Харламов, кстати, рекомендовал... — Караман распахнул принесенную с собой объемистую папку, откуда, словно на пружинах, выпрыгнули свежие синьки чертежей. — Вы разрешите?

Караман упорно называл первого секретаря на «вы», и потому Потапов не мог перейти с ним на «ты». Они строили беседу, стараясь избегать личных местоимений, возникали неловкие заминки.

— Николай Иванович рассчитывает на тысячу животных, — продолжал Караман. — Вот на этом чертеже мы видим четырехрядные корпуса со скотными дворами.

Материал — кирпич. Только кирпич. Теплый, стойкий материал. Берем его с нашего завода...

— Он завез бетонную плиту.

— Завез. Немного. Бетонная плита пойдет в дело на вспомогательные здания. — Закончив со стеновым материалом, Караман остановился на кровле, категорически протестуя против шифера. — Ветер срывает шифер. Пресловутое затросирование — это же форс-мажор, Виктор Павлович! Я рекомендую крыть черепицей и не обычной, а татарской... — Уловив вопросительный взгляд Потапова, объяснил: — Вы, вероятно, видели в Крыму старые дома, они крыты черепицей полуовальной формы, — он показал на листе бумаги, смяв ее горбиком. — Превосходная обтекаемость, устойчивость, такая форма придумана неспроста. Люди испытали ураганы. Ориентальный профиль. В Турции тоже такая... Лучше сейчас умерить аппетиты гигантомана, чем потом наблюдать за лихорадкой. Проект мы подправим, согласуем, нас поймут... — Он независимо от отношения Потапова к его предложению что-то подсчитывал на обратной стороне синьки, прикидывал на линейке. Ресницы его так и порхали, нервные пальцы вспотели и оставляли следы на полировке стола.

— Вы прикидываете на счетной линейке, — сказал Потапов, — а я прикидываю к нуждам... Если скорей, практичней и реальней ваши поправки, их надо отстаивать. Повалий строит надолго, на века, как венецианский дож, а женщина с кошелкой никак не может понять, почему за курицу она должна платить восемь рублей... Ей сложно разобраться в вершинах, она по земле ходит, подметки из кожимита...

Караман слушал, отложив линейку и прижав рукой чертежи. Когда Потапов поведал о недавнем звонке Харламова, Караман проявил повышенный интерес, выраженный не словами, не вопросами, а тем, как он слушал, Караман придвинулся поближе, даже наклонился к тихо говорившему Потапову; пиджак сбежался на узкой, ссутулившейся его спине, и на худых щеках появился темный румянец.

— Материя и дух, — сказал он, выслушав до конца.

— Хотя и неопределенно, а звучит как вывод.

— Не вывод, а тезис, — уклончиво заметил Караман, — для выводов мало фактов. — Он вскинул глаза на Потапова, заставил его встретиться с ним взглядом

и, не мигая, глядя в упор, добавил: — Как руководителя я ценю Харламова, хотя он вряд ли нуждается в моих оценках, как человека я знаю его мало. Телефонный звонок, — он прикоснулся рукой к аппарату, — по-моему, не игра в популярность, не прием, а искренность. Во всяком случае, мне хочется так думать. Если это так, он стал понятней и ближе мне как человек... — И, почувствовав желание собеседника проникнуть глубже в его мысли, сказал: — Материя, не подкрепленная духом, мертва. — Многозначительность, с которой он произнес последнюю фразу, заставляла вдуматься в ее смысл, отыскать сокровенное, и потому Караман замолчал, предоставив Потапову заниматься этими поисками.

В кабинете было просторно и тихо. Старинные часы с тумбой, оставленные от прежнего кабинета, четко отстукивали неумолимое время. Глухой рокоток улицы затихал, умолкло радио. Станица ложилась рано, ей надлежало рано вставать. Дежурная принесла на подносе чай и печенье. Она поставила поднос на картонку, чтобы не испортить лак на столе, и молча вышла. Походка ее была бесшумна.

— Материя, — Караман улыбнулся глазами, — первооснова, материальный стимул. Козыряем этим стимулом иногда неосмотрительно. Почему? Объясню, Виктор Павлович. Женщина, строившая колхоз, отдавшая Отечеству трех сыновей, снабженная пенсионной книжечкой на двадцать три рубля сорок копеек, жертвовала собой и детьми ради материи? Мы отучили себя от земных поклонов. А такой матери следовало бы поклониться до земли. А лакею за трешку мазали морду горчицей. Терпел, осклабливался в продажной улыбке. Почему? Из-за материального стимула, из-за трешки, или потому, что под жилеткой трепыхалась лакейская душонка. Позволит ли наш, советский человек, пусть самый, самый... позволит мазать его лицо горчицей? Нет! Значит, дух! Значит, не двадцать три рубля сорок копеек имела в виду советская женщина, строившая социализм, отдавшая сыновей братской могиле...

Потапов не перебивал, не вмешивался в движение его мысли, импульсивной, горькой, выходящей за рамки обычных официально-партийных отношений.

— Стихия проверила качества наших людей, — подтвердил Потапов, отыскав более простую формулу для несколько усложненной мысли Карамана. — Меньше

стало жалоб и просьб, хотя, казалось бы, должно быть наоборот.

Караман понял намерение повернуть беседу в другое русло, но и здесь не удержался, чтобы не высказать свою мысль и по этому поводу.

— Если человек приходит просить — недоглядели мы, не предвосхитили его просьбы, не узнали раньше его нужды. Человек идет говорить о себе. Нелегко говорить о себе. Тем более унижать себя просьбой. Просить всегда унизительно, Виктор Павлович. — Он продолжал, хмурясь, мучительно кривя губы, будто вспоминая что-то, заставляющее его переживать вторично. — Помню, вернее сказать, никогда не забуду, как с меня снимали партийный выговор. За что был выговор? За траву. Я отказался в своей бригаде перепахивать триста гектаров люцерны...

Караман встал, полистал чертежи, еще какие-то бумажки.

— Вы меня извините, я толком и не доложил по комплексу.

— Давайте пройдемся, чтобы быть убежденным, подкованным... Я не знаю, что думает Повалий, но знаю его хорошо: разумное не отвергнет...

Караман сосредоточился, словно гимнаст перед снарядом, но, постепенно овладев собой, перешел от цифр к палитре. Он расписывал картины будущих комплексов, с бетонными хранилищами силоса и жома, стогами люцерны и эспарцета, складами комбикормов и витаминной травяной муки; сено, досушенное на каркасе, с неутерянным ароматом, то самое каротиновое и протеиновое сено, которое нередко является лишь продуктом мечты.

— Мы обязаны откармливать скот, а не просто кормить, — сказал Караман, — не продлять существование хвостов и рогов, а вывозить сытую, мясистую скотину на бойни. Потому главное не только стены и крыши, главное корма. Не ново и не свежо, а повторять не перестанем — корма! Теперь о сугубой материи, Виктор Павлович, о барыше, о выгоде. Затраты на строительство окупятся в два-три года, то есть раньше срока погашения банковских кредитов. Найдите еще столь выгодное использование капитала!

— Вот видите, Олег Христофорович, приходится-таки заниматься материальной основой общества. Любое общество, поскольку оно существует, вынуждено мате-

риально себя обеспечить. Не мы начали, не нам кончать...

Караман, будто сковывая себя, прижмурился:

— Строить новые заводы и коровники мы научились, а вот строить нового человека...

Потапов не дождался конца паузы, подтолкнул:

— Нет чертежей?

— Есть, слишком общие. Человека очень часто проверяют бедой. Нельзя его бесконечно испытывать только войнами, ураганами... Есть же у человека предел прочности...

Располагал ли он сам запасом прочности? Не слишком ли щедро раздергивает себя? Потапов, работая среди южан, часто сталкивался с пылкими темпераментами. Ему приходилось уравновешивать страсти, добиваться согласия, вырабатывать особую мерку оценок, чтобы не впасть в крупные ошибки. Не ошибся ли он, рекомендовав Карамана для работы в райкоме. Были уже случаи, когда весельчаки, откровенные казачьи души, уходили из кабинета второго секретаря с растерянными лицами.

Караман будто бы прочитал его мысли.

— Вам со мной трудно, Виктор Павлович. Вы не привыкли к таким чудакам, как я... Я вас понимаю... Но вот удивительно, иногда я не понимаю себя...

В дверях стояла бесшумно вошедшая помощница. Она прислушивалась к мышиному писку под плинтусом.

— Вы что, Анна Павловна?

— Слышите, мыши, Виктор Павлович.

— Точат зубы, — Потапов потопал ногой, не помогло. — Не было мышей.

— Плохой признак, Виктор Павлович.

— В порядке суеверия или народной приметы?

— Мыши уходят с полей, чуя голод, — строго сказал Караман.

— Да, пожалуй, так, — согласилась Анна Павловна, — хотя обычно они осенью перебираются зимовать в подполье.

— Это верно, — согласился Караман. — Не стучите, Виктор Павлович, этим их не напугаете.

Окончание следует

Валентин СИДОРОВ

БЫЛ ПОЛОН СВЕТА КАЖДЫЙ МИГ

* * *

Я чашу радости несу.
Не забывай об этом.
Ее держу я на весу,
Пронизанную светом.

Под крик и щебет птичьих стай
Заговорили камни:
— Не расплескай, не расплескай
Ни капли, ни полкапли.

— Не урони, — твердит ручей, —
При встрече и разлуке. —
И столб изломанных лучей
Мне обжигает руки...

Прости, любовь, сто раз прости!
Не знал, не знал — не спорю, —
Что чашу радости нести
Трудней, чем чашу горя.

* * *

От наших окон в отдаленье
В сгустившейся мгле и тени
Исполнились света деревья,
Безмолвьем прониклись они.

И трепетно-зыбко над ними,
Невидимый прежде тобой,
Вторгаясь в мерцающий иней,
Парит ореол голубой.

И что-то беззвучно сверкает,
И снова в трескучий мороз
Уверенно тьму рассекает
Прозрачное пламя берез.

* * *

Как хорошо снежинки дышат!
Мерцаньем белым мир объят.
А ветки тонко, как ледышки,
Как колокольчики, звенят.

И в отдаленье замирает
Гул отступающего дня.
И невесомость неземная
Опять вторгается в меня.

И убегает запах дыма,
И растворяется в тиши.
И небо вновь неизмеримо,
И вновь открыто для души.

И вновь под рокот небосвода
В лиловых отблесках снегов
Неисчерпаема природа,
Даря сюжеты для стихов!

* * *

Открыта духу высота,
И голос древности забытый
Сближает дальние орбиты:
«Числом пленяет красота».

Как геометр, Гомер для нас
Расчислит синеву простора.

А теорема Пифагора
Звучит гекзаметром сейчас.

Границы ставит суета,
А нам в границах этих тесно.
Да будет впредь нам всем известно:
«Числом пленяет красота»!

Да будет лаврами союз,
Как было принято, увенчан,
Да будет вдохновенно-вечным
Единство Алгебры и Муз!

И никакого волшебства,
И никакого фимиама.
Ложится четкая программа
В сии нетленные слова.

Как эта истина проста!
В ней столько света и пространства.
Как это сказано прекрасно:
«Числом пленяет красота»!

* * *

Пылайте сердцами, творите любовью,
И все, что тебя осаждало когда-то,
И все неподвижно-глухое, слепое
Уйдет без возврата, уйдет без возврата.

И все, что навеяно смутными снами,
Уйдет, и уляжется давняя смута.
А птицы проносятся низко над нами,
А птицы щебечут, приветствуя утро.

Да будет, да будет нам в вечную память
Огнем голубым опаленное лето!
И воздух сейчас как незримое пламя,
И сердце мое переполнено светом.

О нет, не бывает безмолвным безмолвье!
Трубят на рассвете высокие травы:
Пылайте сердцами, творите любовью!
А все остальное приложится, право.

* * *

Я жил от встречи и до встречи,
Спеша из дома своего.
Но, боже, как я был беспечен!
И что я ведал? Ничего.

И мы с тобой не уставали
От каждодневной кутерьмы,
И мы с тобой не представляли,
С каким огнем играем мы.

В часы сомненья и унынья,
Когда казалось все чужим,
Не знали мы, что мы отныне
Уж не себе принадлежим.

Какие вихри нас крутили
И тени мрачные легли,
Чтоб прекратили, прекратили,
Чтоб отступились от любви!

Но в дни высокого накала
Был полон света каждый миг,
И что-то нас оберегало
От нас самих, от нас самих...

* * *

Как поживают наши липы,
Что караулят синеву?
Мне день удачный нынче выпал:
Я их увидел наяву.

О как я вновь им благодарен
За то, что на исходе дня
На замерзающем бульваре
Тепло дышали на меня!

За то, что их недвижной сенью
Был приглушен смятенный дух.
За то, что я обрел спасенье,
Хотя не сразу и не вдруг.

*

ПОЭТЫ БАНГЛАДЕШ

Совсем недавно Республика Бангладеш торжественно отметила первую годовщину своего рождения. Но история литературы народа, населяющего страну, уходит корнями в глубину веков. Там же истоки его поэзии — древней и юной одновременно.

Поэзия республики разнообразна и многолика. Отчетливо слышатся отзвуки народных легенд и сказаний в творчестве таких поэтов, как Ал Махмуд и Хаят Мамуд. Светла и благородна любовная лирика Мохаммода Монируджамана. Иного плана стихи Шохида Шабера — публицистические отклики души на события, происходившие в недавнем прошлом...

Народ Бангладеш с глубокой благодарностью воспринял бескорыстную помощь советского народа. Вот почему, например, с такой силой звучит стихотворение Шохида Шабера, в котором образ бенгальской матери сливается с образом русской героини, партизанки — роднят их не только страдания, но и общая цель.

Народ Бангладеш вступил на новый путь независимого развития. И нет сомнения, что поэзия молодой страны будет развиваться и набирать силу.

Шохид ШАБЕР

ОБРАЗ МАТЕРИ

(Письмо политзаключенного из Читтагонской тюрьмы)

Ты плачешь, мама? Не надо, мама!
Погляди, как спокоен и тверд твой сын,
Даже губы не дрогнут, не дернется веко.
Видишь книгу в руках у меня?
Как попала она сюда,
Эта книга в красной обложке, —
Не спрашивай, мама, я не отвечу.

Открываю книгу и вижу тебя,
Но зовут тебя русским именем Ольга.
И душа прозревает, как киноэкран.
О, какая метель на этом экране!
Хлопья снега — дыханье бескровной смерти...
Ты босая, в одной сорочке —
Мама! Мама! В такую стужу!
Как ты можешь вынести это?
Удивляются даже враги.
Им вовек не понять,
Что тебя согревает Отчизна.
Что им надо? Чего от тебя хотят?
Чтобы ты объяснила,
Зачем ушла к партизанам?
Как сумела взорвать
Железнодорожный мост?
Кто тебе помогал?
Капитана Вернера, их главаря,
Удивляет и бесит твое упорство...
Он заметил твою внезапную бледность,
Обратил вниманье на твой живот.
И вдруг лицо осенила догадка:
Не все потеряно, черт возьми,
Эта ведьма, кажется, ждет ребенка?..
Вот выводят нагую тебя на мороз,
Ты босая идешь по колючему снегу,
Упирается штык в обнаженную спину.
А бандиты хохочут
И пальцами тычут в живот —
Знать, не матери их, а волчицы рожали!
Ты одна в ледяной каморке.
Там, за дверью, стоит часовой.
Смотрит в щелку, глумясь
Над святой наготой материнства.
Боль растет изнутри.
И весь мир заполняет собой
И внезапно из тела исходит криком...
О, как медлит сознанье,
С трудом возвращаясь к тебе!
Крик ребенка заставил тебя очнуться,
Ты нашла в себе силы
Склониться над ним,
Перегрызть пуповину.
Как ты счастлива, мать!

Ты не знаешь еще,
Что сын для тебя
Превратится в орудие пытки.
Вернер знает об этом.
Ведь ты же мать!
Разве ты согласишься
Сына послать на смерть?
Так рассуждает фашист.
Но у тебя их сотни,
Сыновей, над которыми смерть нависла!
И опять на допросе ни слова.
Сердце твое обливается кровью,
Ты мысленно просишь прощенья
У маленького своего.
Он плачет. Но ты безмолвна.
Немец в бешенстве.
Он достает пистолет,
Приставляет к затылку ребенка.
Неужели он вырвет этот росток
Из материнского сердца?!
Если ты не скажешь, где партизаны,
Он это сделает, не сомневайся!
Ты бы глотку ему перегрызла,
Но двое дюжих фашистов
За руки держат тебя.
Выстрел. Кончено.
Ты перестала биться.
На глазах палачей
Ты превратилась в камень.
Палачи просчитались —
Теперь ты для них мертва:
Разве можно выжать
Хоть стон из камня?!
И тебя уводят во тьму
По завьюженной мертвой земле.
И вот ты стоишь у обрыва,
Нагая, прекрасная, как изваянье скорби.
Ты умираешь, даруя жизнь
Тысячам сыновей,
И в них обретешь бессмертье.
Я — один из тысяч твоих сыновей.
О родная, откинь смерти черную паранджу.
Погляди, как спокоен и тверд твой сын!
Ольгой звали тебя

На святой украинской земле,
Ила-мата, мать Ила — зовут у меня на родине.
Схожи судьбы у вас, как две капли воды,
Схожи муки, которые вы испытали.
Мир навеки проклял твоих палачей,
Но не лучше их палачи из Лиги,
И свидетель тому Ила-мата,
Простая крестьянская мать
Из местечка Начол,
Что в восточной Бенгалии.
Я читал ее показанья в суде,
И мне вспоминался Георгий Димитров.
На какие зверства шли палачи,
Чтобы вырвать хоть слово
Из этой женщины!
Как пытали ее, как глумились над ней!
Ничего не узнали они о тех,
Кто решил бороться за правду...

Ила-мать, мать Ольга —
Два этих образа слились в один,
Образ всех Матерей земли...

Ал МАХМУД

КОЛЬЦО

У мамы кольцо золотое пропало,
Которое носят продетым в носу.
Плакала мама — жаль ее стало,
Сказал: «Найду, принесу!»
Искал у реки за Оленьим загоном,
Карабкался в горы по склонам зеленым,
Блуждал без дороги в лесу.
«Кольца твоей матери я не видала! —,
Река мне сказала, —
Не хочешь ли рыбы бояла?
Мне некуда рыбу-девать!»
И крикнули цапли с носами как сабли:
«Такого еще не придумали цапли,
Чтоб кольца в носы продевать!»
Деревья сказали: «Не смейся над нами!
Себя мы весной украшаем цветами!

Бери!» — Отказался, цветов мне не надо,
И мама, наверно, не будет им рада.
Отверг я дары полногрудой горы,
Где топчут олени цветные ковры.
И ночь мне росою обрызгала ноги
И пот мне утерла с лица.
Опять я в дороге, я снова в дороге,
Домой не вернусь без кольца.

Перевел Евг. Елисеев

Хаят МАМУД

ПЛАЧ

Ты слышишь меня, любимый? Подумай, как жизнь коротка:
Недолговечнее капли, скатившейся с лепестка, —
Стирается позолота, грустит без росинки лотос,
Иль сумрак в душе на века?
Расстался с росинкой лотос, и мрак в душе на века!

А под вечер вплелся ветер в торжественный гул прилива,
И вдаль поплыла моя лодка, похожая на павлина, —

А с ней уплыло и счастье, назад его не вернуть, —
На лодке с пестрым навесом, в далекий неведомый путь!

Куда унесли эту лодку ее паруса расписные?
Грустит без росинки лотос — вокруг меня твари лесные,
Вокруг меня сорные травы да тернии дерева бабла, —
Разлука хуже отравы, душа в разлуке ослабла!

Любимый, о мой любимый, быть может, в душе только ночь,
Возможно ли эту разлуку и эту тьму превозмочь?

Перевел А. Големба

Мохаммод МОНИРУДЖАМАН

САМОЦВЕТ

То золото, что раздобыл,
храни на склоне лет,
а если только хватит сил,
добудь и самоцвет.

Душа моя уже стара,
о славе не грустит.
С нее довольно серебра,
что на висках блестит.

Пыль больше не ласкает мне,
как в юности, ступней.
Нет дела до меня весне,
но помню я о ней.

Опять, как в первый раз, смотрю
на небо, на цветы,
как в первый раз, себе дарю
дыхание мечты.

И вихрь распущенных волос,
и ветер на виске,
и все сначала началось,
и самоцвет в руке.

И сердце — непривычный страж
сокровищам души.
И алым пламенем палаш
сверкнет в твоей тиши.

И вот опять, как в первый раз, —
и небо, и цветы,
и опьяняющее нас
дыхание мечты.

И вихрь распущенных волос,
и ветер на виске,
и все сначала началось,
и самоцвет в руке.

Перевела Римма Казакова

ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ

ТОВАРИЩ

НАЧАЛО XX века ознаменовалось в России уверенным нарастанием широкой революционной волны. Капитализм, вступавший в свою высшую и последнюю стадию, до предела обнажавший свой паразитический и антинародный характер, крайне обострил противоречие между трудом и капиталом. Во всех крупных промышленных центрах страны вспыхивали политические стачки; тысячи демонстрантов выходили на улицы с лозунгом «Долой самодержавие!»; до самых далеких российских окраин донеслось грозное эхо Обуховской обороны... Шагнув в XX столетие, Россия оказалась на пороге буржуазно-демократической революции. Всюду чувствовалось приближение великой бури.

Ленин считал, что в новой исторической обстановке политическим руководителем рабочего класса, организатором и вождем революционной борьбы против самодержавия и капитализма должна стать партия нового типа — революционная марксистская партия, непримиримая к оппортунизму, свободная от кружковщины и фракционности, руководимая передовой теорией, ставящая своей целью совершение социалистической революции, установление диктатуры пролетариата. Без такой партии, указывал Ленин, пролетариат не способен подняться до сознательной классовой борьбы, рабочее движение осуждено на бессилие и рабочему классу никогда не удастся исполнить свою великую историческую миссию — освободить себя и всех трудящихся России от политического и экономического рабства.

И Ленин развернул борьбу за создание в России марксистской партии. Предстояло идейно разбить «экономизм», идеологи которого тормозили рабочее и социал-демократическое движение, сплотить местные партийные комитеты на платформе революционного марксизма.

Трудно переоценить громадное значение, которое имела в трудной борьбе за создание революционной организации пролетариата ленинская «Искра». Она была одновременно и путеводным, зовущим к себе и предупреждающим об опасностях маяком, и боевым набатом, властно будящим революционную страсть и волю к действию. К «Искре» потянулось все «живое и честное», по словам Ленина, что было в России, вокруг нее стали накапливаться те силы, которым впоследствии пришлось в небывалом историческом масштабе выявить всесокрушающую мощь ленинской тактики, ленинского «марксизма в действии».

В июне 1902 года «Искра» опубликовала проект Программы партии, важнейшие положения которой были обоснованы Лениным. В проекте точно определялась конечная цель рабочего движения — замена капитализма социализмом, пути достижения этой цели — социалистическая революция и диктатура пролетариата, бли-

1903—1973 ПАРТИЯ

жайшие задачи рабочей партии в России — свержение самодержавия, установление демократической республики.

Боевой орган русских марксистов настойчиво проводил в жизнь ленинский организационный план. В статье «С чего начать?», в брошюре «Что делать?», в обстоятельном, похожем на детально разработанный устав «Письме к товарищу о наших организационных задачах» Ленин сформулировал важнейшие принципы построения марксистской партии: централизм и необходимость создания двух согласно действующих партийных центров — Центрального Комитета и Центрального Органа. Эта необходимость вытекала из специфических условий русского рабочего движения.

В борьбе за создание партии «Искра» выступала как единое целое. Но уже во время разработки программных и тактических взглядов партии в редакции «Искры» обнаружились серьезные разногласия. Плеханов, например, проявлял колебания в вопросе о диктатуре пролетариата, забывая о том, что «признание необходимости *диктатуры* пролетариата *самым тесным и неразрывным образом*, — как указывал Ленин, — связано с положением «Коммунистического манифеста», что пролетариат *один только* есть действительно революционный класс». Острая борьба развернулась также по вопросам аграрной программы. Против ленинского положения о национализации земли выступили Пле-

НОВОГО ТИПА

ханов, Аксельрод и Мартов, которые недооценивали значение союза рабочих и крестьян в революции.

II съезд РСДРП открылся 17 июля 1903 года. Его первые заседания проходили в Брюсселе; затем из-за преследований полиции заседания съезда были перенесены в Лондон.

В своих воспоминаниях Н. К. Крупская пишет: «Как мечтал об этом съезде Владимир Ильич! Всю жизнь — до самого конца — он придавал партийным съездам исключительно большое значение; он считал, что партийный съезд — это высшая инстанция, на съезде должно быть отброшено все личное, ничто не должно быть затушевано, все сказано открыто. К партийным съездам Ильич всегда особенно тщательно готовился, особенно заботливо обдумывал к ним свои речи».

В чем состояла главная задача съезда?

«В создании *действительной* партии на тех принципиальных и организационных началах, которые были выдвинуты и разработаны «Искрой», — писал впоследствии Ленин. — Искровская программа и направление должны были стать программой и направлением партии, искровские организационные планы должны были получить закрепление в организационном уставе партии».

Состав съезда был неоднороден. Кроме твердых искровцев, сплотившихся вокруг Ленина, на нем присутствовали и такие организации, которые вели решительную борьбу с «Искрой» либо отличались неустойчивостью, шаткостью в принципиальном отношении. «При таких условиях, — отмечал Ленин, — съезд не мог не превратиться в *арену борьбы за победу искровского направления*».

Важнейшими вопросами съезда были утверждение Программы и Устава партии и выборы руководящих центров.

Съезд отверг попытки оппортунистов внести изменения в искровский проект Программы в духе программ западноевропейских реформистских партий и единогласно утвердил революционную марксистскую Программу, в которой были сформулированы не только ближайшие задачи пролетариата в предстоящей буржуазно-демократической революции (программа-минимум), но и задачи, рассчитанные на победу социалистической революции и установление диктатуры пролетариата (программа-максимум).

Это была большая победа ленинско-искровского направления.

Острейшая борьба развернулась при обсуждении первого параграфа Устава партии.

В формулировке, предложенной Лениным, говорилось: «Членом партии считается всякий, признающий ее программу и поддерживающий партию как материальными средствами, так и личным участием в одной из партийных организаций».

Мартов, отвергая личное участие, говорил лишь о содействии партии под руководством одной из ее организаций.

Нетрудно понять, что мартовская формулировка вносила организационный хаос, предполагала шаткость и неустойчивость внутри партии, облегчала доступ в партию случайным элементам. «Формулировка эта, — говорил Ленин, — неизбежно стремится *всех и каждого* сделать членом партии... Именно этого-то и не хотим мы! Именно поэтому мы и восстаем

так решительно против формулировки Мартова. Лучше, чтобы десять работающих не называли себя членами партии (действительные работники за чинами не гонятся!), чем чтобы один болтающий имел право и возможность быть членом партии». Ленин призывал «оберегать твердость, выдержанность, чистоту нашей партии».

Формулировка Мартова, поддержанная антиискровцами и «болотом», а также «мягкими» (неустойчивыми) искровцами, была принята съездом незначительным большинством голосов.

«Несмотря на эту порчу устава, — отмечал Ленин в «Рассказе о II съезде РСДРП», — весь устав в целом был принят всеми искряками и всем съездом». В острой борьбе твердые искровцы отстояли идею централизма в построении партии — в противовес оппортунистическому принципу автономизма и федерализма. Съезд утвердил искровский организационный план. На основе этого плана возникла и окрепла революционная марксистская партия в России.

Победу искровских принципов в программных, тактических и организационных вопросах съезд закрепил своим голосованием на выборах в Центральный Комитет и Центральный Орган партии. На выборах центров искровское большинство стало большинством съезда. С этого времени сторонники Ленина стали называться большевиками, а противники Ленина, оппортунистические элементы — меньшевиками.

Говоря о значении II съезда партии, Ленин отмечал: «Наш партийный съезд был единственным в своем роде, невиданным явлением во всей истории русского революционного движения. Впервые удалось конспиративной революционной партии выйти из потемок подполья на свет божий, показав всем и каждому весь ход и исход нашей внутренней партийной борьбы, весь облик нашей партии и каждой ее, сколько-нибудь заметной, части в вопросах программы, тактики и организации. Впервые удалось нам освободиться от традиций кружковой распущенности и революционной обывательщины, собрать вместе десятки самых различных групп, зачастую отчаянно враждовавших друг с другом, связанных исключительно силой идеи и готовых (в принципе готовых) пожертвовать всей и всяческой групповой особностью и групповой самостоятельностью в пользу великого, впервые на деле создаваемого нами, целого: *партии*».

СОЗДАНИЕ боевой, революционной, марксистской партии рабочего класса, пролетарской партии нового типа, принципиально отличавшейся от реформистских партий II Интернационала, — основной итог II съезда РСДРП.

«Пройденный с тех пор нашей партией путь не имеет себе равных в истории, — говорится в постановлении Центрального Комитета КПСС «О 70-летии II съезда РСДРП». — Из сравнительно небольшой подпольной организации она превратилась в могучую, сплоченную, почти пятнадцатимиллионную армию коммунистов — правящую партию первого в мире социалистического государства. КПСС, партия рабочего класса, стала боевым авангардом всего советского народа, строящего коммунизм».

ОБЕСПЕЧИТЬ ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ **СВЯЗИ, РАДИОВЕЩАНИЯ И ТЕЛЕВИДЕНИЯ** НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВЕЙШИХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ.

Директивы XXIV съезда КПСС по пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР на 1971—1975 годы.

...И ЧЕТЫРЕ ТЫСЯЧИ КОМСОМОЛЬЦЕВ

ВО ВСЕХ УГОЛКАХ Советского Союза и более чем в тридцати странах мира широкой популярностью пользуется телевизор, на передней панели которого приклепана металлическая пластинка с надписью: ЭЛЕКТРОН.

Несколько лет назад в магазинах за телевизорами Львовского завода «Электрон» выстраивались очереди. В последнее время очередей не стало, но не потому, что упал спрос, — как раз наоборот, спрос увеличился, и это вовремя учел завод, значительно увеличив выпуск телевизоров. На заводских конвейерах стали монтировать не только прочно вошедшие в быт цветные телевизионные приемники обычных схем; в рекордно короткий срок был налажен конвейер, с которого пошли первые в нашей стране транзисторные телевизоры, единственной электронной лампой которых остался кинескоп.

...Все начиналось с нуля. На месте современного огромного завода стоял когда-то небольшой электрозаводик «Контакт», выпускавший предметы ширпотреба — электронагревательные элементы для утюгов, электроплитки, выключатели и тому подобные мелочи, ютился он в крохотных зданиях, но занимал непомерно большую площадь в небольшом городе. Производство было нерентабельным, и в 1957 году на базе «Контакта» возникла фирма «Электрон».

Давно уже позади первые трудности становления, налажен серийный выпуск продукции высокого качества, а завод продолжает расти, строиться, расширяться. Работники завода — и ветераны, и молодежь — понимают, что в третьем, решающем году пятилетки просто невозможно остановиться на достигнутом уровне...

Завод молод. И молоды те, кто работает в цехах, лабораториях, конструкторских бюро. Не удивительно поэтому, что застрельщики всех начинаний — комсомольцы, а их на заводе четыре тысячи. Четыре тысячи беспокойных сердец и душ. Такой огромный коллектив энтузиастов способен свернуть гору. И в третий год пятилетки он вступил во всеоружии...

Комсомольских вожаков — секретаря заводского комитета Юрия Лагуту и его заместителя Романа Худобу — мы ни разу не застали в комитетской комнате; ждать их там было делом безнадежным, они все время пропадали в цехах. Там, в цехах, постоянно возникали неотложные дела, необходим был надежный, прямой контакт с ребятами. Чуть ли не каждый день у кого-нибудь появлялись «новые идеи», и творцы их, конечно же, требовали доложить о себе начальству... Рождались большие и малые почины, надо было разобраться, что в них существенно, а что второстепенно и едва ли будет поддержано массами. Продолжались поиски неиспользованных возможностей...

В начале года прозвучал призыв комсомольско-молодежной бригады тринадцатого цеха — «Пятидневку — за четыре дня».

Зеленую улицу получила инициатива комсомольцев восьмого цеха, цеха имени 50-летия СССР: выполнить задание четырех лет за три года и семь месяцев — к 50-летию присвоения комсомолу имени Владимира Ильича Ленина. Всеобщим полезным увлечением в этой бригаде стало освоение смежных профессий. Универсальность позволила выполнять сменные задания меньшему числу рабочих: теперь вместо пятнадцати человек на смену заступают двенадцать. Комсомолки Тарапата, Гаврих, Романова внесли несколько рационализаторских предложений — улучшили технологию производственного процесса, а в итоге на 20 процентов повысилась производительность труда.

Заместитель комсорга завода Роман Худоба.

Мы узнали, какое большое значение придается на заводе научной организации труда. Музыкой в заводских цехах или в больничных операционных теперь уж не удивишь никого. Но вот на «Электроне» применили так называемую «функциональную музыку». Известно, что работа на конвейере — напряженный, строго рассчитанный по секундам труд. От рабочего требуется предельное внимание, особенно при монтаже электронных приборов, когда ошибка в соединении проводников или деталей, например, может вывести из строя весь блок... В цех пришли хронометристы, определили время, которое затрачивается на каждое движение, затем рассчитали ритм конвейера в целом. Специалисты получили необходимые данные и, используя их, подобрали музыкальную програм-

му, в которой ритм мелодий строго соответствует ритму конвейера. Мелочь? Нет. Новшество оказалось большим подспорьем в борьбе за четкость сборки и качество продукции.

Стоит рассказать еще об одном новшестве, впервые (не без участия комсомольцев) примененном на «Электроне». Это «пульсар» — система оценки инженерного труда. Пока что «пульсар» — эксперимент, не вышедший за пределы завода; трудно создать определенные критерии оценок инженерного труда на других предприятиях. Суть эксперимента состоит в следующем. Труд инженера оценивается по пятибалльной сетке. Чем производительней труд, чем «прогрессивнее» мыслит инженер, тем выше балл. А чем выше балл, тем выше зарплата. Если инженер, ранее получивший высо-

Комсомольско - молодежная бригада Людмилы Добровольской (снимок внизу).

Регулировщик радиоаппаратуры Иван Личатин (снимок справа).

На монтажном конвейере.

ЛУЧШАЯ
КОМСОМОЛЬСКО
МОЛОДЕЖНАЯ
БРИГАДА

кий балл, по каким-то причинам снизил производительность труда, то соответственно снижается и его заработная плата. На «Электроне» считают, что такой метод экономического стимулирования дает хорошие результаты...

Фирма «Электрон» — не только телевизоры. В этом мы убедились сразу же, как только стали знакомиться с внезаводской, так сказать, жизнью молодежи.

Давно шагнула за пределы и города, и Украины слава сорока пяти коллективов художественной самодеятельности (свыше двух тысяч человек!) львовского «Электрона». Большинство из них — лауреаты многочисленных республиканских и всесоюзных конкурсов. Гордостью завода по праву считается дважды лауреат всемирных фестивалей фольклорных коллективов, единственный в своем роде на Украине вокально-танцевальный ансамбль «Галичина», которым бессменно руководят Ярослав Мартьянович Чуперчук и Василина Марьяновна Деркало. На концерты этого прославленного ансамбля не так-то просто достать билеты... Его искрометные пляски, его народные песни никого не оставляют равнодушным. Ансамбль побывал в Прибалтике, на Дальнем Востоке, на Кавказе, в Средней Азии, шумный успех сопутствовал «галичинцам» в Венгрии, Чехословакии, Польше, в Скандинавских странах.

Если уж зашла речь о делах внезаводских (хотя все это связано с трудом, делает его более светлым и радостным), стоит упомянуть о штабах выходного дня, созданных в каждом цехе. Штаб детально, до мелочей, разрабатывает программу двухдневного отдыха. Все при этом подчинено одной цели: интересно провести досуг. Устраиваются шахматные турниры, спортивные соревнования, проводится сдача норм ГТО. А вечерами можно посидеть за чашкой кофе у телевизора (естественно, марки «Электрон»), потанцевать, устроить своеобразный КВН. Потому-то на базу, расположенную в одном из живописнейших мест под Львовом, всегда охотно приезжают отдыхать и стар, и млад, и целыми семьями.

«ЭЛЕКТРОН» — это огромный, слаженный коллектив, способный решать самые сложные задачи. Он молод, этот коллектив, а потому в творческий поиск, в ежедневную, ежечасную борьбу за план, за качество, за честь заводской марки и в конечном счете —

Игорь Балан исполняет вихревой украинский танец.

Солистка ансамбля «Галичина» Галина Дыгалова (снимок слева).

Члены оперативного отряда Игорь Кобель, Александр Коверко, Иван Чорный, Владимир Леонов.

за успехи в третьем, решающем году пятилетки постоянно вступает молодежь завода, в том числе четыре тысячи комсомольцев, ее авангард.

О. ЕГОРОВА

В ПАМЯТИ НАРОДНОЙ...

ПРОШЛО ТРИДЦАТЬ ЛЕТ с того дня, когда на полях под Курском разыгралось одно из решающих сражений Великой Отечественной войны — Курская битва. В ней от начала и до завершения тяжелых кровопролитных боев действовала и наша Первая танковая армия, в которой мне довелось служить начальником разведки.

Гитлеровцы делали исключительно большую ставку на применение в битве под Курском своих новых танков «тигр», «пантера» и самоходной установки «фердинанд». Но появление на фронте этих новых машин уже не было для нас неожиданностью. От пленных и перебежчиков мы своевременно получили их боевые характеристики. И еще в мае наша армейская газета дала схему «тигра» с указанием сильных и слабых сторон этой 56-тонной машины. Весь личный состав танковой армии прошел «обкатку», имитировавшую атаку «тигров». Так что, по существу, мы были достаточно подготовлены к надвигавшимся боям и теперь только ждали начала событий.

Фашисты рассчитывали массовым применением новых танков и самоходок, а также нового боевого порядка, названного ими «танковым колоколом», «поразить воображение русских» — так говорилось в приказе Гитлера по операции «Цитадель».

«Колокол» создавался силами танковой дивизии и включал в себя до 200 боевых машин. Впереди шли «тигры», за ними легкие танки, следом — широкой дугой — средние танки и пехота. Район, в котором намечалось наступление «колокола», подвергался предварительно массированному авиационному удару. По замыслу фашистов, тут ничто не могло устоять.

Однако этого не произошло. «Отхода русских не вижу», «Русские не отходят» — так доносили воздушные корректировщики противника, специально выделенные для наблюдения за поведением наших войск.

...К полосе обороны нашей армии противник вышел 6 июля. «Танковый колокол» 3-й танковой дивизии своим острием при-

шелся на правый фланг нашего 6-го танкового корпуса, а «колокол» дивизии СС «Великая Германия» — на левый. Все еще верные тактике «молниеносных ударов», гитлеровцы ударили напрямую. Танковый вал поддерживала авиация. Но мы заблаговременно «зарылись в землю» и били по наступающим практически из засад. Попытка смять наши боевые порядки сорвалась. Более того, в этот первый же день истребители танков 6-й мотострелковой бригады уничтожили пять «тигров», которыми гитлеровцы так нас пугали. Отличились в тот день сержанты-наводчики коммунисты Афанасий Дятлов, Василий Рядно, комсомолец Анатолий Иванов, беспартийные Иван Воронин и заряжающий Иван Казаков.

На 22-ю танковую бригаду, оборонявшую Раково, двинулось в атаку около 70 вражеских машин. Бригада переполовинила атакующие колонны, уничтожив при этом 31 «тигр» и «фердинанд».

8 и 9 июля 112-я танковая бригада отражала атаки западнее деревни Сырцево. На роту лейтенанта Калиниченко гитлеровцы бросили 17 танков и до батальона пехоты. Воины пропустили танки, а пехоту отсекли огнем стрелкового оружия. Пытаясь сломить сопротивление, танки противника начали «утюжить» наши окопы, но рота была к этому готова и не дрогнула. Теряя технику и людей, гитлеровцы вынуждены были откатиться.

Отличились в те же самые дни танкисты старшего лейтенанта И. Рыбалко: старший лейтенант П. Масов уничтожил три «тигра», лейтенант Воеводин — два, лейтенант Шулежко — три, лейтенант Долгополов — один тяжелый и четыре средних танка.

В те дни, похоже, гитлеровцы поверили в существование ада. Танки шли по горящей земле, сшибались грудью в смертельном ударе. Плавилась сталь.

Люди держались.

Плотность артиллерийского огня в этой беспримерной за всю историю войны танковой дуэли была такова, что, например, на броне одной только командирской машины взводного, лейтенанта Михаила Замуло, мы насчитали пятнадцать вмятин от вражеских снарядов.

Как известно, после боев на Курской дуге гитлеровцы оправиться уже не смогли...

...Тридцать лет прошло с той поры. Заросли травой окопы. Давно пошли в переплавку разбитые «тигры», с помощью которых гитлеровцы предприняли в июле 1943 года одну из последних отчаянных попыток переломить ход войны. Но до сих пор дети находят в цветущих летних лугах осколки снарядов. И до сих пор живут в памяти участников битвы на Курской дуге отзвуки давних боев. Мы считаем своим долгом рассказывать о них молодежи. Ей передаем мы эстафету великого народного подвига, его немеркнущей славы, ей вручаем историю. Историю, в которую наряду с другими и битва на Курской дуге вписана золотыми буквами вечной памяти павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины.

А. СОБОЛЕВ,
полковник в отставке,
бывший начальник разведки
1-й танковой армии

УНИВЕРСИАДА-73

15 августа в столице нашей Родины Москве стартует Универсиада-73.

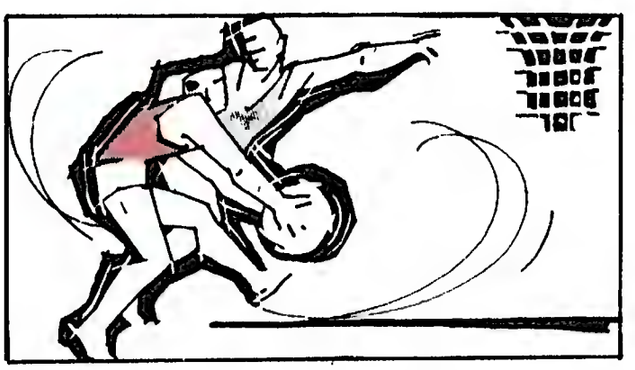
Наш корреспондент попросил специалистов по различным видам спорта, входящим в программу Универсиады, ответить на три вопроса:

1. Как выступали советские спортсмены на предыдущих Универсиадах?

2. Представьте нашу команду — участницу нынешней Универсиады.

3. Назовите ее основных соперников.

Когда состоялись эти беседы, на календаре, вывешенном в холле штаба Универсиады — ее организационного комитета, — значилось: «До Универсиады осталось 135 дней». Вполне понятно, что ответы на второй и третий вопросы нашей анкеты носили в известной мере предположительный, осторожный, что ли, характер.



БАСКЕТБОЛ

Главный арбитр турнира, судья международной категории Олег КАМЫШЕВ:

1. Трижды — в 1959, 1961 и 1970 годах наша мужская команда выигрывала золотые медали, в 1965 году — серебряные. Женщины получили «серебро» в 1961-м и «золото» в 1965 и 1970 годах (в 1959 и 1963 годах женские турниры не проводились, в токийской Универсиаде наши команды участия не принимали).

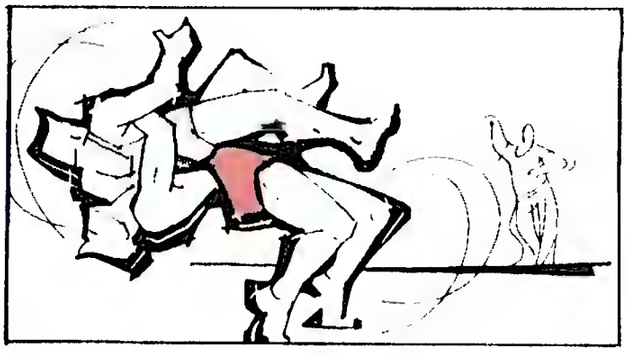
Финальный матч СССР — США явился подлинным украшением последней Универсиады. Хотя победа советской команды в цифровом отношении выглядит убедительной — 78 : 71, однако очевидцы в один голос заявляют, что тот туринский матч и знаменитый мюнхенский, принесший нашему баскетболу первые за всю историю Олимпиад золотые награды, были похожи как две капли воды и по составу участников, и по характеру борьбы на площадке.

2. Учитывая, что американцы полны решимости взять реванш за эти два поражения, тренеры нашей сборной Владимир Кондрашин и Сергей Башкин, в свою очередь, постараются бросить в бой все лучшее, чем располагают. Во всяком случае, в заявочном списке значатся имена олимпийских чемпионов Александра Белова, Ивана Едешко, Михаила Коркия, Зураба Саканделидзе, Модестаса Паулаускаса. Лишь лучший наш снайпер Сергей Белов да Алжан Жармухамедов превысили «возрастной ценз» Универсиады. Но в нынешнем сезоне ярко раскрылось дарование таких баскетболистов-студентов, как Анатолий Блик, Александр Сидякин, Евгений Коваленко, — они готовы заменить ветеранов.

Большинство игроков женской сборной, в прошлом году в одиннадцатый раз завоевавшей звание чемпиона Европы (Надежда Захарова, Нелли Ферябникова, Ульяна Семенова, Ангеле Янкунайте, Лидия Гусева, Татьяна Овечкина), также студентки. И это хорошо, ибо в связи с включением женского баскетбола в олимпийскую программу им в Москве предстоят испытания потяжелее, чем в Варне на последнем чемпионате Европы.

3. Конечно же, соперником № 1 будут для нас баскетболисты США. Правда, никоим образом нельзя сбрасывать со счетов команды Кубы, Италии, Югославии, которые и в Турине и в Мюнхене буквально наступали на пятки фаворитам.

Судья международной категории, заслуженный тренер РСФСР, старший тренер ЦС «Буревестника» Александр РУНОВ:



БОРЬБА

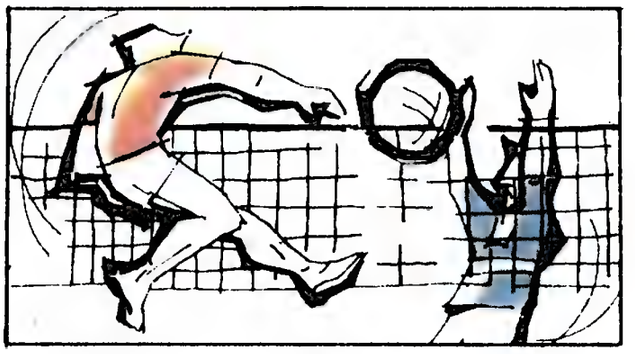
1. Борьба только-только начинает завоевывать себе место в ряду «универсиадных» видов спорта. Во всяком случае, наши борцы, за которыми давно закрепилась слава сильнейших на земном шаре, впервые выйдут на ковры всемирных студенческих игр.

2. Кто персонально? У «классиков» это студент Минского института физкультуры чемпион мира Владимир Зубков, его земляки — неоднократный призер чемпионатов страны Эдуард Файнштейн и Владимир Либерман, студент МОПИ Анатолий Капкаев.

В списках «вольников» — серебряный призер Мюнхенской олимпиады Арсен Алахвердиев из Махачкалинского университета, его земляк чемпион страны Насрула Насруллаев, студент ГПИ Роман Марсегишвили, чемпион СССР сухумец Владимир Маршаня.

3. Борьба особенно быстро прогрессирует в странах социализма. Болгар, например, можно считать такими же фаворитами, как и хозяев Универсиады. Именно между этими двумя командами до сих пор и шел спор на мировых помостах. «Классики» Болгарии обошли наших на чемпионате мира 1971 года, однако в Мюнхене на Олимпиаде мы взяли реванш.

Своеобразное отношение к турнирам у борцов США. К мировому чемпионату, например, они могут готовиться, как говорят, спустя рукава, зато на Олимпиадах «сражаются» не на жизнь, а на смерть. Универсиадный же турнир как раз входит в олимпийский цикл их подготовки...



ВОЛЕЙБОЛ

Старший тренер студенческой сборной СССР, заслуженный тренер РСФСР Юрий ФУРАЕВ:

1. Мужская команда СССР побеждала на Универсиадах дважды: в 1963 и 1965 годах, женская — в 1961, 1965 и 1970 годах. Успех женской сборной в Турине особенно примечателен, ибо он достигнут был в самый разгар борьбы за гегемонию на международной арене с японками.

2. Очевидно, самой большой неожиданностью для любителей волейбола окажется известие о том, что в нашей команде не будет ни одного игрока из команды — чемпиона страны ЦСКА (а большинство их входит и в национальную сборную). Все объясняется обыкновенной «накладкой»: в те же сроки, что и Универсиада, проводится чемпионат дружественных армий, на который и повезет свою команду Юрий Чесноков.

Однако меня и моего коллегу, заслуженного мастера спорта Нила Фасахова, это не смущает. В нашем распоряжении достаточный выбор волейболистов-студентов из других клубов — таких, как ленинградец Александр Сапрыкин, рижанин Олег Антропов, киевлянин Борис Терещук.

«Триумвират», который возглавляет женскую команду, — Гиви Ахвледиани, Владимир Зедгинидзе, Юрий Курильский — разумеется, остановит свой выбор прежде всего на олимпийских чемпионках. От добра добра не ищут, благо Нина Смолеева, Татьяна Третьякова, Вера Дуюнова, Татьяна Гонобоблева, Татьяна Сарычева — студентки, и возраст у них вполне «универсиадный».

3. Им, конечно, снова придется скрестить оружие с извечными соперниками — японками. Хотя в спор фавориток могут вмешаться и кореянки, но едва ли соотношение сил могло значительно измениться за время, прошедшее после XX Олимпиады. У мужской же команды что ни соперник, то главный.

ГИМНАСТИКА

Заслуженный тренер РСФСР, старший тренер ЦС «Буревестника» Владимир ЛУКЬЯНОВ:

1. Помосты Универсиад до сих пор особенно благоволили к нашим девушкам, которые неизменно побеждали и в личном первенстве по многоборью, и в командном. Помнится, лишь однажды, в Будапеште, они уступили личное первенство.

Среди чемпионок Универсиад такие прославленные гимнастки, как Тамара Манина, Лариса Латынина, Лариса Петрик.

Мужчин же наших неизменно опережали японцы.

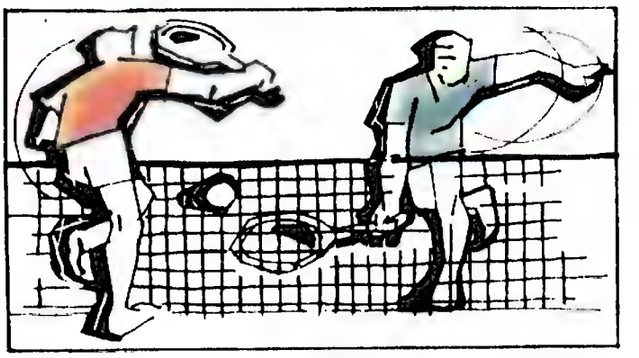
2. В лужниковском Дворце спорта готовятся выступить буду-

щие педагоги: Ольга Корбут из Гродно, Любовь Бурда из Воронежа, студентка Ташкентского университета Эльвира Саади. Мужскую команду возглавит Николай Андрианов. Кстати сказать, трамплином для олимпийского чемпиона послужил именно универсиадный помост: в Турине 18-летний гимнаст сумел пробиться в шестерку лучших. Вместе с ним выступят Владимир Марченко из Грозного и Эдуард Микаелян из Еревана.

Кто еще? Ответ на этот вопрос даст чемпионат Европы.

3. Думается, что девушки наши, даже если из ГДР приедет и такая опасная соперница, как Карин Янц, и на этот раз будут вне конкуренции. Зато японские гимнасты едва ли захотят уступить свои позиции. Правда, выступавший недавно в Японии Андрианов сумел опередить непобедимых доселе хозяев. Так что...

Заслуженный тренер СССР, старший тренер сборной СССР Семен БЕЛИЦ-ГЕЙМАН:



ТЕННИС

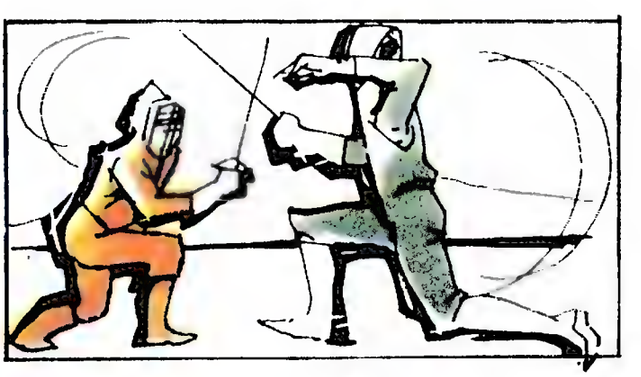
1. Список побед наших теннисистов открыла еще Ирина Рязанова на самой первой Универсиаде в 1959 году. Прошло одиннадцать лет, и в том же Турине ее успех повторила Тиву Пармас. А в паре с Томасом Лейусом она выиграла и вторую золотую медаль. Всего же в тот раз наша команда завоевала пять медалей: 2 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую, победив в неофициальном командном зачете.

2. В предварительный заявочный список внесены фамилии тбилисца Теймураза Какулия, москвичей Владимира Кротова, Анатолия Волкова, Шамиля Тарпищева. Как видите, нет ни Александра Метревели, ни Томаса Лейуса — возраст, возраст!

Кандидатки в женскую сборную команду — москвички Ольга Морозова и Мария Чувырина, бакинка Евгения Бирюкова, киевлянка Марина Крошина и неизменная партнерша Морозовой рижанка Зайга Янзоне.

3. Из зарубежной прессы знаю, что американцы и французы привезут в Москву команды, составленные из игроков первых национальных десяток. Едва ли поступят иначе и другие «теннисные» страны, такие, например, как Австралия. Пропустить такой турнир, знаете ли...

Мастер спорта, заместитель председателя Федерации фехтования СССР Валериан БАЗАРЕВИЧ:



ФЕХТОВАНИЕ

1. Турнир мастеров клинка в Турине закончился нашей блестящей победой: 6 золотых медалей из 8 разыгранных!

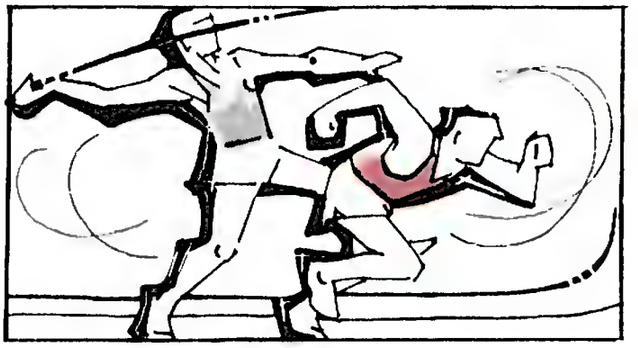
2. Один из главных героев Турина, ставший затем и олимпийским чемпионом в Мюнхене, саблист Виктор Сидяк в Москве вы-

ступить уже не сможет, на смену ему придут молодые братья Петр и Мартин Ренские и бывший чемпион мира среди юношей студент МИИТа Виктор Кровопусков. Рапирист Леонид Романов выйдет на московскую дорожку вместе с аспирантом Львовского института физкультуры Василием Станковичем.

На шпагах будет фехтовать Борис Лукомский.

У женщин на дорожку выйдут олимпийская чемпионка Елена Белова и чемпионка мира среди девушек Валентина Никонова.

3. Соперники! Это прежде всего традиционно сильная команда Венгрии, добившаяся на Универсиаде 1965 года такого результата, как мы в 1970-м, поляки — чемпионы Мюнхенской олимпиады в командном фехтовании на рапирах, французы, румыны, итальянцы.



ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Заслуженный тренер СССР, старший тренер ЦС «Буревестника» Евгении КУЗНЕЦОВ:

1. В легкой атлетике трудно одной какой-либо команде завоевать «все золото мира». Но в Турине, например, в 1970 году в неофициальном командном зачете советские легкоатлеты сумели опередить всех своих соперников, добыв 8 золотых медалей.

Как всегда, с блеском выступил в тройном прыжке олимпийский (теперь уже дважды) чемпион Виктор Санеев. Там же, в Турине, взошла звезда одесского студента, будущего олимпийского чемпиона в десятиборье Николая Авилова. На высоте оказались и наши девушки: Надежда Чижова победила в толкании ядра, Татьяна Кондрашева — в пятиборье и вместе со своими товарищами — в эстафете 4×100.

2. Большинство триумфаторов Турина готовятся повторить свой успех и в Москве. К ним, конечно же, следует добавить олимпийских чемпионов: в спринте Валерия Борзова, в прыжках в высоту Юрия Тармака, в метании диска Фаину Мельник. Включены в команду и победительница Кубка СССР и автор мирового рекорда в спринте для закрытых помещений московская студентка Надежда Бесфамильная, и ее землячка Людмила Жаркова. Список спортсменов велик — мы намерены выставить полную команду по всем 38 видам легкоатлетической программы Универсиады.

3. Трудно назвать всех соперников. Весьма и весьма внушительные заявки прислали команды США, ГДР, ФРГ, Кубы. По сообщениям зарубежной прессы, американские тренеры заявили, что никогда еще не посылали на Универсиады столь сильную команду, как собираются сделать на этот раз.

Заслуженный мастер спорта, первый советский рекордсмен мира по плаванию Семен БОЙЧЕНКО:

1. Результаты наших прыгунов в воду на крупных международных соревнованиях, в том числе и на последней Универсиаде и Олим-

пиаде, не соответствуют объективному соотношению сил. Попросту говоря, они выступали ниже своих возможностей. Однако золотая медаль Владимира Васина на трамплине в Мюнхене должна настраивать наших прыгунов на оптимистический лад.

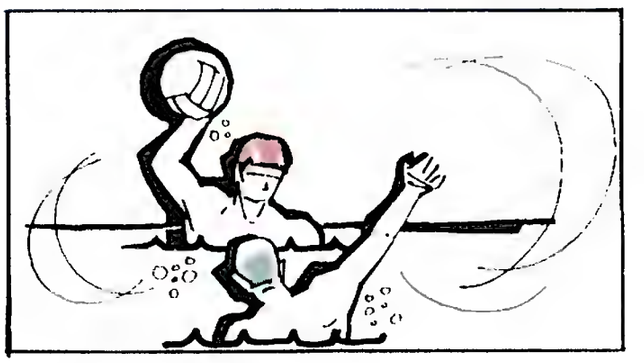
2. Владимир Васин, опытный Вячеслав Страхов, Владимир Капирулин, Александр Волынкин, Тамара Сафонова, Наталья Дмитриева, Наталья Кузнецова — вот основа наших мужской и женской команд.

3. Гегемонии американских прыгунов пришел конец, борьба будет равной во всех видах программы.

ПРЫЖКИ В ВОДУ

Заслуженный тренер СССР, старший тренер студенческой сборной страны Михаил РЫЖАК:

1. Нам придется считаться с необходимостью вести борьбу на два фронта. Дело в том, что в нынешнем сезоне для представителей водных видов спорта есть одна особенность: 1 сентября в Югославии открывается первый чемпионат мира. Как видите, «окошко» остается слишком маленьким. Правда, у нас есть в этом некоторый опыт. В 1970 году создалось аналогичное положение: с разницей в неделю в Барселоне проводилось первенство Европы, а в Турине — Универсиада. Пришлось уступить «старшим» и отдать в национальную сборную наших лидеров Александра Древаля и Леонида Осипова. Но это не помешало нам завоевать в Турине золотые медали.



ВОДНОЕ ПОЛО

2. Как известно, в прошедшем сезоне ватерполисты МГУ сделали золотой дубль, выиграв и чемпионат, и Кубок страны. Естественно, они и составят костяк команды, которая будет выступать на Универсиаде в Москве.

3. Соперник номер один — как всегда, венгры. Ведь в Турине мы добились успеха впервые. До этого на Универсиадах неизменно побеждали венгерские ватерполисты. Наши товарищи по сборной после возвращения из американского турне рассказывали, что американцы — призеры Мюнхенской олимпиады — намереваются и в Москву привезти сильную команду. Тщательно готовятся итальянцы и болгары.

Интервью взял В. ПУГАЧЕВ

В ЗАЩИТЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ОТЕЧЕСТВА ВЕЛИЧАЙШИЕ ОБРАЗЦЫ МУЖЕСТВА И ГЕРОИЗМА ПОКАЗАЛИ НАШИ ЮНОШИ И ДЕВУШКИ, КОМСОМОЛЬЦЫ И КОМСОМОЛКИ. ЛЕНИНСКИЙ КОМСОМОЛ В ТЕ ДНИ ДАЛ РОДИНЕ МИЛЛИОНЫ И МИЛЛИОНЫ БЕЗЗАВЕТНЫХ БОЙЦОВ. ОНИ СМЕЛО ШЛИ НА СМЕРТЬ РАДИ ЗАЩИТЫ ОТЧИЗНЫ. СВЕТЛЫЕ, ГЕРОИЧЕСКИЕ ИМЕНА, ТАКИЕ, КАК ЗОЯ КОСМОДЕМЬЯНСКАЯ, ЛИЗА ЧАЙКИНА, МОЛОДОГВАРДЕЙЦЫ КРАСНОДОНА, САША ЧЕКАЛИН, МАНШУК МАМЕТОВА, МАРИЯ МЕЛЬНИКАЙТЕ И МНОГИЕ ДРУГИЕ, БУДУТ ВЕЧНО СЛУЖИТЬ ПРИМЕРОМ БЕЗЗАВЕТНОЙ ПРЕДАННОСТИ СОВЕТСКОЙ РОДИНЕ.

Л. И. БРЕЖНЕВ

в краю

...ВСЕ БЫЛО привычным. Отправляясь на очередное задание, Куосайте выполняла свой долг — долг партизана. И инчто, пожалуй, не тревожило ни ее, ни товарищей, с кем шагнула она в ночь и шла по еле заметиым тропинкам Гражутского бора: каждый давно привык к тревогам и опасностям. Путь предстоял дальний: пятерым надо было добраться до Казянского леса и там, в Белоруссии, на главной партизанской базе, получить оружие и взрывчатку.

Этот путь оборвался на рассвете.

Близ местечка Римше, у озера Апвардай, вокруг горстки партизан сомкнулось кольцо карателей. Завязался неравный бой. Врагов было намного больше, в помощь к полицаям подоспели еще головорезы из зондеркоманды... Партизаны держались весь день. Пустели автоматные диски. Не осталось ни одной гранаты. Потом была выпущена последняя пуля.

Куосайте допрашивали ночь, и день, и снова ночь, ее били, пытали, швыряя вопрос за вопросом: как звать? где отряд? куда шла? имя командира? Она молчала. Она не выдала своих друзей, не назвала своего настоящего нмени.

Ее расстреляли утром 13 июля 1943 года. Страна узнала ее имя в марте сорок четвертого, когда газеты опубликовали Указ о присвоенни литовской партизанке звания Героя Советского Союза.

Настоящее имя этой бесстрашной двадцатилетней комсомолки было Марите Мельникайте.

...В Зарасае, родном городе Марите Мельникайте, где она жила, училась, вступила в комсомол, откуда в сорок первом уходила с товарищами на восток, чтобы, овладев там знаниями и умением, мстителем вернуться на свою родную землю, поруганную оккупантами, — в городе Зарасае на берегу озера стоит величественный монумент — творение скульптора Ю. Микенаса. Марите вскинула руку и, кажется, застыла на одно лишь мгновение, перед тем как сойти с пьедестала и занять место среди своих сверстников: ей и сегодня по-прежнему двадцать...

НЕПОДАЛЕКУ ОТ ЗАРАСАЯ, почти смыкаясь с его пригородами, раскинулись поля колхоза имени Марите Мельникайте.

Колхоз по здешним местам середняк, но середняк крепкий, уверенный в своих силах, год от года богатеющнй.

— К концу пятилетки будем миллионерами, — сказал мне Генрнк Ардишаускас, заместитель председателя колхоза и секретарь партийной организации. Сказал с улыбкой, вроде бы шутливо, но тут же добавил, чтобы и в самом деле не приняли его слов за шутку или пустое хвастовство: — Обязательно будем. Сейчас годовой доход составляет семьсот тысяч рублей.

Что ж, быть еще одиому миллионеру на литовской земле...

На видавшем виды «Москвиче» («Ждем машины, почти все кол-

Ниеле Раубишкене, секретарь комитета комсомола фабрики имени М. Мельникайте.

Алдона Рукштело — хозяйка двадцати пяти станков (снимок справа вверху).

Тася Чибленя со своей ученицей Ириной Шапкиной.

Комсорг смены Степанида Гаршанова.

Здислава Врублевич (снимок внизу).

Урок химии в 9-м классе. У доски — Яне Менкявичуте.

Юные десантники — бойцы «Зарницы».

Генрик Ардишаускас, секретарь партийной организации колхоза имени М. Мельникайте.

хозники записались на «Жигули»...» — с той же улыбкой и тоже вроде бы шутливо доложил Генрик) мы объехали владения колхоза.

Скотные дворы, фермы, мастерские, Дом культуры, в котором не хуже городского кинозал с широким экраном, новые дома колхозников... Новых домов много — крестьяне оставляют хутора: колхоз помогает возводить жилища, добротные и удобные, берет на себя основные расходы.

Цифры — сухая штука, но куда от них денешься, если надо дать точный отчет... В хозяйстве пятнадцать тракторов, восемь автомашин («вообще-то маловато, еще бы парочку...»), уйма другой полезной и нужной техники. Основное богатство колхоза — крупный рогатый скот, почти восемьсот голов. В минувшем году с каждых ста гектаров сельскохозяйственных угодий колхозники получили по 514 центнеров молока и 112 центнеров мяса, заняв первое место в районе, сполна рассчитались с государством по зерну, хоть и стоило это немалых трудов: лето, как известно, было жестоким...

В полную силу трудились колхозники-комсомольцы — молодые доярки, полеводы, механизаторы. И в нынешнем году все они работают с хорошей отдачей, по-ударному, потому что в семьдесят третьем сделать надо больше, чем в семьдесят втором: год особый, решающий...

В САМОМ ЦЕНТРЕ Зарасая — средняя школа имени Марите Мельникайте. Великолепное здание: просторный, я бы даже сказал — роскошный, вестибюль, широкие светлые коридоры, прекрасно оборудованные лаборатории физики, математики, химии, биологии, спортивный зал, пионерские комнаты... Школа с честью носит имя героини литовского народа: в канун 50-летия образования СССР она — единственная в республике — награждена Юбилейным почетным знаком.

Пионерская дружина школы — это четырнадцать отрядов, четыреста красных галстуков — силища! Но сила дружины, которая тоже, кстати сказать, носит имя Мельникайте, не в численности. Сила — в спайке, дружбе, верности ленинским заветам.

Алдона Преткелене, старшая пионервожатая, рассказывала мне не без гордости за своих ребят, как провели они «неделю пионерской дружбы» накануне юбилея образования Союза ССР. На семь дней школа превратилась в своеобразную арену увлекательных, интересных по форме, по выдумке действий, встреч, состязаний, представлений.

Целый год пионеры вели переписку со своими сверстниками во всех республиках, получили от них множество сувениров, и вот в пионерской комнате торжественно открылся «уголок республик»: десятки экспонатов рассказали о жизни, труде, культуре, искусстве братских народов... Открытие «уголка республик» было началом праздника; потом состоялся «день встреч» — пионеры провели своеобразный концерт, на котором блеснули своим мастерством юные исполнители песен и танцев народов СССР. Затем наступил «день знаний и талантов», пришел «день физкультурника», за ним «день коллекционера»... Каждый класс, а значит — каждый пионерский отряд сделал карту страны, на которую были нанесены «новые точки» — появившиеся за 50 лет новые города, моря и каналы, крупные электростанции и рудники...

А пионерские будни — это, кроме учебы, конечно, — забота об участниках Отечественной войны, встречи с ветеранами партии, героями труда, разнообразные «тимуровские» заботы и, безусловно, всеобщее участие в увлекательной «Зарнице»...

Пионеры свято чтут память своей прославленной землячки. В школьном музее хранятся сотни писем, полученных со всех уголков страны, из-за рубежа, фотографии, копии комсомольского билета и личного дела Марите, воспоминания ее школьных товарищей и боевых друзей — соратников по партизанской борьбе.

Сюда постоянно приходят мальчишки и девчонки, подолгу стоят у стеллажей, молчаливо всматриваясь в давно уже знакомые им реликвии, перечитывая строчки газетных репортажей о подвиге партизанки или слова Указа о присвоении ей звания Героя Советского Союза.

О чем они думают? О славе? Едва ли... О подвигах, к которым надо себя готовить? Может быть... О высоком долге гражданина великой Отчизны? Да, конечно.

ОДНА ИЗ ЗАРАСАЙСКИХ фабрик названа именем Марите Мельникайте.

Сто комсомольцев фабрики — большая сила в коллективе, крепкий отряд, уже не раз доказывавший свою боеспособность. У фабрики тесная связь с семью родственными предприятиями — в Каунасе, Кишиневе, Таллине, Тарту, Тбилиси, Риге, Могилеве. Это одновременно и дружба, и борьба — борьба за право называться лучшим, передовым коллективом, борьба за победу в социалистическом соревновании. На последней, могилевской, встрече друзей переходящее Красное знамя получили зарасайцы. В этой борьбе за трудовое первенство отличились и комсомольцы фабрики.

Ниеле Раубишкене, секретарь комитета комсомола, провела меня по цехам, познакомила с работницами. О каждой из них можно рассказать много хорошего — славные девчата, отличные комсомолки, не только мастера своего дела, специалисты высокого класса, но и

ОСНОВНОЙ ЗАКОН СТРАНЫ

ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ назад, 6 июля 1923 года, Центральный Исполнительный Комитет принял Конституцию СССР.

Первой Советской Конституцией была единогласно утвержденная в июле 1918 года V Всероссийским съездом Советов Конституция РСФСР. Ей предшествовали декреты первых месяцев Советской власти — декреты II Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов, «Декларация прав народов России», «Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа», декреты о национализации и ряд других постановлений предконституционного периода, имевших силу закона.

Конституция РСФСР была первой в истории конституцией социалистического государства. Подчеркивая ее особый характер, своеобразие и принципиальную новизну, Ленин говорил: «Все существовавшие до сих пор конституции стояли на страже интересов господствующих классов. И только одна Советская Конституция служит и будет постоянно служить трудящимся и является могучим орудием в борьбе за осуществление социализма».

В основе Конституции лежали не отвлеченные декларации, а одержанная народом победа. «В мире не бывало таких конституций, как наша, — подчеркивал Владимир Ильич. — В ней записан опыт борьбы и организации пролетарских масс против эксплуататоров и внутри страны, и во всем мире».

Эта была самая демократичная из всех существовавших до нее конституций. Наличие в

общественники, «прожектористы», агитаторы, спортсмены, самодеятельные артисты... Здислава Врублевич работает точно, расчетливо, ее ежедневная «отдача» — не менее полутора норм. Тася Чибленя выполнила два годовых плана за шестнадцать месяцев, работает на двух машинах и на общественных началах учит мастерству Ирину Шапкину... Рита Гасюлите прекрасный работник и, как уверяет комсомольский секретарь, незаменимый пока что руководитель «Комсомольского прожектора». От внимания ее семи «прожектористов» — «великолепной семерки» — не ускользают никакие неполадки, и боевых листков «КП» боятся как огня... Комсорг смены Степанида Гаршанова — хорошая работница и хороший спортсмен, организатор туристских походов... Алдона Рукштело — хозяйка двадцати пяти станков и управляется с ними вполне успешно, превышая дневные задания.

Продукцию фабрики знают во всех республиках. Это одно говорит о многом: значит, хорошим качеством отличаются изделия зарасайцев, если не падает на них спрос в далеких городах и селах страны.

Каждый год в майские дни, накануне праздника Победы, молодежь фабрики уходит в поход по местам боевых подвигов Марите. Путь

руках рабочего класса политической власти и основных средств производства впервые в истории создало возможность реального народовластия, фактической, а не формальной демократии. Она имела открыто классовый характер. «Мы не обещаем, что Конституция обеспечивает свободу и равенство вообще. Свобода, — но для какого класса и для какого употребления? Равенство, — но кого с кем? Тех, кто трудится, кого эксплуатировала десятки и сотни лет буржуазия и кто сейчас борется против буржуазии? Это и сказано в Конституции: диктатура рабочих и беднейшего крестьянства для подавления буржуазии».

30 декабря 1922 года съезд Советов СССР оформил добровольное объединение суверенных советских республик — БССР, ЗСФСР, РСФСР и УССР — в одно многонациональное социалистическое государство. Съезд принял Декларацию об образовании СССР и Союзный договор, выбрал верховный законодательный орган — ЦИК СССР.

Вскоре Президиум ЦИК образовал шесть комиссий для разработки основных конституционных вопросов. Составленный в феврале 1923 года проект Конституции СССР был положен в основу деятельности созданной в апреле расширенной конституционной комиссии, состоявшей из 25 человек, в которую входили представители от всех национальных республик.

В своей работе комиссия руководствовалась программным письмом В. И. Ленина «К вопросу о национальностях или об «автономизации», решениями февральского (1923) Пленума ЦК партии, XII съезда ВКП(б), совещания ЦК с ответственными работниками национальных республик и областей, состоявшегося в июне.

Выработанный комиссией и одобренный июньским Пленумом ЦК партии, а также сессиями ЦИК союзных республик проект Конституции был официально принят и введен в

начинается в Гражутском бору, где еще и сегодня можно отыскать в зарослях папоротников да в высоких травах землянки партизанского отряда имени Кестутиса, боевой семьи Мельникайте, и уводит мимо голубых озер на юг и юго-восток, к Дукштасу, к месту последнего боя Марите — озеру Апвардай.

Остаются цветы у обелисков и памятных камней, у величественного монумента — памятника героине.

И словно бы частицу силы своей, и воли, и духа своего отдает живая Марите живым подругам и товарищам.

МАРИТЕ МЕЛЬНИКАЙТЕ живет — в строчках стихов и поэм, в народных песнях, в шуме высоких сосен и плеске озерной волны, в рокоте машин на полях, в звонких перекличках пионерских отрядов, в славных делах рабочих парней и девчат.

Память народная бережно хранит имена героев. Никто не забыт. Павшие продолжают жить.

А. МУСАТОВ

действие 6 июля 1923 года сессией ЦИК СССР, а в окончательной редакции утвержден Вторым Всесоюзным съездом Советов 31 января 1924 года.

Образование СССР и принятие его первой Конституции — Основного закона Союза ССР — явились триумфом ленинских идей пролетарского интернационализма, братства и дружбы советских народов, ставших на путь строительства социализма.

В результате победы социализма в СССР в жизни советского общества произошли глубокие изменения. Эти изменения были законодательно закреплены в новой Советской Конституции, принятой Чрезвычайным VIII Всесоюзным съездом Советов в ноябре 1936 года.

За годы строительства социализма и коммунизма в нашей стране возникла новая историческая общность людей — советский народ. «...Родилось и окрепло великое братство людей труда, объединенных, независимо от национальной принадлежности, общностью классовых интересов и целей, сложились небывалые в истории отношения, которые мы по праву называем ленинской дружбой народов», — говорил Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев в докладе «О пятидесятилетии Союза Советских Социалистических Республик». Сложились замечательные черты советского человека — преданность коммунистическим идеалам, социалистический патриотизм и интернационализм, высокая трудовая и общественно-политическая активность.

В дружной семье братских народов советский человек с гордостью называет себя ГРАЖДАНИНОМ СОВЕТСКОГО СОЮЗА.

МАСКИ АФРИКИ

ДЛЯ ЕВРОПЕЙЦА африканская маска всегда представлялась загадкой и, как все загадочное, волновала воображение, тревожила любопытство, порождала желание сравнивать, сопоставлять, докопаться до истоков... При желании нетрудно отыскать общие черты в кошмарных порождениях фантазии испанца Гойи, в его гротесках и произведениях безвестных африканских мастеров, в масках болгарских кукеров и воинов племени Мали...

Этот легкий путь поверхностных сопоставлений нередко заводил в тупик исследователей. Итальянский ученый и писатель Франко Монти в блестящей книге «Африканские маски» в увлекательной, популярной форме и в то же время с серьезностью ученого, уважающего гипотезы, но предпочитающего факты, рассказал об искусстве масок, о месте творцов этих масок в африканском обществе и о самих масках, проследив историю их возникновения.

Маски возникли на заре человечества в самых различных районах планеты. Уже рисунки каменного века, эти древнейшие документы нашей истории, показывают нам охотников в ритуальных масках. Пещерный человек, по-видимому, широко прибегал к магическим ритуалам — танцам в масках, для того чтобы воздействовать на добрые и злые силы природы, повлиять на результат предстоящей охоты. Маска родилась как элемент магически-религиозного ритуала, вызванного к жизни потребностями повседневной жизни. С развитием цивилизации маски уходили из повседневной будничной жизни человечества в область искусства — театр масок и химеры собора Парижской богоматери, театр кукол, наконец, грим... Только в Африке, в наиболее отсталых районах, маска сохранилась еще в чи-

стом виде, но уже и там испытывает воздействие «цивилизации», утрачивая все больше значение обиходности и приобретая черты театрального реквизита. Так что в этом смысле можно смело говорить, что ученые буквально успели в последний момент застать и изучить африканскую маску в ее естественной жизни. Что касается выводов Ф. Монти, то многие из них, безусловно, интересны, хотя и не все можно принять безоговорочно.

Для африканских негров маска — одушевленный и действенный инструмент, находящий множество применений почти в любой области человеческой деятельности — от рождения до самой смерти. По самой своей природе маска стремится выразить то главное психологическое состояние, которое присуще группе людей. В искусстве маски наиболее полно, идеально выражены и вечные эмоции. Но коль скоро так, маска не отражает какую-то одну эмоцию в определенное время, это не портрет человека, который боится, или сражается, или умирает, — это Страх, Война, Смерть. Другими словами, частности, детали бытия, понятые человеком и преодоленные, отступают на второй план, на их место выходит обобщение, столь ценимое человеком любой эры, независимо от условий жизни.

С психологической точки зрения происхождение маски можно объяснить атавистическим стремлением человека уйти от самого себя для того, чтобы обогатиться опытом других существ, — стремлением, которое, конечно, не может осуществиться в реальности, физически. Более того, африканский негр надеется расширить свои возможности, отождествляя себя со всеобщими силами — божественными или демоническими. Но в то же время африканец — существо социальное, живущее всегда в обществе, точнее, в общине, состоящей из индивидуумов, с которыми он вступает в различные отношения. Часто это борьба за первенство, за положение и т. д. И тут маска становится средством произвести впечатление или даже внушить страх.

Маски наиболее распространены и достигли своего высшего художественного расцвета в тех районах, где наиболее активна творческая изобразительная культура. Точнее, маски рождаются в пространстве между Сенегалом и Анголой — на севере этот район ограничивает пустыня Сахара, на юге — пустыня Калахари, на востоке — Великие озера. В других местах, хотя их и населяют этнически родственные племена, искусство маски не поднялось и не получило столь высокого развития. Это можно объяснить, вероятно, и войнами, которые чаще проходили в Восточной Африке, влиянием ислама, наконец, тем, что в других районах распространено овцеводство, в котором опыт постепенно, видимо, вытесняет магию...

Но маски путешествуют по всей Африке, они имеют рыночную, а не только «магическую» стоимость. Творцы, художники, авторы масок часто занимают особое положение в общине, и не только потому, что их благосостояние выше, чем у среднего члена общины, но и в силу чисто этических и эстетических причин.

Искусство в Африке занимает в жизни общества огром-

Маска, вырезанная из дерева. Высота 25 см. Камерун. Музей человека, Париж.

Маска Нимба. Дерево и древесное волокно, высота 205 см. Гвинея. Музей человека, Париж.

Амулет-подвеска в форме маски. Золото, высота 6,4 см. Берег Слоновой Кости. Музей Ритберга, Цюрих.

Маска для танца. Резьба по дереву, высота 65 см. Камерун, район Баменде. Музей Ритберга, Цюрих.

ное место. Это не только средство украшения жизни, развлечения, отвлечения от ее трудностей. Это путь к познанию. От детского примитивизма масок Верхней Вольты до изысканной утонченности масок Бенины, от совершенной абстракции до реализма и даже натурализма масок Страха и Войны — таков диапазон древнего африканского искусства, которое с каждым годом все заметнее влияет на живопись и скульптуру во всем мире.

Ю. ЛИМАНОВ

Большим успехом на львовском заводе «Электрон» и далеко за пределами города пользуется вокально-танцевальный ансамбль «Галичина». На первой странице обложки «Товарища» — солистка ансамбля Э. Воронова (рассказ о молодежи «Электрона» читайте на стр. 166). Фото А. Егорова.

Ираида УЛЬЯНОВА

САМОБРАНКА

Заведу я тесто с ночки.
Встану рано-рано я.
Разверну за уголочки
Скатерть самобранную.

И покуда спят все в доме —
Сны на зорьке дороги, —
Зарумянены, притомлены
Поспевают пироги.

Заварю чаек покруче.
Чад на кухне просквожу.
Фартук скину. Сяду,
Рученьки
На скатерти сложу.

Буду пить и есть как равная.
Наши скажут: — Вот те раз!
Видно, вправду самобранная
Скатерочка у нас!..

Знать, по щучьему велению
Наполнилась она,
Коль с утра полна варением,
Печением она!..

Посмотрю на скатерть белую,
Усмешечку тая,
Будем знать, как это делают,
Скатерочка да я.

ПОДОРОЖНИК

«Скорая помощь» детства,
Добрый лекарь земли —
Безотказное средство,
Подорожник в пыли!..

Боль чужую облегчить —
Он лишь этого ждет
И беде человечьей
Сам навстречу идет.

* * *

В городском саду
играет духовой оркестр
Из песни

Мальчишки прилипли к ограде.
Разносятся вальсы окрест.
В саду на дощатой эстраде
Играет военный оркестр.

А небо военное хмуро,
И гром долетает глухой,
И катятся «волны Амура»
Над быстрой уральской рекой.

И ветер холодный и влажный.
И много незанятых мест.
Играются вальсы и марши
Для жен, матерей и невест.

Глядят затуманенным взглядом
На женщин, что слушают их,
И видят — и этих, что рядом,
И милых, далеких своих.

А дочери, жены, невесты
Глядят и глядят на бойцов
И видят под звуки оркестра
Мужей, женихов и отцов...

* * *

Учись простоте у осинки.
Учись у сосенки осанке.
Учись чистоте у росинки.
Мужеству — у россиянки.

Б. НАВРОЦКАЯ, Р. ДОНЬСКИЙ

Рис. Ю. КИСЕЛЕВА

Майор милиции Владислав Крупка подсказал нам сюжет книги, за что авторы приносят сердечную благодарность великолепному рассказчику и превосходному человеку.

Капитан Корта положил ключи от сейфа в карман. В соседней комнате поручик Габлер, правая рука Корты, все еще продолжал допрос. В приоткрытую дверь врывался взволнованный голос. Капитан машинально вслушивался. Стереотипный

* Книге присуждена первая премия Гражданской милиции Польской Народной Республики и издательства «Искры».

диалог следствия назойливо перебивал размышления Корты о том, что июнь в этом году выдался удивительно теплый, что давно уже не попадалось интересного дела. Острое недовольство постепенно овладевало капитаном. «Впрочем, всякое дело интересно, если распутаешь его достаточно быстро», — думалось ему.

Корта был следователем по призванию. Он с удовольствием занимался психологией и увлекался сложными загадками жизни.

«Да, стареем, стареем, — говорил он себе. — Такие времена настали... Теперь следствие — результат работы целого коллектива и научно разработанных методов... Прошли времена шерлокхолмсов».

Несмотря на такие рассуждения, Корта твердо придерживался мнения, что руководителю оперативной группы необходимы чутье и умение идти по следу, как хорошая гончая. «Нужно любить свою работу — без этого нечего рассчитывать на успех», — вот его девиз.

Нарушитель закона иной раз оказывается жертвой жизненных обстоятельств. Именно такого дела у капитана давненько не было. Профессиональные взломы, кражи, нападения с применением холодного оружия, убийство топором, пьяная поножовщина, простое хулиганство все еще встречались, а вот «его» преступника давно не попадалось.

Странно сплетаются судьбы преследуемых и преследователей. Корта знал, что своеобразная связь, возникающая из противоположности преступника и преследователя, неизбежна. Смертный приговор, если им оканчивалось дело, которое он вел, всегда стоил капитану нескольких очень тяжелых дней. Корта становился раздражительным, дома ходили вокруг него на цыпочках.

«Люди считают, что самая большая моральная ответственность в подобных делах падает на суд», — думал Корта.

Некоторое время он неподвижно стоял у окна и смотрел вниз, на маленький пустой дворик для прогулок заключенных, обнесенный по верху забора двойным рядом колючей проволоки.

Вынести приговор — большая ответственность. Мало кому приходит в голову, что судьи сталкиваются лишь с бесстрастными строчками протоколов, за которыми кроется подчас многомесячный контакт обвиняемого и следователя. Дни, ночи, вечера. Судья никогда не сидит столько времени с преступником лицом к лицу. Их разделяет барьер зала суда. Две-три очные ставки...

Корта давно уже не сталкивался с коварным, хитрым противником, который позволил бы ему применить все умение, мастерство, ум, проницательность, волю.

— ...Он оставил на прилавке записку, — говорила женщина в соседней комнате.

«Продавщица из ювелирного магазина», — отметил капитан.

Это дело завели всего несколько часов назад. Вооруженное нападение на ювелирный магазин. Ограбление совершено в одиночку. Днем. В 11.05.

ЧАСТЬ I Катарина

ГЛАВА I

— Ты очень красивая, — сказал Анджей. — Я никогда не видел таких волос у девушек. Желтых. Нет, солнечных.

«Я говорю глупости, — подумалось ему. — Слишком откровенно. Но со мной никогда ничего подобного не случалось».

— Ты пойдешь со мной? Сегодня? Сейчас? — И он задохнулся от своей смелости и страха одновременно. Он не видел лица Катарины, оно расплывалось, туманилось.

Раздался смех. Громкий, веселый смех девушки. Он донесся до Анджея сквозь говор и шарканье ног, аккорды гитар и визгливое «йе-йе-йе» парней с эстрады. Обычно в этом зале проводились собрания и ставились спектакли любительского студенческого театра.

Катарина смеялась, откинув голову, громко, от всего сердца. Он стиснул зубы и на секунду прикрыл глаза. Когда же открыл их, Катарина уже не смеялась. Он увидел ее лицо ясно и отчетливо. Большие глаза смотрели на него с любопытством.

Ритм твиста то сближал, то отдалял их друг от друга. С той минуты, как Анджей вошел в зал и увидел эту девушку, он танцевал только с ней. Танец, второй, третий. Он уже не помнил сколько. Исчезло чувство времени. Но сейчас ему расхотелось танцевать. Он боялся услышать ее ответ.

— Прошу прощения, — неожиданно сказал он. — Я сейчас же вернусь. Мне надо спуститься в вестибюль, поискать девушку, с которой я пришел сюда.

Анджей прошел через зал и спустился по лестнице в раздевалку. Нашел свой плащ, прислонился к нему и с минуту стоял неподвижно.

«Эта девушка должна быть моей, — подумал он. — Я сошел с ума или близок к этому».

Потом он сунул руку в карман плаща, достал бутылку лимонной водки, вынул пробку и сделал два больших глотка.

Водка взбодрила его. Он вернулся в зал. Катарина не танцевала.

«Я ей нравлюсь, она ни с кем не танцует», — мелькнуло у него в голове.

— Ты ждала меня?

Она зажмурилась и, как норовистая лошадка, тряхнула головой. Несмотря на свои восемнадцать лет, Катарина поражала удивительной женственностью. Да, он был увлечен, и, похоже, серьезно.

Анджей придвинулся к Катарине совсем близко, пользуясь тем, что она стояла у стены и ей некуда было отступать.

— Так ты пойдешь со мной? Ты должна пойти!

— Зачем? — тихо спросила она.

— Я хочу, чтобы ты была моей. Сегодня! Сейчас! Я женюсь на тебе. Правда!

Он был так возбужден, что каждый нерв дрожал, и он ощущал это дрожание.

«Я женюсь на ней, — подумал он холодно и спокойно. — Женюсь на ней сразу же. И к черту институт! Подумаешь, три года! Потом доучусь!»

Катарина отвела взгляд от танцующих.

— Если вы так хотите... Ну что ж, хорошо... Ладно, — сказала она почти равнодушно и покорно улыбнулась. — В первую же ночь за границей. Например, во Франции. Ну как?

«Да, это не маленькая глупая козочка. Это женщина. Зрелая женщина».

— Хорошо, — ответил он, стиснув зубы. — Ты поедешь туда. Мы вместе поедем.

Она снова звонко расхохоталась, видимо, не принимая слова Анджея всерьез. Неужели он повезет ее ради одной ночи за границу? Катарина не верила этому и просто кокетничала, старалась вскружить ему голову.

— Ты поедешь, — сказал Анджей, угадав ее мысли. — Я человек слова. Еще в детстве я всегда выполнял все свои обещания. — Он увидел изумление на ее лице и снисходительно рассмеялся. — Но и от других я требую выполнения обещаний, — значительно заметил он.

Катарина внимательно посмотрела на него. Он сумел ее заинтересовать. Но у нее был характер.

— Я сдержу слово, — с твердой решимостью сказала она. Лицо ее стало серьезным, черты обострились, стали выразительнее, взрослее.

«Как я это сделаю? — подумал Анджей. — Не знаю. Но мы поедем. Во Францию, в Италию — куда-нибудь. Над этим я позже подумаю».

У него уже не было желания ни танцевать, ни бегать в раздевалку за глотком водки, ни прижиматься к девушке и чувствовать ее тело. Анджей взял на себя перед ней обязательство. Он был молод, горд и имел свои принципы.

Они вышли из школьного здания и побрели по пустынным улицам, омытым теплым майским дождем. Анджей не касался Катарины даже плечом. Чувства переполняли его. Все или ничего. Шли молча. Перед домом девушки на Смольной они остановились, подали друг другу руки. Глаза Катарины потемнели, она потянулась к нему, но Анджей даже не поцеловал ее...

Потом он возвращался на Львовскую улицу, в комнату, которую снимал у чужих людей на время учения. В голове была пустота. Анджей бросился на постель в своем единственном темном костюме. Он совсем забыл, что не проводил с бала девушку, с которой пришел.

ГЛАВА 2

Анджей проснулся рано. Он не выспался и чувствовал себя скверно от выпитой вечером водки. Сунул голову под кран. Шум в голове утих, но во рту оставался отвратительный привкус от сигарет.

«И зачем было столько курить на вечере? — подумал он, растирая голову полотенцем. — Даже выпивка так не действует».

В полдень он должен был встретиться с Катариной. О свидании он думал рассеянно, голова была занята планами, правда, еще не созревшими до конца. Все действия его с тех пор, как он повстречался с Катариной, стали словно машинальными. Он будто бы повис в воздухе и знал, что все вернется на свои места лишь тогда, когда он достигнет цели.

Через открытое окно врывался шум и говор разбуженного рынка на Кошочках. Ржали лошади, скрипели колеса телег. Снующие по площади женщины с корзинами цветов кричали так визгливо, что майский ветер доносил их голоса даже сюда, на Львовскую.

«На лекции не пойду, — решил Анджей. — Все равно скоро конец семестра. Все складывается удачно, близко каникулы. Четыре месяца! Ведь это целая жизнь, — улыбнулся он. — И на летнюю практику не поеду. Потом отработаю. Зимой... Или на будущий год. Когда-нибудь потом...»

Он почувствовал голод. Натянул свитер и выскочил на рынок. Пахло летом, конским потом, зеленью, которую торговцы поливали водой из бутылок. Он купил пучок редиски, пару яиц и бутылку молока в продовольственном магазине напротив рынка.

Дома опустил кипятильник в фаянсовую кружку, вскипятил воду для чая. Таким же способом приготовил яйца всмятку. Все съел, и ему стало значительно лучше. Остатки похмелья прошли. Он бросил взгляд на смятую постель, но привести ее в порядок желания не было.

Мысли, как добыть деньги, не оставляли его ни на минуту: и когда он кружил по рынку, и когда готовил завтрак. Теперь даже сама встреча с девушкой для него уже мало значила. Оставалось только одно желание — войти в кафе «Свитезянка» со словами: «Через три дня, через неделю, через месяц мы уезжаем».

Родители Анджея помогали ему: платили за комнату, присылали посылки. Жили они в Калише, в предместье, которое было почти деревней. Отец зарабатывал три тысячи злотых в месяц.

«На помощь старика рассчитывать нечего, — подумал Анджей. — Если у него и оставлено что на черный день, то мне он такого подарка не сделает — не даст в долг до получения диплома».

Анджей подрабатывал уроками: не зря же его считали лучшим математиком на курсе. Пятьдесят злотых за час. А на первом курсе он довольствовался случайными заработками: выбивал ковры, нянчился с детьми по вечерам. Репетиторские уроки по сравнению с такими заработками были солидной работой.

«У меня есть пара сотен злотых, — думал Анджей. — Можно заехать к тетке Анне в Краков».

Тетка Анна была единственной родственницей, сохранившей довоенное состояние.

«Конечно, краковяне... Их война не коснулась почти. Тет-

ка сидит на своих коврах и заботится только о том, чтобы их не съела моль. Ковры она ради меня не продаст. Увидев племянника, обрадуется, но шесть своих перстней мне наверняка не подарит. В лучшем случае запишет в завещание. Черт возьми, в какую сумму их оценят ювелиры? Золото и камни всегда в цене».

Он вскочил с кровати, осененный внезапной идеей. Попросил у хозяйки телефонную книгу. Нашел букву Ю... В квартале МДМ *, совсем недалеко от его дома, находился ювелирный магазин.

«Забегу туда перед встречей с Катариной, — решил он. — Успею. Они открывают в одиннадцать».

Анджей погляделся в зеркальце, висящее на стене, потер рукой щеку и решил, что надо побриться. Потом сменил рубашку. Время до полудня тянулось медленно. На книге, которую он решил почитать, не мог сосредоточиться. Взял вчерашнюю газету. В глаза бросилось объявление ювелира о скупке серебра, похожее на некролог в черной жирной рамке.

«Поездка в Париж через Орбис ** стоит десять тысяч злотых. Две путевки — двадцать тысяч. Сколько же серебра надо иметь, чтобы получить такую сумму? Целый мешок. У тетки два серебряных подноса. Ерунда».

Он не мог даже поваляться на постели, бездумно глядя в потолок, как любил это делать во время экзаменационной горячки, чтобы дать отдых утомленному мозгу.

Анджей вышел на улицу. Побродил возле университета, но решил, что лучше никому не попадаться на глаза. Как-никак, а занятия еще не кончились. Около Уяздовского сада было пустынно. В саду — несколько детей с мамами. Тихо. Он ушел из парка и бесцельно бродил по аллее туда и обратно — от Бельведера к Уяздовскому саду. Поглядывал на часы. В половине одиннадцатого как-то случайно очутился на МДМ возле витрины ювелирного магазина. Прислонился к столбу галереи и бессмысленно уставился в одну точку прямо перед собой. Мимо проносились автобусы, пронзительно скрежетали трамваи, сворачивая с Маршалковской на площадь. Дворничихи в сиреневых фартуках толкали перед собой вдоль газонов неуклюжие тачки с железными коробками для мусора. Прямо перед Анджеем, на столбе возле трамвайной остановки, висели часы. Стрелки их словно остановились... Наконец магазин открылся. Анджей подождал еще с четверть часа, пока продавщица выкладывала украшения на витрину. Нетерпение охватило его.

«Люди не любят вовремя начинать работу, — подумал он. — Если их торопить, они становятся раздражительными, недовольными, а тогда мало что у них можно узнать. Каждый хочет спокойно начать свой день».

Он прошелся вдоль прилавка, разглядывая перстни, похожие на те, которые были у тетки Анны. Теперь таких массивных не делают. Никому не придет в голову сделать шесть одинаковых моделей. От самого крупного до самого маленького — на палец мужчины и ребенка.

---

* МДМ — новый микрорайон Варшавы.

** Орбис — польское бюро путешествий.

— Сколько стоит? — переспросила продавщица. — Это зависит от веса и от камня.

— А такой, средний? Нормальный?

— Три-четыре тысячи.

«6 × 4 = 24, — мелькнуло в уме. — Было бы неплохо. Глядишь, и тетка добавила бы какую-нибудь брошку или брелок. На Западе их можно продать за хорошую цену. Вернул бы ей долг посылками. В три раза больше. Простила бы мне перстни. Она бы не заявила в милицию о пропаже перстней. Не стала бы компрометировать семью».

В ювелирном магазине на Маршалковской Анджей не узнал ничего нового. Цены были одинаковые.

«На комиссионный магазин времени нет, — подумал он. — Наверное, имело бы смысл сбыть золото с рук. Частнику. Есть еще частники в Варшаве».

ГЛАВА 3

— Мы поедем в Париж, — сказал Анджей. — Только сначала нужно заскочить в Краков. На пару дней, — небрежно добавил он. Руки нервно теребили номерок от пальто.

Катарина ошеломленно поглядела на него. Никогда в жизни не встречала она такого странного парня. В глубине мозга ощутила словно бы маленькую беспрерывно мигающую красную лампочку — остерегающий сигнал. Правда, инстинктивно чувствовала, что порыв Анджея искренен.

Она внимательно приглядывалась к нему, и чем больше смотрела, тем больше ей становилось не по себе. Он не пытался ее соблазнить, даже забыл сказать «добрый день», когда она вошла в кафе. Сидел и смотрел в пространство, машинально покручивая на пальце номерок. Неожиданно ей пришло в голову, что любовь не всегда приносит радость.

Анджей смотрел на девушку и думал:

«Уехать, уехать! Но сколько это будет тянуться? Паспорт, визы... Шесть недель, восемь? Нет, это невозможно! Я не выдержу. Что я буду делать все это время? Встречаться с ней в кафе? В парке?..»

— А нелегально ты рискнула бы? — спросил он.

— Что вы! — испугалась Катарина. — Что ты!

Он рассмеялся.

— Не бойся. Пока я рядом, с тобой ничего не случится!

Потом он бродил по городу. Не сознавая зачем, вошел в телефонную будку и начал списывать адреса ювелирных магазинов.

«Для чего? — думал он, продолжая выписывать адреса. — Везде одни и те же государственные цены. Ничего нового я не узнаю».

Весь остаток дня Анджей бродил по Варшаве. «За три года студенчества я не узнал Варшаву так, как сегодня», — думал он, шагая вдоль широких светлых витрин неизвестно какого по счету ювелирного магазина. Он уже не сравнивал драгоценности с перстнями своей тетушки. Его теперь интересовали сами ценности. Величина, блеск камней, цены. Он уже

не глядел на золото, он искал только бриллианты. В кольцах, браслетах, колье.

Ноги гудели от усталости. Еле-еле доплелся домой, тихонько пробрался в свою комнатушку — с хозяйкой разговаривать не хотелось. Бросился на кровать.

«Не обманывайся, — говорил он себе. — Ты уже все знал, когда выписывал адреса магазинов в телефонной будке. Не обманывай себя. Это пришло тебе в голову уже в первом магазине на МДМ. И потом ты пошел дальше, чтобы убедиться, какое состояние можно добыть. Ну что ж, стоит рискнуть. Но всякий риск должен быть разумным. Магазинов много. Тебе нужно выбрать такой, где мало продавцов и сейф с несложным устройством. Где крутится не слишком много людей, где нет поблизости милицейского поста. Ну ничего. Найти можно».

Он приглядел маленький магазинчик. Пулавская, 16. Стал бродить вокруг него. Магазин обслуживали две продавщицы и директор.

«С директором всегда нужно считаться», — думал Анджей, разглядывая дородного мужчину через стекло витрины. Он потому и выбрал этот маленький старый магазинчик на Пулавской: далеко от центра, постоянная клиентура, установившиеся порядки.

Анджей стал появляться на Пулавской ежедневно ровно в 10.30. Иногда он стоял на трамвайной остановке. Иногда изображал праздного гуляку. Иногда, прислонившись к стене, читал газету. Завтракал в молочном баре рядом. Выпивал по четыре чашки кофе в «Бразильском кафе» возле магазина на противоположной стороне Пулавской. Он напился кофе вперед на несколько месяцев. Стал реже встречаться с Катариной. По утрам, проходя мимо университета, он испытывал ощущение, что в этом здании никогда не был, а если и бывал когда, то так давно, что уже забыл, как оно выглядит внутри.

Намеченный им магазин не имел выхода во двор. За торговым залом было только небольшое подсобное помещение.

Через три-четыре дня пикетирования магазина Анджей вплотную занялся личностью директора. Тот частенько опаздывал на работу. Несколько раз Анджей провожал директора на Центральный вокзал, становился в очередь у билетной кассы и проверял, покупает ли тот билет до одной и той же станции. Причина директорских опозданий была несложна. У него за городом имелся маленький домик, а расписание на железной дороге не всегда соблюдалось. Как-то Анджей встал в очередь прямо за директором и услышал, как тот сказал кассиру:

— Пожалуйста, Влохи.

Анджей сел в тот же вагон и поехал во Влохи. С этого времени директор, сам не подозревая того, стал его хорошим знакомым.

Во Влохах жил школьный товарищ Анджея. Каждый год Анджей ездил туда, помогал приятелю ухаживать за садом. Весной подбеливали деревья, осенью укутывали розы соломой. Он делал это с удовольствием из дружеских чувств к приятe-

лю. У того были очень милые родители. В студенческие годы этот дом в какой-то мере заменял Анджею родительский кров. Но теперь он ездил во Влохи совсем с другой целью.

Вагон скрипел на поворотах. Анджей нагибался и терял из виду сидящего на лавке мужчину. С тех пор как у Анджея созрел определенный план, усталость покинула его. Он забывал про обед, да и есть не хотелось.

Однажды он сказал Катарине, что уезжает в Краков, и исчез.

Он понимал, что его поведение удивляет и беспокоит девушку, но все объяснения отложил на потом. У него ни на что не оставалось сил, кроме выполнения задуманного.

«Странное совпадение, — думал он в поезде. — Директор живет именно во Влохах. Это забавно, но это хорошее предзнаменование».

Он провожал директора до самого порога его домика, стараясь ненароком не попасться на глаза ни ему, ни своему приятелю. Утром директор предпочитал садиться на поезд несколько позже, чем мог бы. Эти директорские опоздания давали Анджею по крайней мере полчаса для осуществления намеченного плана. Магазин открывали в одиннадцать. Целых полчаса в нем находились только две продавщицы. Анджей даже не рассчитывал на такую удачу.

Одна из продавщиц приходила на работу без четверти одиннадцать. Она открывала магазин. Вторая предпочитала быть точной.

«В одиннадцать или в одиннадцать ноль пять, — думал Анджей. — Мне и не нужно получаса. Все должно произойти молниеносно. Иначе нечего и затевать. А разрыв во времени очень много значит».

Узнав все, что ему нужно, о директоре, Анджей занялся продавщицами. Он проводил до дому сначала одну, потом другую.

С Катариной он встречался каждый раз в разных кафе. Это ее удивляло. Но Анджей смутно сознавал, что заставляло его менять места встречи.

Он мог детально продумать план, потому что был хорошим математиком. А это значило, что следовало принять все меры предосторожности. Поэтому Анджей бегал по разным кафе Варшавы и таскал за собой Катарину. А она ничего не подозревала и не переставала удивляться.

В одну из бессонных ночей он обдумал кандидатуры двух приятелей-сокурсников, которых решил посвятить в задуманное. Все было предусмотрено вплоть до мельчайших деталей. Осталось самое основное — выполнить план.

— Не знаю почему, но мне кажется, что ты все время где-то далеко от меня, даже если мы сидим рядом, — как-то раз сказала Катарина.

«Так оно и есть на самом деле, — подумал Анджей. — В данную минуту я веду важный разговор с ребятами. Примут или не примут они мое предложение?»

А в ответ только улыбнулся. Они сидели в обшарпанном кафе Центрального универмага. Анджей волновался. Приятели должны прийти в восемь. Он сорвался с места и прошел в

гардероб. Как всегда, сделал это слишком поспешно. Катарина так и не смогла привыкнуть к нему и инстинктивно боялась всего, что ей непонятно.

— Иди побыстрей, — торопил ее Анджей.

Катарина подумала, что он оставит ее прямо на улице, но он проводил ее до Смольной. Они, как обычно, наскоро простились. Беспричинный страх снова охватил Катарину...

Увидев приятелей, Анджей облегченно вздохнул. Друзья расположились на кровати в его комнате. Анджей придвинул единственный стул к ним вплотную.

— Я хочу потрясти ювелирный, — сказал он без всяких околичностей. — Пойдете со мной? Если нет, то махнем в пивную, пропустим по кружке. Вы ведь приехали ко мне попить пивка.

«Удачно я их выбрал», — подумал он.

Они молчали, ожидая дальнейших объяснений.

— И что это тебя так повело? — спросил наконец Зигмунд.

— Так обстоятельства сложились, — понуро ответил Анджей.

— А с чем ты пойдешь? — снова спросил тот. — С палкой? С водяным пистолетом, купленным в комиссионном за две с половиной сотни?

— Нет. Людей можно напугать только оружием. И ничем другим, — сказал Анджей решительно. — Нападать без оружия рискованно.

Его решительность произвела на ребят впечатление.

— А где возьмешь оружие? — деловито спросил Кузнечик. Так его прозвали однокурсники.

— У милиционера или у военного, — уверенно ответил Анджей.

— Ну это у тебя, брат, не получится, сразу влипнем за кражу оружия, — возразил Зигмунд.

— Ничего, получится.

— А какие гарантии? — пожал плечами Зигмунд. — Твой опыт? Этого слишком мало, старичок. У нас есть чем рисковать. Осталось два года до диплома. Человек протрубил три года, три тяжких года. И на дистанции соскочить?

— Финиш финишу рознь, — заметил Анджей. — Дипломчик, работа, вечные ссоры с каким-нибудь стариком, который будет видеть в тебе только врага, присланного для того, чтобы занять его место.

— Ну хорошо, — сказал Кузнечик. — Ты хочешь организовать маленькую банду и, как я понимаю, быть ее главарем. Ты уже главарь, так как у тебя имеется план дельца. Ну а если ты главарь, то и познакомь нас с этим планом. Если добудешь оружие, пойдем. Абы с кем таких дел не делают. Финиш финишу рознь, как ты верно заметил.

— Пистолет будет через три дня, — тихо сказал Анджей. — Пойдете?

— Договорились, — кивнул Кузнечик. — Срок назначен. Через три дня, в четверг, в одиннадцать, в Саском саду. В главной аллее. Если не уложишься в срок, значит, мы просто придем к тебе выпить по кружке пива. А теперь обсудим детали.

Кузнечиком руководило только любопытство. Он хотел знать план нападения, но был уверен, что Анджей не придет в Сас-

кий сад, не достанет оружия и они в конце концов оставят в покое ювелирный магазин.

— План обсудим в четверг, — сказал Анджей спокойно, но категорически.

Едва приятели ушли, он бросился на кровать. Заснул быстро и крепко. Впервые он хорошо спал с тех пор, как начал охоту за ювелирным магазином.

ГЛАВА 4

Анджей вгляделся в свое отражение.

«Недурно, — подумал он. — Совсем недурно. Надо бы еще повременить, но сроки подгоняют. Сегодня или никогда».

Трехдневная щетина, покрывающая щеки, изменила выражение его лица, сделала зеленые глаза темными. Он торопливо оделся. Завтракать не стал. Вышел на перекресток Мокотовской и площади Спасителя. Остановился, разглядывая прохожих. День был пасмурный. Слева на площади выпирал потемневший от сырости и капризов погоды каменный костел Спасителя.

«Должно получиться», — подумал он, глядя на громаду костела.

Он уверенно зашагал через дорогу, вошел в распахнутые двери костела. Здесь было тихо и пусто. Запах свечей и елея смешивался с ароматом цветов, лежавших на алтаре. Анджей бесшумно шел вдоль скамеек. Ему нужно было сосредоточиться.

В алтаре раздался мелодичный звон колокольчика. Началась служба. Анджей перешел ближе к алтарю, к барьеру, отделявшему священника от верующих. Сегодня в его жизни наступил перелом. До сих пор Анджей никогда не испытывал ничего подобного. Ни при вручении аттестата зрелости, ни после сдачи вступительных экзаменов в университет. Чувство легкости усиливалось. Он вышел на площадь. Окинул взглядом перекресток. Напротив костела увидел бар самообслуживания. Заказал сто граммов водки, выпил одним духом. Расплатился и направился в сторону квартала МДМ. Легкость, уверенность в себе росли в нем с каждым шагом. Алкоголь приятно возбуждал.

На трамвайных остановках стояли толпы людей. Горожане толпились возле подходивших трамваев, с трудом втискивались в переполненные вагоны. Анджей буравил взглядом толпу. Он искал мундиры. Люди были нетерпеливы и не очень любезны друг с другом. Толкались, возмущались теми, кто успевал раньше поставить ногу на подножку.

«Самое удобное время, — подумал Анджей, и сердце подскочило в его груди. — Есть!» — он увидел молодого поручика, входившего во второй вагон трамвая № 4. Анджей пробрался сквозь толпу. Более энергично, чем остальные пассажиры, он пробивал себе дорогу к цели. Трамвай тронулся. Анджей совершил рискованный прыжок на подножку, увешанную гроздьями людей. Схватился за чье-то плечо, повис, лихорадочно нащупывая ногой точку опоры. Кто-то увидел ви-

сящего молодого парня, поднажал плечом на спины пассажиров. Толпа подвинулась самую малость, но этого оказалось достаточно, чтобы Анджей схватился за поручень и получил точку опоры.

— Спасибо, — сказал он.

Он доехал до следующей остановки, ничего не видя, кроме спины перед собой. Как ни вытягивал шею, как ни откидывался на подножке всем телом назад, пытаясь заглянуть в вагон через окно, военного так и не разглядел.

«Черт возьми, — лихорадочно пронеслось в голове Анджея. — Самое подходящее время. Вагон набит битком, а я повис снаружи».

Он протиснулся на площадку. Посмотрел поверх голов пассажиров и сразу увидел военную фуражку. Попробовал продвинуться вперед, но, стиснутый со всех сторон людьми, не мог сделать ни шагу. Он должен вести себя осмотрительно, не привлекать внимания. Здесь с его уверенностью делать нечего — того и гляди нарвешься на скандал, а это ему вовсе ни к чему. Анджей стал спокойнее. Он не спускал взгляда с мундира и боялся, что военный начнет пробираться вперед. Лучше всего проделать все сейчас, пока военный находится в самой середине вагона.

Теперь Анджей действовал спокойно и хладнокровно, мысленно рассчитывая каждое движение. На следующей остановке смог пройти внутрь вагона. Воля его сконцентрировалась на фигуре военного.

Люди выходили, становилось свободнее, но сзади напирала толпа, подталкивала Анджея все ближе к военному. И вот он уже прижат к спине поручика. Анджей ощутил жесткую ткань суконного кителя и гладкую кожу ремня. Сзади спорили пассажиры, возмущенными голосами требовали уступить место. Женщины, красные и потные, пытались вытянуть сумки, изрядно помятые чужими боками, и старались достать билеты.

Анджей искал застежку на кобуре поручика. Он так ловко манипулировал пальцами, будто всю жизнь ничем иным не занимался. Словно был пианистом или ткачом. Он отчетливо слышал и стук колес на стыках, и скрип открываемой кобуры. Он напирал на поручика не по собственной воле, но лучшего сейчас и желать не мог. Почувствовал пальцами холодный металл рукояти. Одним движением опустил пистолет в карман своего пиджака. Дело сделано. Анджей понимал, что ему нельзя сейчас двигаться, хотя кровь пульсировала в висках и хотелось рвануться с места. На остановке он протиснулся вперед. И только на передней площадке, когда толпа опять плотно сомкнулась за ним, прочно отделив его от военного, Анджей стал действовать активно и резко. Он ввинтился в толпу, пролетел сквозь нее, как пуля, и на ходу выскочил из уже тронувшегося трамвая.

Перешел через дорогу, остановился на тротуаре. Трамвай, громыхая, понесся дальше. Кровь молоточками стучала в виски. Пульсировала толчками. Анджей дотронулся рукой до кармана.

«Есть! — возбужденно сказал он себе. — Есть!»

Огляделся. Глаза остановились на белых колоннах Горация.

Архитектурная чистота фасада, геометрические линии и законченная пропорциональность сооружения успокоили Анджея.

«Площадь Дзержинского, — отметил он. — Я и понятия не имел, что ехал так долго. Если бы меня кто-нибудь спросил, я ответил бы, что вся дорога промелькнула в один миг».

Было без пяти минут восемь.

ГЛАВА 5

До одиннадцати было еще целых три часа, а в полдень он, как обычно, встречался с Катариной. На этот раз в «Телимене», отдаленном кафе Краковского предместья.

Анджей машинально поглощал заказанный завтрак. Коленом чувствовал тяжелую полу пиджака. Но он так проголодался, что желание рассмотреть добычу временно отступило на второй план.

Только покончив с завтраком, он прошел в туалет, закрылся в кабинке и внимательно рассмотрел похищенный пистолет. Провел рукой по темной вороненой стали. Вынул обойму. Весь комплект патронов был цел.

В Саском саду он сел на одну из скамеек главной аллеи, почти возле входа, с наслаждением вытянул ноги. Выглянуло солнце, стал расходиться туман. Анджей грелся под ласковыми весенними лучами и глазел на прохожих. В саду обычно собирались матери с детьми и деревенские девушки, нанимающиеся в няньки к грудным младенцам. Анджей откинулся на спинку скамьи и прикрыл глаза, а когда раскрыл их, Зигмунд и Кузнечик стояли возле.

— Уже одиннадцать? — удивился он. — А мне показалось, что сижу здесь не больше четверти часа.

— Счастливые часов не наблюдают, — съязвил Зигмунд. — Достал оружие?

Анджей опасливо огляделся вокруг. Детишки бегали по аллеям, таская деревянные тачки, машины и совочки с песком. Анджей покосился на свой оттопыренный пиджак. Кузнечик медленным движением положил ладонь ему на карман.

— Есть! — изумленно произнес он. — Сколько патронов?

— Вообще-то в пистолете не помещаются две обоймы, а мне не пришло в голову перетряхнуть карманы хозяина оружия, — зло ответил Анджей. — Ты не находишь, что это было бы довольно сложно сделать?

Кузнечик коротко хохотнул.

Втроем они прошли в боковую аллейку, где было поменьше гуляющих. Анджей сразу приступил к изложению плана.

— Итак, будем брать магазин на Пулавской, 16. Встретимся на площади Унии без четверти одиннадцать. Я буду с оружием, Зигмунд будет стоять перед Орбисом, на противоположной стороне Пулавской, — следить за улицей и магазином. Когда мы с Кузнечиком выйдем из магазина и направимся в сторону площади Унии, Зигмунд пойдет за нами по другой стороне. Возле самой площади перейдет через дорогу и возьмет у Кузнечика сумку с драгоценностями, потом сядет в

такси на стоянке, что на углу Кленовой и Хотимской, и доедет до Черняховской, 209. Там подождет в подъезде, пока таксист скроется из виду, сядет на трамвай и спокойно отправится домой. Я видел этот дом на Черняховской. Хороший старинный каменный дом, каких уже давно не строят.

— А что мне делать, если кто-нибудь заметит вас в магазине? — спросил Зигмунд.

— Действуй по обстоятельствам. Если что произойдет на улице, пока мы будем в магазине, дашь нам знать. Стукнешь три раза в дверное стекло. Сегодня вечером пройдите оба до Пулавской и посмотрите на магазин. Я не хочу там больше вертеться. Кузнечик возьмет сумку из дома, в нее сложит ценности, потом первым выйдет. Я уйду последним, когда запру продавщиц в подсобке. Ясно?

— Ясно, — буркнул Кузнечик без всякого энтузиазма.

— По улице идти спокойно, словно ничего не произошло, — твердо заключил Анджей. — Криков из подсобки никто не услышит. У нас будет ровно двадцать минут времени до прихода директора. За двадцать минут проскочим от Маршалковской до перекрестка с Ерузалимскими аллеями, а нам потребуется пройти всего до площади Унии.

— Ты хорошо рассчитал время? — спросил Зигмунд.

— Даже с гарантией, старичок, — рассмеялся Анджей. — Я стоял с секундомером и подсчитывал, за сколько времени продавщицы вынимают всю кучу драгоценностей из сейфа. Я знаю, что у них имеется и на складе. Дома я проверил на монетках, сколько времени потребуется, чтобы переложить драгоценности в нашу тару, — пять минут. Разница только в секундах, это не в счет. Кузнечик в магазине не должен открывать рта. Я прикажу продавщицам не двигаться и не буду говорить, что ему делать. Могут возникнуть всякие неожиданности, и ты должен слушаться беспрекословно.

— Ладно, — сказал Кузнечик.

— Зигмунд оденется в голубятника: шапочка с большим козырьком, светлые очки, белый шарф и куртка. Когда приедешь на Черняховскую и войдешь в подъезд, сразу сними шарф, очки и распихай по карманам. И чтобы никто тебя во время переодевания не увидел. У тебя будет сумка с драгоценностями. Ее можно считать уликой, но ведь половина города ходит точно с такими сумками. Кузнечик наденет свитер вместо рубашки, пиджак и завяжет на шее какой-нибудь шарф. Ну и сумку возьмет. Все.

— А ты как оденешься? — спросил Зигмунд.

— Встретимся завтра на площади Унии и посмотрим, узнаете ли вы меня, — рассмеялся Анджей.

— О'кэй, — согласился Кузнечик. — Пусть будет так. — Он натянуто улыбнулся. — У тебя-то есть цель. Ну а я для чего захотел бриллиантов?

Зигмунд искоса поглядел на него.

— Ты как жирафа, — холодно заметил он. — Слишком долго размышляешь. Вопрос обговорен, и точка.

Анджей с облегчением вздохнул, расслабился. Он ожидал возражений скорее от Зигмунда, чем от Кузнечика, и поэтому выбрал его стоять на карауле. Он взглянул прямо в глаза Кузнечику.

— Я сдержал слово? Сдержал. Завтра без четверти одиннадцать встретимся на площади Унии.

Он опоздал в «Телимену». Катарина сидела с недовольной миной. Анджей сделал вид, что не замечает этого, потому что сейчас ему было не до лирических разговоров.

«Если бы знала, что ты уже в моих руках, — думал он. — Через несколько дней мы будем очень далеко отсюда. Ты рискнешь вместе со мной. После таких дел смешно думать о заграничных паспортах и туристских маршрутах. И...»

Страсть, которую он всю неделю подавлял в себе усилием воли, чтобы подготовиться к своему рискованному делу, вновь взорвалась в нем с такой же силой, как тогда, на балу.

Катарина почувствовала это. А ведь ей уже стало казаться, что у него все прошло. Чувство чисто женского удовлетворения, чувство власти над мужчиной овладело ею. Она улыбнулась, совсем позабыв, что еще минуту назад сердилась на Анджея.

— Париж утонул во мгле забытья, — кокетливо произнесла она, — зато ты выглядишь как настоящий бандит. Почему не бреешься?

Он засмеялся.

— Хочу отрастить бороду, — сказал первое, что пришло в голову. — Ничего не утонуло ни в какой мгле. Просто я стараюсь достать денег. Двадцать тысяч не падают с неба. Думаешь, все это время, всю неделю, мне хотелось тебя меньше, чем в первый раз, когда я увидел тебя, а? — опять рассмеялся он. — Нет. Ты от меня никуда не денешься. Не выкрутишься. У меня были денежные затруднения, вот и все.

— Я не выкручиваюсь, — хмуро ответила Катарина. — Я никогда не отказываюсь от своих слов.

«Это хорошо, — подумал Анджей холодно, — иначе мне пришлось бы влепить в тебя всю обойму из этого пистолета».

На секунду он прикрыл глаза.

Снова, как на балу, он видел только ее огромные, немного раскосые синие глаза, видел будто из фарфора сделанное лицо. Густые волосы спадали ей на плечи, целая копна волос, перевязанная бархоткой в крупный узел.

«Я развяжу твои волосы, — подумал Анджей, — и буду любить тебя днем и ночью, пока не продам последнее кольцо, последний кусочек золота. Я ничего не буду делать, только любить тебя. Такая любовь требует безделья, но ты об этом не знаешь».

— Сумасшедший, — сказала Катарина, потому что на нее дохнуло страстью. И она все прочла в его глазах.

Он и предположить не мог, что видит Катарину в последний раз.

ГЛАВА 6

Анджей приклеил черную, клинышком, бородку и посмотрел в зеркало.

«Порядок, — подумал он. — Отлично гармонирует с овалом лица».

Потом надел шляпу с широкими мягкими полями. Темные

очки и пистолет спрятал в карман. Из тетрадки вырвал листок и разрезал его ножом пополам. Написал на нем давно продуманный текст. Потом взял сваренное вкрутую яйцо и с какого-то немецкого свидетельства, найденного им с год назад в библиотечной книжке, перенес на белок печать. Приложил яйцо с фиолетовым кружком печати к листку. Посмотрел на свою работу. Печать получилась что надо: нельзя было разобрать ни букв, ни рисунка. Затем он разорвал немецкий текст и выбросил его вместе с яйцом в унитаз. Все было готово. Он перебросил через плечо плащ-палатку.

Тридцать пять минут одиннадцатого он вышел на лестничную площадку, проверил, пуста ли она, и лишь после этого закрыл за собой дверь квартиры.

Навстречу не попался никто из соседей, и Анджей счел это счастливым предзнаменованием. И все-таки он сомневался в гриме, желал поскорее проверить его на своих приятелях.

На площадь Унии он пришел точно в срок и остановился около Клуба международной книги и прессы. Никого из друзей не было. Он подождал с минуту, прошелся вдоль витрин магазина, заглянул в ближайший подъезд и снова вернулся к назначенному месту встречи. Никого.

Он знал, что в плане ничего нельзя менять, и все-таки подождал еще минут пять.

Без десяти одиннадцать он покинул место встречи и один двинулся в сторону ювелирного магазина. В голове пусто, ни одной мысли: это одиночество. Действительно, он вдруг оказался один на один с целым миром. Он шел против этого мира навстречу своей судьбе. Даже не думая об этом, он знал, что все именно так. Действия его приобрели странный автоматизм — он уже не мог отказаться от нападения, как не мог отказаться от встречи с Катариной на балу. Слюна во рту стала вязкой и соленой.

«Человек обычно не чувствует вкуса своей слюны, — машинально подумал он. — Ничего странного. Парней обуял страх немного раньше меня. Такой, как у меня сейчас, — холодно отметил он. — Только у меня он вызвал обратную реакцию».

Он словно утратил собственную волю — план вел его. Теперь даже одиночество не могло его испугать. Его не оставляло чувство, что в его оболочке живет кто-то другой. Он взглянул на часы. Без трех минут одиннадцать. Юркнул в подъезд между ювелирным магазином и мастерской электроприборов. На лестничной клетке надел очки, накинул плащ и переложил в него пистолет. Он стоял возле лестничного окна и отсчитывал самые длинные минуты в своей жизни. Пять минут двенадцатого. Твердым шагом вышел из подъезда. Шел как на ходулях — ноги в коленях не сгибались. Нажал ручку двери ювелирного магазина. Вошел, повернулся к двери, щелкнул задвижкой и повесил табличку «Ремонт». Переложил пистолет в правую руку, тщательно прикрыл руку с оружием полой плаща. Только после этого направил дуло на продавщиц.

— Не двигаться, — четко произнес он.

В коленях неожиданно появилась гибкость — он прыгнул в сторону прилавка.

— Ссыпать украшения с подноса! — приказал он старшей.

Увидел, что та оглядывается по сторонам. Молоденькая продавщица побелела и задрожала как осиновый лист.

— Без фокусов, — на всякий случай предостерег он, — буду стрелять.

Старшая продавщица заколебалась. Анджей вынул руку с пистолетом. В зеркальном отражении витрин за прилавком было видно все, что делается у него за спиной. Он проверил: не очень ли заметно оружие в его руке с улицы, через витрину. Продавщица дрожащими пальцами ссыпала содержимое подноса на стекло прилавка.

— Следующий, — приказал он.

Она проделала то же и со вторым подносом.

Какой-то прохожий остановился на улице перед витриной магазина. Взглянул на часы и прижал нос к дверному стеклу. Анджей отчетливо видел перед собой его лицо с темными глазными провалами, которые все росли, росли и надвигались прямо на него .Он видел приплюснутый нос и округлость губ, раскрывающихся все шире и шире... Сердце его оборвалось. Но тут лицо исчезло. Потом еще кто-то подошел и заглянул внутрь магазина. Анджей зорко следил за отражениями прохожих в зеркале и одновременно держал на мушке продавщицу, ссыпавшую ценности с последнего подноса. На младшую продавщицу он поглядел, но большего и не надо было. Та еще сильнее побелела и зашаталась от страха.

— Не двигаться! — крикнул Анджей.

Старшая вздрогнула всем телом, словно ее ударило током. Анджей понял, что молодая близка к обмороку, и процедил:

— Если упадешь, застрелю как собаку.

Это подействовало. Она выпрямилась, в зрачках мелькнула осмысленность. Ей стало ясно, что падать в обморок так же опасно, как пытаться бежать или звать на помощь. Левой рукой Анджей отбросил полу плаща и стал пистолетом сгребать в него ценности.

«Нет у меня сумки, черт возьми, нет саквояжа», — подумал он в горячке, следя за обеими женщинами и за прохожими в витринном стекле. Прохожие на секунду задерживались перед витриной и не торопясь шли дальше. Стоящие перед ним женщины были менее опасны, чем люди за спиной. Женщины совершенно лишились воли, даже старшая. Что-то в ней надломилось, когда она ссыпала драгоценности с последнего подноса.

«Я ее задавил, — скорее чувствовал, чем думал он. — Теперь быстро действуй, иначе она снова соберет волю. Быстрей».

Сталь пистолета заскрежетала о стекло прилавка. Словно загипнотизированные, женщины следили за каждым движением вооруженной руки. Террор действовал безотказно — они даже не пытались взывать о помощи к прохожим на улице. Кто-то снова прилепился лбом к стеклу. Рука Анджея дрогнула. Золотое колье с крупным бриллиантом посредине тяжело ударилось об пол. Он быстро взглянул на него, но не нагнулся.

— Живо в подсобку, — приказал он. — Быстрей! — Он снова навел оружие на старшую. Та повернулась к нему боком и, как марионетка, двинулась вперед. Второй не надо было повторять приказа.

Левой рукой Анджей стиснул узел, образованный полой пла-

ща. Узел был тяжелым, плащ оттягивал плечо. На пороге подсобки произошла заминка: обе женщины хотели войти туда одновременно. Анджей грубо толкнул их плечом. Младшая вскрикнула от боли. Он пропихнул их в дверь и повернул ключ в замке. Положил ключ в карман и сунул туда же пистолет. Теперь правая рука у него была свободна. Он вытащил записку и положил ее на край прилавка. Потом открыл задвижку входной двери. Замок сухо лязгнул за спиной. Он уже шел по Пулавской улице в направлении площади Унии. Часы показывали 11.12.

ГЛАВА 7

„На две минуты, — подумал он. — На две минуты я ошибся в своих расчетах».

Оставалось восемнадцать минут до прихода директора. Раньше никто не мог туда войти и выпустить женщин из подсобки.

Анджей шел ровным шагом и думал только о том, что плащ может порваться под тяжестью награбленных драгоценностей. Капли пота выступили на лбу. Он отчетливо представил себе эту картину: рассыпавшиеся по мостовой драгоценности. Он почти слышал звук падающих на асфальт украшений. С каждым шагом росло в нем нервное напряжение.

«Нельзя распускаться, — приказывал он себе. — Еще долго нельзя будет распускаться. Тем более теперь».

Отныне улица превратилась для него в джунгли. На каждом шагу он мог попасть в ловушку, и каждый прохожий теперь стал его личным врагом. Он уже не мог чувствовать своей связи с другими людьми, не мог запросто обратиться к незнакомому с самым обыкновенным вопросом, как это было раньше. Он вычеркнул себя из списка нормальных людей и стал преступником. Он старался не глядеть на людей, чтобы невольно не обратить на себя внимание. Накрапывал мелкий дождик, и его плащ никого не удивлял.

«Я не имел никакого понятия о том, как трудно быть совершенно равнодушным к людям, к их присутствию, — думал он. — Человек ходит по улицам в абсолютной уверенности, что ему нет никакого дела до других. Оказывается, существует какой-то контакт даже между совсем чужими людьми, хотя совершенно точно известно, что никто из прохожих больше никогда не встретится друг с другом».

Он внимательно приглядывался к каждому идущему навстречу и одновременно всей спиной чувствовал, что происходит сзади. Невольно ожидал криков и шума погони. В своих расчетах он учитывал элемент случайности, хотя... если бы все развивалось по его расчетам... Анджей миновал площадь Унии, когда услышал за спиной крики. И не удивился, хотя это был именно тот самый непредвиденный случай. Он не знал, что случилось, и пробовал предположить, хотя теперь это уже не имело значения. Он не оглянулся, а медленно расстегнул верхнюю пуговицу плаща.

«Спокойно, — сказал он сам себе. — Теперь спокойно. На карте жизнь».

Нет, Анджей не ускорил шагов, хотя ноги порывались бежать, словно были самостоятельными и не подчинялись ему. Он свернул плащ в тугой сверток. Усилием воли замедлил шаг, будто сдерживал норовистого сильного коня. Эта внутренняя борьба ослепляла его и собирала мускулы в твердые узлы.

«Еще секунда, и ты станешь дерьмом. Расклеишься. Станешь тряпкой, — горячечно думал он. — И проиграешь... проиграешь... проиграешь...»

Шум сзади усилился. Кто-то бежал. Слышался топот. Обостренным слухом Анджей, однако, понимал, что преследователи еще далеко. Он знал, что ему нельзя обернуться или задержаться. Крики доносились с другой стороны площади. На Маршалковской он спрятался под арками галереи. Шел возле самых колонн. Он боялся площади Спасителя и МДМ. Боялся открытого пространства.

«Я должен перейти эту площадь, — подумал он. — Если я перейду... если мне это удастся...»

Он ждал милицейских свистков. Ждал каждой клеточкой тела. От Пулавской его уже отделяло значительное расстояние. Свистков все еще не было слышно. Он знал, что вся его жизнь повисла на этом тонком пронзительном звуке.

Анджей вошел в узкое русло Маршалковской между площадью Спасителя и МДМ.

«Здесь ты как в мышеловке, — подумал он. — Удрать некуда».

Хотя он боялся площадей, но возможность удрать по нескольким направлениям воспринял как спасение. Ускорил шаг, миновал магазины «Цеппелин», «Ткани» и «Спортивный». Подбежал к Пенкной улице, издали заметив зеленый светофор. Тут его нервы сдали. Он пробежал мимо столиков открытого кафе, не задумываясь над тем, увидит ли его кто и обратит ли на него внимание. Даже не подумал о том, что в конце концов молодые люди часто бегают по улице, что это обычное явление.

На Волчьей улице Анджей почувствовал, что задыхается.

«Почему это ты, как идиот, убегаешь по прямой?» — удивился он вдруг.

Проскочил Волчью улицу. Возвращаться было нельзя ни под каким предлогом. Около Хожей замедлил шаг и свернул влево. Дыхание несколько успокоилось, сердце стало биться ровнее.

«Нужно поискать какой-нибудь подъезд и сделать сверток поаккуратнее, — подумал он. — Положить в него шляпу и очки и оторвать бороду».

Он бросил взгляд на сверток под мышкой, а когда посмотрел вперед, увидел синий мундир.

«Его здесь не было, — мелькнуло в голове. — Минуту назад его здесь не было. Откуда он взялся? Стоял в подъезде? Охотился за мной? Сейчас меня схватят!»

Рука сама скользнула в карман. Милиционер шел прямо на него. Анджей выхватил пистолет и, не размышляя, выстрелил. Милиционер остановился. Удивление было написано на его лице. Он зашатался и рухнул. Анджей исступленно нажимал на курок до тех пор, пока не услышал сухой щелчок.

«Пустой», — подумал он. Нажал еще раз и сунул пистолет в карман. Милиционер лежал на тротуаре лицом вниз, без движения. Кто-то бежал по улице к упавшему. Анджей рванулся назад, будто десяток рук уже схватили его. Как обезумевший зверь, бежал по улице, и мозг сверлила только одна мысль, что он еще не схвачен, еще свободен. Он опомнился и кинулся к развалинам.

Рядом помещался магазин «Молоко». Анджей перебежал через соседний с ним дворик. В глубине темнели мрачные руины здания, разрушенного бомбой двадцать лет назад. Он вбежал на груды кирпича и остановился наверху, на уровне второго этажа.

«Надо прыгать, — подумал он. — Выхода нет. Иначе не попаду на Волчью».

Он прыгнул. Почувствовал боль в желудке. Боль расплылась по всему телу и подкатила комком к горлу. Поднялся. Новая волна боли не позволила ему вздохнуть свободно. Согнулся, отдышался немного и побежал среди разрушенных стен. Новое препятствие возникло перед ним: забор из плетеной проволоки. Он с трудом перелез через него и оказался во дворике, сплошь уставленном грузовиками. На воротах гаража висячий замок. В глаза бросилась табличка: «Водитель, слей воду из радиатора». Желтая табличка слепила, а черные буквы скакали, как живые.

«Что-то повредил внутри во время прыжка», — он все еще не мог проглотить набежавшую слюну. Перед ним было две глотки дворика, разделенные такой же сеткой забора. Он снова взобрался на забор, зацепился брюками за проволоку и поцарапал руки, но был доволен и тем, что это не колючая проволока. Совершенно обессиленный спрыгнул вниз. Прислонился к мусорному ящику. Потом перебрался в следующий дворик. Оперся о ворота, но позволил себе отдохнуть не больше минуты. Ворота вывели его на Волчью улицу, рядом с Варимексом. К подъезду конторы подкатило такси. Человек в светлом костюме дал водителю двадцать злотых и не стал дожидаться сдачи.

«Отличный момент, — подумал Анджей. — Мне везет».

Он открыл дверцу автомобиля и сел на заднее сиденье.

ГЛАВА 8

— Во Влохи, — бросил он как можно равнодушнее, стараясь сдержать прерывистое дыхание.

Довольный водитель улыбался и старательно складывал банкнот. Когда он спрятал двадцатку в кошелек и включил счетчик, то даже не посмотрел в зеркальце на нового пассажира, как это обычно делают таксисты. Он все еще довольно улыбался.

— Куда во Влохи? — равнодушно спросил водитель.

— Угол Солипской и Храброго, — бросил Анджей.

Такси тронулось с места, и только тогда Анджей увидел глаза водителя в зеркальце. Однако водитель быстро отвел взгляд.

Значит, он, Анджей, не вызывает к себе особого интереса. Это озадачило беглеца.

«Видно, мой грим не слишком бросается в глаза, — удивленно подумал он. — А я-то еще не был уверен в нем. Это оттого, что я много занимался математикой и редко ходил в театр».

Неожиданно перед ним возник образ человека, лежащего на тротуаре, его безвольно раскинутые руки...

«Убил», — холодно подумал Анджей. Еще вчера он и представить себе не смог бы, что отнесется к смерти с таким равнодушием.

«Я убил человека. Милиционера. При исполнении служебных обязанностей. Теперь для меня нет никакого спасения. Нет возврата. А вдруг я его только ранил? Я ведь не целился как следует, — пытался оправдаться он. — Большинство пуль могло не попасть в него». Но он и сам не верил своим оправданиям. Оправданий для него не осталось.

Он попросил таксиста остановиться возле церквушки. Дал ему сто злотых. Не оглядываясь, прошел по Солипской улице. Не раз ходил он здесь до железнодорожного переезда, когда привозил девушек в гости к приятелю. Улица была застроена старыми деревянными домиками. Он вошел в первый же садик, где не было людей. Проходя мимо дома, бросил взгляд на окна. Никого. Жители по утрам уезжали на работу и возвращались обычно в сумерки. Он нагнулся, поднял камень с дорожки и закрылся в смердящей по-летнему фанерной будочке уборной. Через вырезанное в дощатых дверях сердечко он мог видеть все, что делается вблизи дома и даже на Солипской. Развернул плащ, с трудом распихал драгоценности по карманам брюк и пиджака. Потом отклеил бороду, снял очки и шляпу, завернул все это в плащ, положил туда же камень и опустил сверток вниз, в выгребную яму. Он сосредоточенно наблюдал, как сверток погружался в нечистоты. Потом снова выглянул в сердечко. Дорога была свободна.

Он направился к станции. У переезда играл какой-то мальчишка. Было безлюдно. Но возле почты его снова охватил приступ страха. В глаза бросились красные надписи. Здесь мог оказаться милиционер. Анджей избавился от улик, но был небрит четыре дня.

«Такая рожа может обратить внимание постового, — подумал он. — Потребует предъявить документы. А как я вытащу паспорт? Карманы мои набиты, как индюшка каштанами. И пистолет...»

Он почувствовал, как кровь прилила к лицу.

С Популярной улицы свернул на Миколайскую. Он торопился, на Гречаной толкнул калитку и спрятался за угол кирпичного дома. Он знал тут каждый камень, каждый выступ. Обессиленный, присел на лестнице веранды.

«Зденек в институте, — думал он. — Ни его отец, ни мать раньше пяти не вернутся. Сейчас проверим, есть ли кто дома. Времени у меня много, но медлить нельзя. Соседи не удивятся, увидев меня в саду, но лучше бы и они меня не видели. До полудня здесь обычно сплошное безлюдье».

Из конуры выползла собака, подошла к Анджею. Лизнула руку.

— Привет, старушка, привет, — сказал он и почесал ее за ухом.

В сарае взял лопату, выкопал четыре ямки, разложил в них поровну драгоценности и засыпал ямки землей. Лопату поставил на место, вымыл руки под краном.

На станцию возвращался почти успокоенным, след заметался все больше. Он подумал, что неплохо бы свернуть на улицу Болеслава Храброго. Там с давних пор была парикмахерская. Типичная сельская парикмахерская — одна комнатенка в одноэтажном доме.

Никакой приезжий не рискнет бриться здесь. Это исключено. Только местный.

Анджей велел себя побрить. В парикмахерской было пустынно, сонно и не очень чисто. Парикмахер мало интересовался своей профессией и своим клиентом, который противопоставил себя всему свету. Он не торопясь намылил лицо Анджея и приложил бритву к подбородку.

Вместе с мылом бритва снимала четырехдневную щетину с его горла. И в эту секунду Анджей увидел идущего по улице милиционера. Милиционер задержался перед парикмахерской. Постоял в раздумье. Затем стал ходить туда и обратно перед единственным ее окном.

«Вот и все, — подумал Анджей. — Это конец».

Он удивился, что все так просто. Ни страха. Ни дикого желания обороняться. Ни малейшей попытки бежать. Ничего этого Анджей не почувствовал. Равнодушие охватило его. Только равнодушие владело им. Равнодушие...

Парикмахер стал брить ему щеки.

ЧАСТЬ II Агнешка

ГЛАВА 1

— Любопытно, — произнес поручик Габлер в соседней комнате. — Записка азбукой Морзе. Тайная политическая организация? И это теперь-то!

Капитан Корта машинально подошел к двери. Он сам обычно никогда не допрашивал свидетелей и потерпевших. У него была прекрасно обученная, вышколенная, дисциплинированная оперативная группа. Стенограммы, которые ложились на его стол, были четкими и давали ясное представление о деле. Оперативная группа капитана Корты работала с точностью часового механизма. Это стоило ему долгих лет работы с коллективом. Он умел поставить дисциплину и был чрезвычайно требовательным. И, несмотря на это, подчиненные души в нем не чаяли, схватывая каждое его распоряжение, каждый приказ буквально на лету.

Поручик Габлер оторвал глаза от фотокопии, которую держал в руках, и увидел в дверном проеме шефа.

Капитан Корта перекрутил на среднем пальце свое обручальное кольцо и смотрел на золотой ободок так, будто видел его впервые, а не носил, не снимая, многие годы.

«Ого, старик что-то пронюхал», — подумал Габлер.

Сотрудники знали: если капитан крутит кольцо, значит его что-то заинтересовало.

— Продолжайте, пожалуйста, — сказал Корта, даже не взглянув на продавщицу ювелирного магазина. Она его не интересовала. Капитан взял со стола Габлера фотокопию тетрадного листка в клетку, разрезанного пополам.

«Данный документ подтверждает, что золото и ценности, изъятые из магазина, будут использованы тайной политической организацией на борьбу за свободу личности».

Внизу — очень расплывчатая, неясная печать. Корта перевернул листок. И в этом положении печать не представляла ничего конкретного. Просто пятно.

«Примитивнейший способ, — подумал Корта. — Печать перенесена на бумагу с помощью крутого яйца. Но текст составлен интеллигентом. Свобода личности! Этот юнец начинает мне нравиться».

Продавщица попрощалась и вышла.

— К сожалению, по этой записке графолог не сможет сделать никаких выводов, — сказал Габлер.

Корта кивнул, соглашаясь.

— Надо проверить по картотеке преступников, не было ли в прошлом чего-нибудь аналогичного, — сказал он.

«Какой-то умник задумал отвлечь этим «чеком» наше внимание от истинной цели преступления. Да, неглупый ход, на мой взгляд. Если бы только было сформулировано несколько иначе», — подумал он и продолжал вслух:

— Наша первая задача — узнать, кто готовил нападение. Всегда кто-то готовит нападение, планирует его или совершает... — Он улыбнулся. — Как мы. Мы тоже или начинаем следствие, или закрываем его. Не так ли?

«Начальник в прекрасном настроении, — с удивлением подумал Габлер, — а последнее время был не в духе».

Габлера выбили из колеи последние события. К крупному ограблению могло присоединиться убийство: состояние здоровья раненого участкового оставалось крайне тяжелым. Из магазина вынесли все ценности. А тут еще труп... Преступника наверняка ожидает смертный приговор.

«Если это одно и то же лицо, — подумал Габлер. — Если мы его поймаем и докажем вину...»

Они стояли рядом. Руководитель оперативной группы и его заместитель. Совершеннейшая противоположность друг другу. Невысокий, довольно хрупкого сложения капитан с грустным и умным лицом, испещренным множеством морщин, и глубоко посаженными глазами, прячущимися под кустистыми бровями. Глаза на его лице жили собственной жизнью, независимой от движения лица, губ, рук. Подвижные, слишком проницательные, чтобы не обратить на себя внимания. Таков был капитан. А Габлер? Габлер — высокий, хорошо сложенный, правда, несколько грузноватый и малоподвижный рядом со своим шефом. Но бесспорные достоинства мужской красоты Габлера бледнели в сравнении с зарядом энергии, скрытой в

капитане. Никто сразу и не подумал бы, что в этом неприметном человеке таится столько энергии, и только во взгляде можно было увидеть скрытую энергию да еще в быстрых движениях рук. Красивый Габлер выглядел как тяжелый бомбардировщик рядом с юрким и стремительным истребителем. Они хорошо дополняли друг друга.

— Участковый еще без сознания? — спросил Корта.

Габлер пожал плечами.

— Четыре пули. Пока жив. Этот тип был не очень-то хорошим стрелком.

— Список украденных ценностей готов?

— Через час будет здесь.

— Передать его всем ювелирам. Какие следы остались на месте?

— Вряд ли мы что-нибудь найдем, — сказал Габлер. — Лобода все еще в магазине. Ищет. Сомневаюсь, что он отыщет отпечатки пальцев, хотя этот тип работал и без перчаток. В магазине бывает много народа... Продавщица говорит, что у парня были очень красивые руки. Элегантные движения. Руки хирурга. Хорошее определение! — рассмеялся Габлер.

«Интеллигент, — подумал Корта. — Первое предположение было верным».

— Какая внимательная продавщица, — заметил он с еле уловимой иронией. — А персонал вне подозрений?

— Одна, пожалуй, да. Та, что подняла тревогу. Она работает в магазине семь лет. И, по-моему, отпадает как сообщница. Вторую стоит проверить. Работает в магазине только три месяца.

— А директор?

— Он опоздал на работу на полчаса.

Корта похлопал себя по карману — на месте ли ключ.

«Я совсем расклеился, — подумал капитан. — Жара...»

Он махнул рукой и направился к двери. Габлер задумчиво глядел вслед своему начальнику.

«Почему он вдруг заинтересовался предварительным следствием? — размышлял Габлер. — Ведь дело похоже на десяток таких же других».

— Позовите вторую продавщицу, — сказал он сержанту, сидящему в углу комнаты. — Директора мы выслушаем последним. Он вряд ли добавит что-либо новое.

— Там еще три прохожих с улицы, — сказал сержант Кирилко. — Будем их сегодня слушать?

Поручик Габлер взглянул на часы.

«Нужно зайти еще в отдел криминалистики, — подумал он. — Но лучше, если люди поделятся свежими впечатлениями. Потом они начинают приукрашать. Факты обрастают подробностями, придуманными детективами-любителями».

— Будем, — ответил он сержанту.

ГЛАВА 2

Он проснулся, задыхаясь от страха, обливаясь потом. Даже ступни ног повлажнели. Огляделся. Ему показалось, что, пока

он спал, в комнату кто-то вошел и теперь ждет, притаившись в углу.

«Зачем я вернулся сюда? — промелькнуло в голове. — Какой идиотизм! Нужно было сразу поехать в Калиш, к моим старикам».

Он понимал, что в родительском доме будет чувствовать себя еще отчужденнее, чем в любом другом месте. Совершенное им преступление уже отгородило его от людей нерушимой, прочной стеной. Он может существовать только сам по себе.

Анджей торопился, стараясь, однако, не надеть впопыхах что-либо из вчерашнего. Побежал со Львовской к газетному киоску, купил «Трибуна люду» и «Жице Варшавы». Ветер рвал из рук листы развернутой газеты. Анджей сражался с бумагой, пробегая глазами строчки колонок.

«Нет», — облегченно вздохнул он и сунул газеты под мышку. Здесь, на улице, ему было получше, чем в четырех стенах. Но чувство отчуждения, изоляции от всего мира не оставляло его и в толпе прохожих. Анджея будто посадили в стеклянный, плотно прилегающий к телу футляр, такой прозрачный, что не мешал видеть окружающее и получать какие-то впечатления, а все, что происходило с ним внутри футляра, не могло вырваться наружу.

«Отчуждение, изоляция, — подумал он, бодрясь. — Все это лишь модная терминология. Я чувствую отъединенность от людей из-за убийства. До сих пор со мной не случалось резких психологических отклонений, так свойственных атомному веку. Ненормальный парень на танцах в студенческом клубе. Я бы мог поговорить со Зденеком. Но теперь я уже ни с кем не поговорю откровенно».

Он прошел довольно большое расстояние, размышляя в таком духе, как вдруг сообразил, что кружит по аллеям подобно тому, как за день до нападения на ювелирный магазин.

«Что мне делать?» — растерянно подумал он и с удивлением обнаружил, что не находит ответа. Обычно у него ежедневно находились дела. И вот... Сейчас ему не с кем встречаться. Он даже не вспомнил о Катарине. Он повис в пустоте. Шел без цели. Эта прогулка вела его в никуда.

«Боже мой, ничего путного не приходит в голову. Какой кошмар!»

Он ощутил сверток газет под мышкой, повел по сторонам безумным взглядом. Шаги стали нервными.

«Возможно, я плохо просмотрел газеты?» — мелькнуло в голове. Он поспешно подошел к ближайшей скамейке, сел и стал внимательно изучать газеты. Прочел все, вплоть до редакционных адресов. Ничего особенного. Перевел дух. Ему захотелось пообедать во «Взоровом». Ресторан помещался на углу Пулавской и Рейтана, рядом с ювелирным магазином. Сердце сжалось, когда он представил себя в этом ресторане за столиком. Тоскливо оглядел пустые скамейки аллеи. Домой возвращаться не хотелось. Теперь он опасался и своего жилья.

«Меня ищут. Милиция ищет по городу, — вдруг подумал он абсолютно хладнокровно. — Ни одна полиция мира не простит убийства своего сотрудника. Надо срочно бежать из Варшавы».

Решение было принято. Он немного успокоился. Наконец у него появилась какая-то цель. Он знал, что делать. Уехать! Как можно быстрее...

«Вокзалы наверняка под наблюдением, — машинально отметил он. — Надо перехитрить милицию...»

Когда вчера он вышел от парикмахера с уверенностью, что будет арестован, и остался свободным, ему стало казаться, что он научился преодолевать свой страх.

«Ничего хуже отныне быть не может», — подумал он с наивностью человека, который еще не нюхал настоящей погони, еще не ощущал петли, стягивающей горло, не чувствовал, как может неумолимо суживаться кольцо.

Минуты, когда бритва парикмахера снимала с его лица последний след щетины, последнюю улику, буквально на глазах прогуливающегося под окнами милиционера, навсегда остались в памяти Анджея. Он тогда сидел не шелохнувшись, только уголком глаза провожая возмездие, неторопливо прогуливающееся взад и вперед в образе обыкновенного участкового милиционера.

Он с облегчением вздохнул, вспомнив, как прошел через страх.

«Это еще не было возмездием. А у меня имеется целое состояние. Куча денег, закопанная в садике Зденека. Я пока свободен... Просто я поддался панике. Нужно собраться и пораскинуть мозгами. Мне все удавалось, пока не встретился с милиционером на Хожей... Не осталось ни одной пули в обойме, — подсказал ему рассудок. — Нужно достать где-нибудь запасную».

А милиционер погулял тогда под окнами и отправился куда-то по своим делам. И у Анджея появилась надежда, что не каждый встречный милиционер должен обязательно арестовать его. Большинство из них занимаются другими, будничными делами.

ГЛАВА 3

Капитан Корта свернул с Раковецкой на Пулавскую улицу. На перекрестке он задержался. Можно было сесть в трамвай или автобус, но капитан любил прогуляться утром перед работой. Вечерние прогулки удавались редко — в городе у него обычно и после работы находились дела. Считалось, что его служба кончается в четыре часа дня. На самом деле в это время он никогда не уходил. Да и начиналась его работа неизвестно когда: различные варианты и комбинации поиска, которыми он занимался, преследовали его даже во сне.

«Этот тип выскочил из первого и второго кольца, — размышлял Корта, задумчиво глядя на красный глаз светофора. — Скорей всего он находится сейчас где-нибудь в Прушкове, или Фаленице, или черт знает в каком таком местечке. Но не исключено, что он не покидал город и сидит где-нибудь в своей комнате через две улицы от меня. Если еще не сбежал, то попадется обязательно...»

Сразу же после ограбления магазина Центральным управ-

лением был отдан приказ расставить усиленные патрули на перекрестках в центре города, возле мостов и выездов на шоссе. Патрульные стряды в радиомашинах неустанно колесили по городу, но ничего подозрительного не заметили. На второй день наряды милиции уже кружили на маленьких станциях пригородных поселков. Но опять это не дало никакого результата.

«Проскочил, — пришел к выводу Корта. — На этот раз он проскочил сквозь сети».

Капитан шел не торопясь и все думал о «хирурге», как окрестил он преступника после того, как Габлер передал ему слова продавщицы о руках грабителя. Наметанным профессиональным взглядом оглядел Корта женщину с большим пучком салата, стоявшую возле серого дома. Опершись на цоколь и наклонившись, женщина торопливо заворачивала в рваную газету товар, повернувшись спиной к прохожим.

«Где милиционер? — машинально подумал он. — Черт знает что за привычка. Не могу ходить по улицам как обыкновенный человек. Мелкие спекулянты — не моя сфера деятельности».

Он прошел мимо перекупщицы. Торговка сразу смекнула, что со стороны капитана ей не угрожает никакая опасность. Движения ее стали спокойнее.

«Беда с этими женщинами, — Корта улыбнулся про себя. — Прогонишь их с одной улицы, они переберутся на другую. Только наступит весна, как они появляются в самых людных местах города: редиска, салат, подснежники... С этим, видимо, никогда не справишься...»

В кабинете на письменном столе капитана Корту ожидала стенограмма вчерашнего допроса свидетелей. Отпечатанные на машинке листы аккуратно зажаты скрепкой — Габлер был внимательным и педантичным человеком.

«Очень хорошее качество в нашей работе», — невольно отметил Корта. Именно эти черты характера Габлера склонили капитана сделать его своим ближайшим помощником, своей правой рукой. На Габлера можно положиться.

В стенограмме не было показаний раненого милиционера. Корта снял трубку, набрал номер военного госпиталя.

— Еще без сознания, — ответил дежурный врач на вопрос капитана. — Делаем все, что в наших силах, но пострадавший буквально изрешечен пулями. Большая потеря крови. Мы сделали уже два переливания.

— Будет ли он жить? — спросил Корта.

— Шансы выжить есть у каждого до самой смерти, — заметил врач.

— Ясно, — коротко ответил Корта, — но меня прежде всего интересует, придет ли раненый в сознание и сможет ли дать показания. Это очень нужно.

— А нам нужно, чтобы его сердце хотя бы на четверть часа перестало скакать так, как оно скачет со вчерашнего дня, — хмуро возразил врач.

— Может быть, завтра?.. — мягко спросил Корта.

— Не уверен, капитан... Не могу сказать ничего определенного, — устало ответил врач.

Корта положил трубку.

«Ну вот, — подумал он. — С этой стороны ожидать новостей не приходится. Ни завтра, ни послезавтра. Почитаем-ка внимательно стенограмму да подумаем...»

Он вынул из папки с делом «хирурга» список награбленных ценностей. Четыре машинописные страницы. Корта чуть не подскочил в кресле.

«Ничего себе! Несколько сот тысяч. Однако этот тип не выглядит дилетантом... Правда, специалист во время такой работы обязательно надел бы перчатки. И конечно, не применил трюк с «тайной организацией». Специалист вел бы себя спокойнее. Не выпустил бы всю обойму без крайней надобности. Показания свидетелей убедительно говорят о том, что ограбление и убийство — дело рук одного человека. Это он, тот, кого я назвал «хирургом».

— Габлер, дайте сообщение в прессу, — сказал капитан громко. — «Убийство работника милиции при исполнении служебных обязанностей!»

— Есть, — ответил тот.

Корта снова сел к окну.

«Погоди, птенчик, — подумал он. — Тебе кажется, что ты убил. Это вполне определенно, потому что ты ведь и представить себе не можешь, что кто-то может еще дышать после того, как всадили целую обойму пуль в его грудную клетку... Я тебя потороплю. Ты начнешь действовать. А взволнованный человек всегда совершает ошибки. Ты будешь действовать панически. Кто-то ведь видел тебя после выстрелов... И когда ты уже убегал, — холодно подумал он. — Не может быть, что мы собрали буквально все показания свидетелей ограбления и попытки убийства. Обязательно появятся новые свидетели!»

Он соединился с отделом криминалистики.

— Лобода слушает, — раздалось в трубке.

— Есть у тебя что-нибудь интересное? — спросил Корта.

— Из ювелирного.

— Маловато, — буркнул капитан недовольно.

Корта знал, что Лобода жалеет даром потраченное время и словно бы стыдится, что преступник не оставил приличных следов. Таких следов, за которые можно было вытянуть все дело и распутать на манер клубка, когда ухватишь нужную нитку. Лобода не признавал старомодных дедуктивных методов. Для него существовали только улики, добытые современным научным способом.

— Что же ты узнал в магазине? — повторил Корта.

— Черт возьми! Я провел в магазине битых два часа, — пожаловался криминалист. — И ничего. На «чеке» имеются отпечатки пальцев, но очень неотчетливые. Почти ничего нельзя разобрать.

— А оружие?

— Военный пистолет марки ТТ. Калибр 7,62.

«Это уже кое-что, — отметил Корта. — Военный пистолет можно достать только у военного».

— Были ли в последние дни заявления о краже оружия? — спросил он у Габлера.

— Нет, — коротко ответил тот.

«Тогда будут, — подумал Корта. — Если только у преступника не было сообщника с оружием».

Капитан аккуратно сложил в ровную стопку листки стенограммы допроса продавщиц и прохожих, присовокупил к ней план магазина и зарисовку места, где произошло покушение на милиционера. Задумался.

«Если нельзя действовать, нужно ждать. Больше пока нам ничто не поможет. Нужно ждать. Возможно, какой-нибудь милиционер схватит во время облавы подозрительного типа, похожего на описанного продавщицами... Только нам вряд ли пригодится описание его внешности. Наверняка он сейчас выглядит иначе. А сообщения о том, во что и как он был одет, вообще мало значат. В подобных случаях не всегда приходится ожидать счастливой случайности, удачной мысли или оплошности со стороны преступника».

Перевела с польского И. Смирнитская

Продолжение следует

Евгений ФЕДОРОВСКИЙ

ЛЮДИ КРЫЛАТОГО КРАЯ

Это началось сорок лет назад.

В одном из майских номеров газеты «Красноярский рабочий» 1931 года появилось сообщение: «Из Москвы получена правительственная телеграмма. На Енисее будет строиться электростанция. Красноярское географическое общество начинает изыскательские работы. Призываем красноярцев оказать энтузиастам посильную помощь».

Заметка вызвала бурю восторга, потому что в это время электроэнергией город снабжала маломощная теплостанция, которая работала чуть ли не с первых лет изобретения электричества. Лампочки горели далеко не во всех квартирах, да и то от семи вечера до полуночи. Иногда энергии не хватало мастерским и заводам. Тогда свет от жилых кварталов отключали, и люди зажигали надежную керосиновую лампу, припасенную для такого случая.

Изыскательские работы обязывались выполнить любители, имеющие определенные знания в топографии, гидрологии, географии, геологии и других науках. Потомственный таежник Игнат Суриков ничего этого не знал. Всю жизнь он ходил по тайге, помнил заповедные тропы, реки, распадки и горы. И добывал зверя, и накрепко запоминал приметы просторной тайги.

Он начинал познавать свое охотничье ремесло, когда Сибирь была совсем еще не освоена, когда Красноярск стягивал к себе денежные силы края и горожан не удивляли чудовищные кутежи купцов. Суриков был свидетелем сказочной быстроты потери и наживы громадных состояний. Словом, всего навидался Игнат Суриков, а своего промысла не бросал. Добывал в тайге зверя, сдавал пушнину государству, но в тот май 1931 года он повернул жизнь на все сто восемьдесят градусов. Огромный, набыченный появился Игнат в битком набитой комнате Красноярского гео-

графического общества, протиснулся к столу председателя, важно расправил бороду и громогласно объявил:

— Ноне в тайгу подаюсь. Соболевать буду. Сколько набью, все в казну отдам на строительство электростанции. В том моя клятва, и других на то зову!

Шуму в комнате прибавилось, кто-то зааплодировал. Председатель общества крепко пожал конопатые руки Игната и сказал:

— Спасибо, товарищ Суриков, дорогой ты наш человек! История тебе это зачтет. Только...

Все сразу смолкли, ожидая, чем же удивит председатель.

— ...Только не в соболях сейчас гвоздь, — коротко рубанул рукой председатель.

— Эт... эт как понять? — прошептал ошарашенный Игнат.

— Да, товарищи, не в соболе корень, — уже обращаясь ко всем, громче проговорил председатель. — Конечно, соболь вещь валютная и, я бы сказал, до чрезвычайности нужная нашему государству. За бумажные червонцы капиталисты нам станки не продают. И все же первоочередная наша задача сейчас — не пушнина. И вот почему...

Председатель обернулся к карте, которая висела за его спиной. С юга до Ледовитого океана почти по меридиану вытянулась широкая лента Енисея, соединяющая просторы огромного края.

— Велика река, — сказал председатель. — Такую перегородить да на себя работать заставить — ой-ой сколько сил убить надо... Да и денег. Может, не мы, а дети наши смогут сделать такое. Но, допустим, мы перекроем Енисей, станция заработает. Огромная. Ни в Европе, ни в Америке таких нет. А куда всю энергию девать? Городу и сотой доли не понадобится. Стало быть, нужен мощный энергопотребитель...

— Ты, паря, поясней выражайся, — попросил Суриков.

— Это такое производство, которому требуется много электроэнергии. Алюминиевое, — проговорил председатель и снова повысил голос. — Страна задыхается от алюминиевой голодухи! Алюминий — это самолеты, это главный металл нашего века! Сырье алюминия — бокситы. Если у нас в крае мы их найдем, на строительство электростанции и завода государство выделит средства. Бокситы — вот что нам надо искать. Они, дорогой товарищ Суриков, сейчас дороже любой пушнины...

Энтузиазма красноярским географам не занимать. В короткий срок под руководством геологов десятки любителей-краеведов изучили свойства этого алюминиевого сырья, признаки, по которым можно наткнуться на бокситы. Занятия посещал даже Суриков.

С этого и началась великая эпопея красноярского алюминия — крылатого металла века.

В то время когда красноярские энтузиасты начали изыскательские работы по определению места будущей электростанции, а другие отряды отправились на поиски бокситов, алюминий был особенно нужен для развивающейся советской авиационной промышленности.

Тысячи километров обследовали они, с каждой весной подключая к себе новые и новые отряды. Они помогли составить обстоятельную геологическую карту, открыли немало полезных ископаемых — и железную руду, и золото, и уголь, и редкие

металлы, — только бокситов не нашли... Позднее к ним подключили геологов-поисковиков, мастеров своего дела, но их тоже постигла неудача. Суриков, кто видел землю насквозь, и тот отчаялся.

Бокситов в крае не было.

Несколько лет подряд сюда приезжал профессор Томского университета Иван Кузьмич Баженов. Однажды ученый обратил внимание на невзрачный, ничем не примечательный камень — нефелиновый сиенит. Его принесли следопыты. Профессор знал, что на Волховском заводе проводили опыты по добыче алюминия из подобного камня. Он организовал небольшую экспедицию в тайгу, под Ачинск, откуда следопыты брали пробы. Оказалось, что здесь нефелина столько, что трудно даже подсчитать запасы.

С оказией профессор отправил руду на анализ своему коллеге А. П. Бунтину и стал с нетерпением ждать ответа. А терзающих вопросов было много. Какова химическая структура красноярского нефелина? Сколько можно добыть из него глинозема при обогащении? Сколько получить чистого алюминия?..

Зимой, когда вздрагивали от лютого мороза деревянные дома, когда белые дымы из печей вставали столбами, подпирая белесое сибирское небо, пришел наконец ответ. Мелким бисером Бунтин приставлял слово к слову, и поначалу его письмо трудно было разобрать. Но когда, пробежав глазами один раз, Иван Кузьмич стал читать снова, сердце сжалось от радости.

«Дорогой коллега!

Из присланной вами пробы мне удалось извлечь несколько килограммов глинозема, из которого в лаборатории получили первосортный алюминий. Причем с удовольствием сообщаю также, что ваши нефелины содержат не только глинозем, но и цементные продукты, а также соду, поташ. Все это весьма выгодно и перспективно для нашей промышленности, как алюминиевой, так и строительной, и в особенности стекольной. Поташ, право, богатейший, из него будет чудесный хрусталь. Короче говоря, волховцы начали новую эру алюминия, и вы правильно делаете, что немедля подхватили это начинание.

Сейчас, когда найдено новое сырье для алюминия, красноярцам не рационально тратить второй десяток лет на поиски бокситов. Их может и не оказаться в Красноярском крае, или окажутся в других местах, на освоение которых потребуются многие годы.

Вы мне ничего не писали относительно запасов нефелинов. Полагаю, если у вас их достаточно, то Красноярский край станет краем алюминия, такого алюминия, который удовлетворит потребности всех сибирских и дальневосточных заводов. Эти камни дадут нашей промышленности такие же крылья, какие давали и дают бокситы.

Желаю успехов.

С глубоким уважением профессор Бунтин».

Сразу же Баженов написал ответ:

«Очень признателен вам, профессор. Я беспокоился, ожидая вашего письма, боялся, как бы не рухнули все мои расчеты. Теперь благодаря вам я спокоен. На лучшие результаты опыта надеяться было невозможно. С настоящим алюминием в руках я смогу доказывать необходимость использования наших нефели-

нов. И ваши слова пророческие, когда вы говорите, что Красноярский край станет краем алюминия...

Жду вашу посылку с нашим алюминием. Покажу в крайкоме и организую новую экспедицию. Пожелайте мне доброго пути».

Это было в 1940 году. А потом началась война... Потом страна залечивала тяжелые раны... Потом принялась за стройку нового.

Секретарь комитета ВЛКСМ треста «Красноярскалюминстрой» Ася Денисенко, курносенькая, кареглазая, с живыми, широко открытыми глазами, с короткой стрижкой черных волос, чем-то напоминает комсомолку 20-х или 30-х годов. Она деловита и энергична. Энергия бьет через край, заряжая других, начиняя запасом напористости, бодрости, лихости. Красноярский алюминиевый завод — огромная строительная площадка — ежечасно, ежеминутно требует ее непосредственного вмешательства, и она требует, уговаривает, настаивает, добивается своего. Стройка — это не место ее службы. Это ее жизнь.

Сюда она, комсомольский секретарь минусинской средней школы, приехала вместе с подругами-выпускницами. Здесь девчата стали жить коммуной в двух комнатах общежития, вместе питались, вместе работали, вместе учились в учебном комбинате арматурному делу, постигая сложности обращения с бетоном, чтения чертежей, вязки арматуры. Единственная просьба была у них к руководству: не разлучать, работать одной бригадой. И они работали.

Был у всех одиннадцати такой уговор: кто поступит учиться и оставит стройку — никаких претензий. Когда Томский инженерно-строительный институт, учебно-консультационный пункт которого был организован при стройке, объявил набор, все девушки устремились туда. Кто поступил, кто нет. Учились потом на дневном, на вечернем, на заочном отделениях.

Только Ася учиться на строителя не захотела. «Зачем себя обманывать, все равно ушла бы...» Она закончила педагогический институт, поработала в школе, но потом, однако, вернулась на стройку, на комсомольскую работу. И здесь нашла свое призвание.

— Вы будете записывать или так запомните? — спросила она в перерыве между телефонными звонками. — Так вот...

Ровным, чуть позванивающим голосом она стала рассказывать об истории стройки, о дальнейшей судьбе красноярского алюминия.

Сначала сказала о гидростанции, которая сорок лет назад так взволновала красноярцев...

Красноярская ГЭС строилась трудно, потому что людям, и молодым, и тем, кто на этом деле пуд соли съел, впервые пришлось столкнуться с поистине дьявольским нравом, коварством, неизмеримым напором дикой реки. Днепр, Волга и Обь по сравнению с Енисеем были всего лишь смирными овечками.

И все же люди победили Енисей, бросили его воды на лопатки турбин, заставили работать.

Тогда-то и пришла пора браться за строительство алюминиевого завода. Он был спроектирован с поистине сибирским размахом.

Как раз к этому времени продолжатели дела Ивана Кузьмича Баженова разведали новые месторождения сырья, начали строительство Ачинского глиноземного комбината — будущего основного

поставщика алюминиевого завода. Образовался, одним словом, замкнутый цикл: энергия Красноярской ГЭС — Ачинский глинозем — алюминий Красноярского алюминиевого завода, ради краткости названного КрАЗом.

План был тщательно выверен и утвержден. Дело встало за «малым» — где взять людей для такого грандиозного дела? Всюду что-то строилось, и везде требовались рабочие руки. Оргнабор мог дать сотню-другую. А требовались тысячи. По своему размаху строительство КрАЗа можно было сравнить лишь с легендарной Магниткой, на созидателей которой равнялись поколения 30, 40 и 50-х годов.

И тогда Центральный Комитет ВЛКСМ обратился к воинской комсомолии, к тем, кто заканчивал службу. На призыв сразу же откликнулись пограничники. 28 марта 1960 года по комсомольским путевкам прибыли первые две тысячи уволенных в запас воинов.

Они-то и положили начало великолепной традиции. Над строительством КрАЗа взяли шефство все восемь пограничных округов страны. Стройку назвали «Девятым запасным». Сюда ежегодно начали приезжать демобилизованные воины. Они «оккупировали» КрАЗ настолько прочно, что весь район Зеленой Рощи и поселка Индустриального, где живут строители, а также территория под будущие цехи площадью с добрый десяток квадратных километров превратились в некое подобие обширного военного поселения. Кинотеатр назвали «Пограничником». Центральную улицу — «Пограничной». В День пограничника, 28 мая, людей в зеленых фуражках и гимнастерках всегда больше, чем в штатском. Над каждым управлением треста «Красноярскалюминстрой» шефствует какой-нибудь округ. Лучшие рабочие награждаются грамотами и значками «Отличник погранвойск» 1-й и 2-й степени. Передовой бригаде присуждается знамя Пограничной славы, когда-то посланное воинами с Украины.

Бывшие пограничники приобретали на строительстве специальность, учились, становились бригадирами, мастерами, прорабами, начальниками управлений, руководителями ведущих отделов треста. Они накрепко связывали себя с Сибирью, которую они создавали и которая создавала их самих. А для их детей Сибирь была уже не второй, а первой родиной, и не знали они другой земли и другого неба, кроме земли и неба Сибири.

В 1963 году стройка становится Всесоюзной ударной комсомольской и к строительству КрАЗа приковывается внимание всей страны.

А на месте металлургического завода, дочернего предприятия КрАЗа, обросшего сейчас стальными каркасами, был тогда обширный зеленый луг.

Андрей Борисович Погорелый, секретарь партийной организации строительно-монтажного управления-49, привык к журналистам. Но всякий раз в разговоре с ними он находил новые подробности, вспоминал то, о чем еще не рассказывал и что, на его взгляд, сейчас казалось важным. Слова выходили у Андрея какие-то особенно хорошие, и сам он светлел от них. Улыбающийся, сероглазый, со вздыбленным вихром русых волос, Андрей был в числе тех первых двух тысяч пограничников, что приехали в 1960 году.

— Да, тогда был луг, — оживляется он при воспоминаниях. — Знаете, идешь, а заяц из-под ног — фр-р-р... Думаешь, неужели

здесь когда-нибудь будет завод?! Не верилось. Не укладывалось, что положишь здесь свой первый кирпич. А сейчас посмотрите!

Он бросает карандаш, который вертел в руках, и подскакивает к окну:

— Чертову дюжину лет уже живем здесь. А вначале, правда, мы еще ничего не умели...

Да, у них, у первых строителей, тогда не было рабочих профессий. И если демобилизованные воины овладевали специальностями в учебном комбинате, то труднее было с командными кадрами. Стройке требовались сотни специалистов, организаторов производства. И тогда руководство треста и управлений провело знаменательный эксперимент: объявило конкурс на лучшего бригадира, мастера, прораба. Кандидаты подавали заявления, заполняли специальную анкету, формулировали свою программу производственных, общественных, бытовых мероприятий. Обсуждали каждого, голосовали и решали, может данный претендент быть руководителем или нет...

Через такой конкурс прошел и Юрий Георгиевич Лосев, который на стройке окончил вечернюю школу, институт, работал бригадиром, мастером, начальником отдела производственно-технической комплектации, начальником строительно-монтажного управления-21, а сейчас замещает заведующего отделом строительства в крайкоме КПСС; Николай Николаевич Попов, начальник комсомольско-молодежного СУ-49, тоже бывший пограничник, закончил здесь школу рабочей молодежи, потом Томский инженерно-строительный институт, прошел все «бугорки» от рабочего до начальника производственного отдела треста; и Арнольд Семенович Бурый, заместитель начальника управления по строительству; и Владимир Иванович Кузнецов, нынешний заместитель председателя исполкома Советского района; и сотни других руководителей, начавших писать свою трудовую биографию на стройке КрАЗа.

Из двух тысяч первого приезда образовался крепкий рабочий костяк, который определил в будущем весь ход и успехи стройки. Уходили на повышение одни, приезжали другие. Постепенно на пустыре, развороченном экскаваторами и бульдозерами, стали подниматься корпуса. Цех за цехом — каждый больше полукилометра в длину, высотой с девятиэтажный дом.

— Народ у нас подобрался один к одному, — Андрей быстро встал и накинул на плечи старенькое пальтецо. — Пойдемте к ним. Познакомлю... Хотя бы с Николаем Еременко. Бригадир. Член бюро крайкома комсомола. Член краевого НТО, член народного контроля управления... Говорят, человек озаряет те места, где он живет. Так это к нему подходит.

По дороге Андрей рассказал, что монтажники управления обязались сдавать объекты на месяц раньше срока. И сдают.

Кто знаком со строительным делом, сможет оценить этот подвиг. А первой совершила его бригада монтажников Николая Еременко.

Мы карабкаемся по завалам мокрой глинистой земли, вывороченной из ям. Дорога избита колесами тяжелых грузовиков и гусеницами тракторов. Сверху — серенькое плаксивое небо. Справа — темного цвета коробки уже действующих цехов. Слева — вагончики-времянки. Здесь строители отдыхают, проводят планерки, отогреваются в морозные дни. Дальше горбятся краны, нагнувшие тонкие шеи над ажурной клетью железобетонных и стальных

каркасов. Это будущие цехи. К четырнадцати готовым прибавится столько же новых.

В одном из вагончиков — хозяйство Еременко. Видно, бригадир любит чистоту: пол выметен, на стенах лозунги, свежий листок «молнии», на столе пустая пепельница, инструмент — в специальном ящике.

Появляется бригадир в брезентовой спецовке и резиновых сапогах. Николай невысок ростом. Взгляд глубоко запавших зеленоватых глаз внимательный, оценивающий.

Он родился в сороковом году на Сумщине, недалеко от городка Шостка, где во времена Петра I делали порох. В Шостке он закончил школу, отсюда же ушел в армию. Служил в Закавказском пограничном округе, был вожатым розыскных собак. Он знал, что далеко в Сибири, в Красноярске, демобилизованные пограничники строят алюминиевый завод и туда собираются несколько ребят из их отряда. Когда окончилась служба, он поехал вместе с ними.

Начинал плотником в бригаде Анатолия Токаря, а вечерами занимался в учебном комбинате. В то время строился еще первый корпус. Вскоре потребовались монтажники, и Николай выучился на монтажника.

Строительство расширялось, приобретался опыт. Одну бригаду решили разбить на три, а бригадирами назначить тех, кто победит в конкурсе. Ими стали Анатолий Леоненков, Владимир Маматов и Николай Еременко.

С самого начала бригады стали соревноваться между собой. Темпы, экономия, качество — вот что было поставлено в центр внимания бригад и оценки результатов трудового состязания.

Еременко, начиная рассказывать о своей работе бригадира, загибал пальцы:

— Считаю своей обязанностью хорошо работать самому и требовать того же от других — раз. Настаивать, чтобы все повышали свой профессиональный уровень, иначе будем разговаривать на разных языках, — два. Постоянно контролировать качество — три. Интересоваться жизнью ребят. У нас все комсомольцы. Я коммунист. Мне можно не ходить на их собрания. Но я не пропускаю ни одного — четыре... Заботиться о людях. Все ли обеспечены спецодеждой, нормальны ли жилищные условия, может, кому надо ребенка определить в детсад — пять... Следить, чтобы отдыхали по-человечески, — шесть... Если, скажем, выезжаем в лес или на Енисей бригадой, понятно, все едем. А если управлением, то постараться обеспечить стопроцентную явку. А потом в школу или техникум сходить, спросить, кто как учится, — это семь...

У него не хватило пальцев. Сосчитать обязанности бригадира, которые сам для себя сформулировал Николай, оказалось просто невозможным. Он разжал пальцы и закончил:

— В общем, надо жить как хорошая большая семья. Двадцать два брата, и друг за друга в ответе и заступе. А бригадир в первую голову.

Таких дней в длинном строю будней было немало.

Дикие морозы согнали со строительных площадок всех людей. Эти дни называли «актированными». Составлялся акт на виновницу-погоду, и рабочие сидели дома.

График трещал по всем швам.

Бригаде Еременко надо было подвести фундаменты под элек-

тролизеры, которые устанавливались на четырехметровой высоте. Потом на них настилались бетонные плиты полов и накладывался асфальт. От этой работы зависела сдача в срок корпуса.

Сделать это надо было за субботу и воскресенье.

Николай не любил говорить длинно, его привыкли понимать с полуслова.

— Ребята, завтра надо поработать, — сказал он, переводя взгляд с одного на другого.

— Так ведь мороз! — Виктор Березкин махнул рукой в сторону оконца, обметанного толстым слоем льда.

— Надо сдать корпус в срок...

— И верно, — поддержал бригадира Владимир Требин. — Сами же говорили: «Сдадим, сдадим...»

— Неволить не буду... Кто может — выйдет...

Николай уже заранее знал, кто пойдет с ним завтра.

«Не откажется, конечно, Володя Требин. С ним вместе ехали сюда, жили в одной комнате в общежитии. Правда, однажды уезжал он на Донбасс, на родину потянуло, но потом все-таки вернулся на Енисей. Тесновато показалось ему там по сравнению с Сибирью.

Коля Годунов тоже пойдет. А за ним и Саша Устинченко, и Слава Маслеев, и Вася Гризодубов, и... Хватит. Требуется всего десять человек. Пять будут работать в субботу. Пять — в воскресенье».

— Так кто же хочет работать завтра?

Оказалось, что все решили выйти на работу...

В субботу мороз, кажется, покрепчал еще больше. С Енисея плыл густой тяжелый туман. Такой тяжелый, что проползет грузовик, а дым из глушителя еще долго лежит на дороге, придавленный этим туманом. К железу нельзя было прикоснуться голой рукой. С тросов подъемника свисал куржак. Снег звонко скрипел под ногами. На лицах белела кожа, и схватывало дыхание.

Ребята работали проворно и сноровисто. Подгонял мороз. Да и вообще они так работали всегда. Никто не отлынивал, каждый старался опередить товарища. Они действительно сроднились настолько крепко, что не представляли работы вне бригады. Слава Маслеев и Вася Гризодубов, к примеру, уходили в армию и, отслужив, вернулись в эту же бригаду.

Они работали две смены в субботу и две смены в воскресенье. Новый корпус был сдан в срок. Вернее, на месяц раньше срока, запланированного в управлении. В срок — это по их личным планам, по их обязательствам.

...1973-й, решающий год пятилетки был объявлен ударным. Комсомольцы стройки обязались план монтажных работ выполнить 25 декабря. Бригада Еременко — 1 декабря. А к этой бригаде подтягиваются и остальные. Потому что настоящий рабочий человек не просто шагает в строю. Он ведет строй. Так уж повелось в нашей жизни.

Никифор Дмитриевич Мясников, управляющий трестом, — Герой Социалистического Труда. Он много повидал на своем веку. Уроженец тихого Дона, он полюбил Сибирь. Работал в Забайкалье, строил текстильный комбинат в Канске, возводил жилые и общественные здания в Красноярске. Обычно его назначали туда, где было трудно, где серьезно отставали. Он налаживал работу, спла-

чивал коллектив и снова уезжал на отстающую стройку. Случалось, что вместе с ним кочевали, «ездили за Мясниковым» и рабочие.

Никифор Дмитриевич в спаянном коллективе, в воспитании молодого человека видит главную суть резерва производства. И в том, что стремление к знаниям стало важнейшей социальной потребностью в среде молодежи КрАЗа, есть большая заслуга и Мясникова. Рассказывая о делах комсомольцев-строителей, Никифор Дмитриевич нет-нет да и подчеркивал: этот учится там-то, этот закончил то-то, и неожиданно спрашивал сам себя: «А как же иначе?» То, что каждый второй молодой строитель учится, — это для него само собой разумеющееся. Чтобы находить новые пути в повышении производительности труда, улучшать те конструкции и машины, к которым уже давно привыкли, надо много знать и уметь.

На стройке сложились различные формы профессионально-технической учебы. Это и школы передового опыта, и обучение вторым профессиям, и различные курсы целевого направления. Здесь есть строительный техникум. Тесную связь со стройкой держит Томский инженерно-строительный институт, где учится много молодых рабочих Красноярского алюминиевого завода. И дело не в том, что они стремятся стать инженерами или техниками, «выбиться в руководители». Все понимают, что при любом развитии научно-технического прогресса все равно останется физический труд. Конечно, он будет легче, он будет сочетаться с элементами умственного труда, причем труд сознательного, высокообразованного рабочего потребует умственного напряжения не меньше, чем у технического интеллигента. Они и не стараются «переучиваться» на инженера, а просто хотят подтянуться до уровня инженера, чтобы легче разбираться в своем деле.

Приход на стройку грамотной молодежи повысил общую культуру производства, способствовал массовому движению за овладение профессиональным мастерством.

Когда солнце скрывается за высоким берегом Енисея, на Красноярском алюминиевом заводе рождается зарево: светятся уже работающие цехи завода. Здесь в своей горячей колыбели рождается крылатый металл века, весомое подспорье страны, величайшей алюминиевой державы.

Строй высоковольтных опор от Красноярской ГЭС упирается в завод. Это воплощенная в жизнь мечта профессора Баженова и его продолжателей... Ведь для того чтобы получить всего одну тонну алюминия, нужно израсходовать 18 тысяч киловатт-часов электроэнергии. Такое под силу только людям наших дней.

И станцию на могучем Енисее, и громадный алюминиевый завод увидят будущие века. Бетон живет дольше, чем люди. Но именно люди дают бессмертие всему, чего коснутся их руки.

Юрий ТЕПЛЯКОВ

И ДЛЯ МЕНЯ БУДЕТ СНЕГ В СЕНТЯБРЕ...

В белой, до краев заваленной снегом долине стоят оранжевые домики. Рядом с сопками они кажутся совсем крошечными. Отсюда до Тихого океана шестьсот километров, до Ледовитого — тысячи две будет. И пока не растает снег, к нам можно добраться разве только вертолетом. Мы — это старательская артель. Пять бульдозеров и двадцать три парня, отшагавших по жизни уже не одну дорогу.

Домик мой чем-то напоминает комнату театрального администратора. Стены — как рекламные щиты, только несколько другого содержания, они обшиты досками от ящиков, в которых когда-то привозили сюда фрукты и овощи. На потолке яркими буквами — «Апельсины, Испания», «Експедитор, булет. София. Томаты». На стенах — золотистые лимоны, тут же чья-то фирма предлагает виноград. Я закрываю глаза и слышу настоящие запахи раздавленных апельсиновых корочек. Не дом, а пытка. Особенно по утрам. Высунешь нос из-под одеяла, смотришь на эти субтропики, подернутые инеем, и не вдруг решишься вылезти.

А по вечерам я думаю лишь об одном: скорей бы пролетел и этот день, скорей бы вообще прошло время.

— Ты время не считай. Ты его просто забудь, — советует мне сосед по домику Герман, когда я склоняюсь у стола над своей записной книжкой.

Что ж, мудрый совет. Да Герман и сам парень что надо! Только такие люди, как он, могут везти самолетом из Воронежа на Колыму мешок русского чернозема в подарок своей жене, чтоб ко дню ее рождения цветы выросли.

Я до сих пор улыбаюсь, вспоминая, как он меня убеждал:

— На колымской почве, понимаешь, не растут. Стылая она совсем, все нутро у нее вымерзло, а в воронежской и зимой можно руки греть.

И неожиданно спрашивал:

— А ты землю-то пахал? Нет? Многое, брат, потерял.

Я начал это понимать, когда мы вместе с ним на самом дальнем ручье рубили новый дом. На сто километров ни души. А тут еще такая пурга: руки протянешь — ладоней не видать. Лежишь в избушке и слышишь, как ветер гуляет по долине, шумит в лиственницах. Мы лежали день, два, а потом начали рубить и в пургу.

Дом строили почти вслепую, а получилось вроде ничего. И когда пришло первое тихое утро, показалось, будто мир только что родился. Все кругом чистое, ни единого следа вокруг. Мы лежали на крыше, и у нас кружилась голова от бездонного синего неба и тишины.

Закончили все к десятому мая. Примерно к этому же сроку за нами обещали прислать бульдозер, но прошел день и еще два, а в долине по-прежнему тишина — машину мы бы услышали километров за двадцать.

— Ну что, Володя, потопали? Я знаю, Козел не погонит бульдозер ради нас. Тем более перед самым сезоном. Скажет: гуски надо беречь.

— Что ж, пошли, — ответил я невесело.

Герман это сразу почувствовал.

— Ничего, медведь не съест.

Мы шли десять часов. Во все горло орали песни, а в руке сжимали перочинный нож да бутылку с бензином — вот и все наше оружие. Слава богу, хозяина тайги не встретили! Только, по совести скажу, второй раз в такой путь вряд ли бы отважился.

В поселок пришли поздно вечером. И направились прямо к столовой. В окнах ее горел свет, и только мы отворили дверь, как клубы табачного дыма рванулись нам навстречу. Сперва мы ничего не могли разглядеть, потом, освоившись, увидели: у стола сидят все ребята. В самом центре Рудик Томсон, у которого, я уже знал, дома тысяча книг о шахматах, но сам он так и не продвинулся дальше королевского гамбита. А еще Рудик нежно любил свой бензовоз, который артель купила по случаю.

Он ухаживал за машиной, как за ребенком, мыл даже скаты, хотя ездить приходилось по такой грязи, какую невозможно и представить. Над ним смеялись, но он всегда серьезно отвечал: сразу видно, что ты невоспитанный человек и свои ботинки, наверное, никогда не чистишь.

Да, Рудик у нас оригинал. Обычно вежливый и спокойный, сейчас он рвал струны полысевшей гитары и пел, улыбаясь нам золотыми зубами:

В огороде бузина,
А в Киеве дядька.
Не люблю Бриджит Бардо,
Обожаю Надьку...

И все хором подхватывали:

Не люблю Бриджит Бардо,
Обожаю Надьку...

Песня была местного сочинения, потому что я сразу понял, о ком поют. Надьку знали на прииске все. Ей было лет девятнадцать, и работала она поварихой в столовой, где питалось почти все население Среднекана. Мужики, тертые таежники, от одного лишь Надькиного взгляда краснели, словно школьники, не выучившие урок. Зато женская половина Среднекана при виде девушки становилась белее снега: ревность останавливала кровь. По поводу Надьки даже пытались говорить на профсоюзном собрании. Выступал щербатый хилый мужичонка, которого жена вот уже третью неделю не пускает в столовую.

— Так что ж я, братцы, из-за этой девки помирать должон? Разве моей старухе понять, что возле Надьки обжигались и не такие молодцы.

И все хохотали. Потому что действительно нелепо представить его рядом с красивой Надькой. Но самое смешное, что никого у Надьки не было вообще. До поздней ночи возле ее окон шатались парни, готовые к смерти и к бессмертной славе, но порог комнаты так никто и не перешагнул.

Вот этой-то Надьке и посвящалась песня, которую с таким упоением тянул Рудик.

Наконец он, заметив нас, замолчал.

— А, строители! Честь праце! Ну как там дворец дожей? Стоит?

Мы молчали и еще не знали: обижаться, что за нами не прислали бульдозер, или попросту наброситься на горячую тушенку?

— Ага, понимаю! — засмеялся Рудик. — Соображаете, по какому поводу собрались? Чистая проза! Вчера закончили ремонт. Все бульдозеры как новенькие. Ждут водичку, чтоб начать промывочку. Эх, в огороде бузина! — ударил он по струнам и снова запел про Надьку.

Разговор с нами был окончен, значит, пора приступать к делу. И мы налегли на тушенку.

Для непосвященных скажу, что пьют старатели в исключительных случаях. На время сезона по всем приискам объявляется неписаный сухой закон, который нарушается лишь дважды. Первый раз, когда закончится ремонт техники. На это торжество мы с Германом и попали. И второй — после выполнения годового плана.

В остальное время алкоголь, так сказать, вещь нежелательная. А если кто забудется и нарушит этот закон, потом десять дней работает бесплатно. На смену выходит как и прежде, только в табеле с его же согласия ставится «выходной». Вот почему старатели и смеются:

— У нас дешевле свадьбу сыграть, чем похмелиться.

В разрывах дыма я вижу лицо Димы Михайлова. Он из Минска. Служил здесь, на Севере. А потом остался на годик-другой, поработать до женитьбы. Парень красивый и на редкость спокойный. У него две страсти: бульдозер и футбол.

Рядом с Димой Саша Голомазов. Силач и весельчак. Каждый раз, протягивая ему руку для приветствия, я закрываю глаза, боюсь, что пальцы мои станут похожи на спрессованные финики.

Но, странное дело, он осторожно берет мою ладошку и лишь прикладывается шершавыми мозолями, которые тверды, как столетние наплывы у берез.

Как все гиганты, Сашка добр, застенчив и немного сентиментален. Именно последнее, мне кажется, заставило его прожить на Колыме десять лет и почти забыть родной Краснодар. Правда, об этом я догадался значительно позже, когда он, как мальчишка, признавался мне у костра:

— Ты заметил, что я все в ночные смены прошусь. Понимаешь, странно на меня действуют рассветы. Такое чувство, словно все черное и серое из тебя выходит, и становишься чист, как ребенок.

— Сашка, — спросил я его, — у тебя образование есть?

— Техникум электротехнический.

— Я думал, ты в каком гуманитарном институте учился.

— С чего ты взял?

— Говоришь хорошо.

— Не смейся, я серьезно.

В полночь мы выходим из домика на воздух. Сопки в синих пятнах. Это луна пробивается сквозь тучи, которые ползут на север. Деревья тоже стоят синие, как призраки. Подтаявший снег блестит, словно облитый лаком. А по нему прямо у наших ног бегает и кричит белая куропатка. Ничего не боится, ошалела от весны.

Мы стоим с полчаса, совершенно забыв обо всем, растворившись в этой бесконечной тишине. Мы, наверное, думали об одном и том же. Потому что никому не показалось странным, когда Паша Черкашин сказал:

— И чего люди раньше здесь не жили?

— Ладно, философы. Гляди, а к нам кто-то едет, — прервал Сашка.

Глянули на перевал, по которому шла трасса к прииску, и увидели среди синих пятен две крохотные светлые точки, то исчезавшие, то вновь возникавшие. Это машина кружилась по горной дороге.

Грузовик лихо подкатил к домику и, словно от боли взвизгнув тормозами, замер. Приехал наш председатель.

— Здорово, бесы! — прокряхтел он, вылезая из кабины.

Володю Козлова знала вся Колыма. И было за что.

С восемнадцати лет он бродил по тайге. Сутками, не вылезая из шурфа, мог долбить мерзлые камни, настойчиво добираясь до золотых песков. Шурфы, которые он пробил, иногда достигали тридцати-сорока метров, так что небо снизу казалось величиной с копеечку. О золоте он знал все и даже чуть больше.

К нам в поселок он не показывался уже дней десять. И вдруг такой визит среди ночи. Что-то случилось, коль такая спешка.

— Ты чего, с бабой поругался? — спросил его Сережка Птичкин, парень, которого хлебом не корми, а дай кому-нибудь услужить.

— Какая там баба! Позавчера на прииске парень подорвался. Завтра хоронить будут. Надо от нашей артели человек пять привезти. Директор просил.

Подумал минуту и добавил:

— Вообще-то я видел, как он погиб. Смелый, видать, был. Ха!

Только таких смелых знаешь сколько на погостах лежит? Там одни смелые, им, наверное, даже скучно.

— Брось, Козел, куражиться, — остановил его Черкашин. — Если парня надо проводить, — он замолчал, как бы соображая, что сказать после этого «проводить». И только махнул рукой. — Во сколько поедем?

— С утра. Дорога тяжелая, а ехать, сам знаешь, сто километров. Запаришься!

— Тогда всем спать...

* * *

...Мы подъехали к клубу прииска, где шла гражданская панихида, вовремя. В зале было тесно, пахло свежим оструганным деревом, краской. Огромная толпа стояла у крыльца.

Мы с Германом и Голомазом протиснулись ближе к двери. Поскольку Голомаз был выше нас на две головы, то совершенно не суетились, а просто ждали, что он все увидит и расскажет нам. Но Саша молчал. Только когда оркестр заиграл громче, сказал:

— Гроб подняли.

Все сразу зашевелились, расступаясь и давая дорогу. Через минуту от самого крыльца до улицы образовался живой коридор. Дети стояли впереди, взрослые сзади.

Музыка приближалась. Но люди вдруг стали смотреть не на крыльцо, откуда должна показаться процессия, а на небо: начиналась пурга. Сперва она мягко теплым ветром прошлась по лицам людей, а потом повалил густой пушистый снег. Пурга не была злой, как обычно, с неровными порывами колючего ветра, с мелким и твердым, как соль, снегом. Нет, все было иначе. Хлопья падали почти вертикально, не торопясь, не обгоняя друг друга, тихо и мирно покрывая белым все и всех.

Живая людская лента вытянулась вдоль улицы и двинулась в сторону тайги, где было крохотное приисковое кладбище.

А снег все сыпал и сыпал. И было страшно смотреть на этот красный гроб, запорошенный белым снегом, на непокрытые головы мужчин, которые казались седыми.

На кладбище у открытой могилы кто-то говорил речь, кто-то плакал, но из-за пурги ничего невозможно было разобрать. Потом замолчала и музыка. И все мы бросали в могилу теплую рассыпчатую землю. Всю ночь на кладбище горел костер, чтоб была земля мягкой, без единого комочка, как на родимой Рязани, где под березами в простых русских могилах лежат пращуры погибшего паренька...

Виктору Сизову было двадцать три. Биография проста, как у сотен тысяч других в России. Школа, армия. Пять человек из взвода уехало на Чукотку, на прииск «Ленинградский», строить там дома. Среди них был и Виктор, о котором все говорили: «это тот, что играет на баяне и курносый». Курносым его звали и на строительстве ЛЭП, что шла от Билибина до Зеленого Мыса. А этой осенью пятеро дружков появились на Среднекане. В первых числах июня Виктор должен был уехать на материк в отпуск. Да, видно, не судьба. А впрочем...

Подвиги в мирное время совершают чаще всего из-за чьей-

нибудь глупости или халатности. Что-то не предугадали, не проверили, забыли. И человеку приходится рисковать собой.

Но этот случай, конечно, был самым неожиданным. Недалеко от прииска ребята строили нефтехранилище. Утром под здоровый бугор заложили килограммов триста взрывчатки, иначе его было не взять: чистая скала. Выставили часового, чтоб случайно никто не забрел в опасную зону.

Заряд был огромный, поэтому зажгли сразу несколько шнуров, электромашинка, как назло, что-то барахлила, да и проволока кончилась. В общем, воспользовались шнуром. Зажгли и ушли в укрытие ждать взрыва. Минута, две, сейчас шарахнет! И вдруг — что за чертовщина, как летний снег на голову — из-за свинцовых туч вынырнул вертолет. Он показался так неожиданно, что ребята буквально оцепенели.

Откуда вертолет, чей, кто там? Вернее всего из Сеймчана, пассажирский. Но ведь по расписанию сегодня никаких вертолетов километров на триста не должно быть. Зеленая машина все ниже и ниже, пилот садится почти рядом с зарядом...

Их стояло в укрытии четверо. Все от ужаса даже глаза закрыли, чтоб не видеть, как разнесет вертолет.

— Что же теперь будет? — простонал кто-то.

Вот тут все и решилось. Виктор выскочил из укрытия, на ходу открывая охотничий нож. Он бежал напрямик, прыгая через поваленные лиственницы. Шапка слетела, бушлат расстегнулся и хлопал на ветру. Виктор припал к первому шнуру в двадцати сантиметрах от огня. Взмах ножом. Готово! Потом несколько шагов в сторону. Взмах ножом, и второй шнур затих. А вон и третий. Осталось метр с небольшим. Успею! Опять взмах ножом. У, черт возьми, крепкий какой, стожильный. Теперь четвертый, последний... Но где же он? Должен быть за тем камнем. Кинулся туда, поискал глазами — нет. Сколько же осталось сантиметров? Что остались сантиметры — это он знал отлично, потому что тот, четвертый, они поджигали первым. Значит, в запасе всего несколько секунд, может, двадцать, может, пятнадцать, а может, и...

Он увидел шнур в самый последний миг, когда до взрыва были уже не секунды, а лишь доли. Он подался всем телом вперед, чтобы прыгнуть, но в этот момент сильные мягкие руки подняли его как пушинку. Мир поплыл, словно в замедленном кино. И больше он уже ничего не слышал. Взрывная волна бросила его прямо на камни...

Пилот вертолета, увидев, что под ним бегает, припадая к земле, какой-то парень в бушлате, немного поднялся вверх, чтобы осмотреться, в чем дело. Это его и спасло. Машину при взрыве лишь швырнуло в сторону, основной удар прошел низом. Но если б рванули все четыре заряда?!

Перепуганный пилот посадил машину километрах в четырех. На землю выпрыгнул побледневший кассир прииска. Оказывается, это он настоял лететь сегодня. Взял в банке деньги для зарплаты рабочим и, никого не предупредив, вылетел на Среднекан. Когда же кассир узнал о происшедшем, нервы у него не выдержали, он заплакал. Человек, который прошел через всю войну, пережил столько смертей, трагедий, теперь рыдал, прижавшись лицом к зеленой холодной дверце вертолета.

На кладбище, когда все разошлись, он еще долго стоял над

крохотным венком из комнатных голубых цветов, которые заметала пурга. Стоял, будто просил у Виктора Сизова прощения.

Ночевали мы на прииске: пурга наглухо закрыла все перевалы, ни проехать, ни пройти. Легли в большой комнате все вместе. Устали, но никто не спал. Все говорили и говорили, ну конечно, о нем, об этом парне. Может, он особый какой, и почему вообще бывает такое в нашей жизни? Вчера еще неприметный человек сегодня в такой вот момент бежит навстречу своей гибели. Во имя чего? Ведь не спасал же он родных, близких, не шел в страшный бой, когда о себе и подумать некогда? Все было в этом подвиге буднично и обычно. И каждый спрашивал: а смог бы он вот так же броситься навстречу своей судьбе?

— Характер надо особый иметь, — наконец сказал Голомазов.

— А мне кажется, земля виновата.

— Какая еще земля?

— Наша, колымская. Мы здесь все в ответе друг за друга. А впрочем, так, наверное, у нас всюду. Вот скажут тебе сейчас: на перевале застряла машина, и там замерзают люди. Разве ты не пойдешь сейчас же, в ночь, в пургу, разве сначала подумаешь о себе?

— Это точно, не подумаешь, — тихо отозвался наш председатель. — Ведь как потом жить-то будешь, совесть не комары — от нее не спрячешься.

И мы знали, что у председателя это не просто слова. Несколько лет назад он на своих плечах вынес из тайги геолога, который провалился в шурф и сломал ногу. Неделю он шел по тайге в пятидесятиградусные морозы со своей живой ношей.

Говорили до глубокой ночи. Только часам к трем угомонились, затихли и уснули. За окном тишина. И вдруг словно из орудия грохнули. Потом какой-то скрежет, скрип, шелест. Мы выскочили на улицу и сразу все поняли.

Весна! Колыма тронулась!

* * *

...Яблоневый майский цвет Колымы — это снег. Но сейчас он уже отступил к сопкам. А в долине бегут, бормочут о чем-то ручьи. Солнце поит землю теплом. На полигонах, где будем мыть золото, ни души, а шуму словно на южном базаре. Звенят льдины, сталкиваясь друг с другом. С грохотом падает с бортов траншеи оттаявший песок. С теплом все пришло в движение. Я стою посреди полигона и слушаю весну. Вода стучит по сапогам, толкает, мол, не мешай, видишь, некогда, мне еще бежать тысячи и тысячи километров до самого Ледовитого океана.

Сегодня у всех хорошее настроение. Наконец-то мы начали мыть золото. Три дня строили колоду — это что-то вроде длинного корыта из толстого железа. Ставится она немного под уклон, чтоб вода легче могла протащить камни. Дно колоды выстилается резиновыми ковриками с ячейками, обычными ковриками, которые лежат у входа почти в любую квартиру. Насос гонит воду, а сбоку бульдозер толкает золотые пески. И так целую смену. Потом — стоп! — бульдозер уходит на заправку, воду останавливают, вытаскивают коврики, а золото, осевшее в ячейках, вытряхивают в железную банку. Все до смешного просто. Лишь бы безотказно работала техника, была бы вода. И еще

небольшая деталь — было бы золото в песках, что бульдозеры таскают на колоду. Остальное — физическая сила да настроение.

А настроение, я уже говорил, у нас отличное. Сезон начался, и сегодня моя первая смена.

В колоде ревет коричневый поток. Грохоча, пролетают валуны величиной с коровью голову. Вода тащит булыжники словно пух. И просто диву даешься, как же это клокочущий поток не уносит с собой крохотные песчинки золота. Знать, в них чертовская сила!

Солнце печет. Я разделся до пояса. И что есть мочи таскаю железным крючком застрявшие корявые камни. Это моя главная обязанность. Колода должна быть чистой, чтобы не было заторов, чтобы коврики, прижатые железными решетками, не забивались породой. Только тогда не будет сноса золота, не будет потерь.

Два бульдозера работают рядом со мной. Один подает золотые пески, другой отталкивает уже промытую и выброшенную водой породу.

Рев моторов, свист воды, вырывающейся из узкой трубы, грохот валунов о железо.

Но человек ко всему привыкает. Часа через два уже ничего не слышишь, ничего тебе не мешает. Работаешь и спокойно думаешь о чем-нибудь своем.

На Колыме, бывает, за день сменятся все времена года. До обеда стоял без рубашки, потом дунул ветерок — пришлось надеть и свитер. А чуть позже вообще чудеса: солнце шпарит вовсю, и тут же идет пушистый снег, каждая снежинка с ладонь, словно белый гриб. Земля же парит, как река на июльском рассвете.

Вечером первая в моей жизни съемка золота. Волнуюсь, а тут еще бульдозерист Коля Самара смеется:

— Ты что дрожишь? Замерз?

— Устал.

— Чай не пьешь, какая сила.

Действительно, чай на Колыме — эликсир от всех невзгод и болезней. Рядом с колодой на костерке всегда, днем и ночью, стоит черный чайник, прикрытый обычной брезентовой рукавицей. Это своего рода традиция.

Чай на колоде — тоже моя обязанность. Бульдозерист — лицо привилегированное. Он знает только машину. Остальное: камни, костер, еда, дрова — все на совести колодчика.

Давно у старателей существует примета: если колодчик везучий — золото будет обязательно. Особенно хорошо, когда холостой. Почему? Говорят, холостому денег больше нужно, вот золото и идет к нему. По этой части я подхожу. А вот насчет везения сейчас узнаем. Вон уже идет съемщик. Мне и самому интересно, что же там, в моей колоде?

— Ну как, Володька, пять кило намыл? Если пять, тогда один себе возьмешь. Договорились? — заметив мое волнение, шутит Вася Ветров, ловкий худой парень. У него тонкие и длинные пальцы. И помню, я очень удивился, когда однажды увидел, как он быстро и изящно вязал ими толстый стальной трос.

— Ну поднимай. Смелей! Не бойся, никуда он не убежит, — приказывал мне Вася.

«Он» — это металл. Между прочим, на Колыме очень редко кто скажет «золото», чаще всего просто «металл». Или вот так

же неопределенно — «он». Я уверен: привыкнув, люди спокойно могут ходить в сапогах по алмазам. Позже убедился в этом сам, но тогда, естественно, волновался.

Через минуту вода затихла, коврики почти высохли. По бокам какая-то серая грязь, коричневые камешки. А где же золото? Я стою и недоуменно смотрю в колоду. Что же я мыл? Неужели пустую грязь да камни с коровью голову?

— Ну, старик, поздравляю. Для первого случая великолепно!

— Что великолепно? — думая, что надо мной смеются, спрашиваю отрывисто и даже зло.

— Как что? Великолепно поработал, смотри, сколько золотишка намыл. Для такой погоды прекрасно. Граммов пятьсот будет.

— Да где ж оно?

— Гляди веселей. Вон на первых ковриках лежит. Правда, мелковатое, но это не твоя вина. Глубже пойдет крупней.

Какие-то шершавые желтоватые пластинки застряли в ячейках коврика, будто бросил кто на них горсть крупы, не то гречки, не то проса. Вот это и есть оно — золото.

Самая любимая поговорка у старателей: «Когда черт сеял золото, бог был в командировке». Этим все сказано. Теперь попробуй найди его. Вокруг все сопки вроде одинаковые, и ключи звенят одним голосом. Только на одном пусто, а на другом лежит, притаилось золотишко. А где этот другой? Конечно, можно мыть любой ключ. Практически золото на Среднекане есть всюду. Только какое золото? Вот ведь в чем главный вопрос. Нам нужен металл добрый, металл с наваром. Потому как сам принцип оплаты не позволяет гонять бульдозеры вхолостую. В обычных приисковых бригадах бульдозеристам платят за кубометры породы: лишь бы были объемы, а сколько там золота, их особенно не волнует. У старателей жестче. Прииски договариваются с артелью только о цене металла. И сколько перелопатишь породы, это никого не касается. Лови свою жар-птицу, рискуй, на то ты и старатель — бесшабашная голова.

И мы рискуем. Козел два дня пропадал где-то в крохотных горных распадках. Потом позвал с собой меня и Мишу Гойлова. Этот тоже таежный волк, столько на своем веку перевидал, не дай бог каждому.

Прошли мы километров десять, перебрались через быструю речушку и остановились.

— Узнаешь? — спросил Козел у Гойлова.

— Что-то знакомое. Кажись, Радужный.

— Он самый.

— Взгляни вон на тот распадок. Терраска мне нравится. Ты что думаешь по этому случаю?

— Надо пощупать.

Они взяли лом и лопату, копнули несколько раз круто падавший борт. И тут я увидел резко выделявшуюся полосу тонких плиток. Вид у них был железно-ржавый. Миша взял кусочек породы. Помял. Плитки отделялись друг от друга, как слои пирожного «Наполеон». Между слоями и была та ржавчина, что сразу бросилась мне в глаза.

— Ты смотри, какой жук, — засмеялся Миша.

Что еще за жук? Я подошел, взглянул на его ладонь. Меж плиток лежал крохотный кусочек золота, действительно чем-то напоминавший жука.

— Я думаю, здесь дело стоящее, — сказал Козел. — Видишь деревянный сруб, вон там, где куст? Знаешь, что это такое? Шахта, которую нарезали старатели в двадцатые годы. Я лазил. Она идет точно по жиле. Самый центр они, конечно, выбрали, но и нам кое-что оставили.

— Считаешь?

— Уверен. Загоним сюда три машины и быстро вскроем. А там поглядим.

— А вдруг?

— Ты сам видел жука. Это в бортах, а на целике?

— Это точно. Значит, сегодня и пригоним машины?

— Пусть уже в ночную перебираются сюда.

Козел был сегодня в ударе. Последнее время его вообще не покидало хорошее настроение. Артель выполнила майский план и теперь набирала еще большие темпы.

Меня из колодчиков перевели вторым съемщиком золота. Правда, на мои плечи легли и другие заботы: оформлять золото по всем правилам, вести деловую документацию артели, ездить на Стрелку за продуктами — это километров семьдесят от нас, топить баню, таскать воду, колоть дрова да еще помогать нашему механику Василию Захарченко, когда с полигона неожиданно приползет разбитый бульдозер. Но я не жаловался на свою судьбу, даже считал, что мне крупно повезло. Ведь теперь целый день я был с разными людьми, мотался из конца в конец по долине, участвовал во всех авралах и операциях вплоть до ночной охоты на диких оленей.

Жил я один в кузове машины. Это крохотный фургон, вкопанный в землю. В углу железная печка, кровать, стол, обычные магазинные весы, на которых я взвешиваю золото, и помятая сковородка, чтоб сушить металл. А под кроватью алюминиевый бак, с ним я хожу на съемку, и три пары резиновых сапог. Вот и все.

Съемщики встают раньше всех. В шесть утра я уже на ногах. Тайга залита солнцем. Тишина, только где-то вдалеке урчит бульдозер.

Три раза в сутки мы снимаем с разных колод металл. Каждая операция длится час с небольшим, от силы полтора. Руки все время в воде, а по весне она как лед, может, чуть теплее. Через пятнадцать минут пальцы ничего уже не чувствуют. Засунешь в рот, прикусишь зубами, чтоб услышать боль, и боишься, вдруг хрустнут, как сосульки. Но любая боль и усталость забываются, когда поднимаешь железные решетки и на первых же ковриках видишь рудо-желтый металл, поблескивающий в бегущей воде.

После утренней съемки часа два моешь его: магнитом вылавливаешь бог весть откуда попавшую проволоку, в специальном ящике легкой водой отделяешь серый пирит, а потом уже чистый золотой песок сушишь в сковородке на кухне.

— Эй, ты что там делаешь? — кричит наш элегантный повар Саша Потапов. Коля Самара привез его в тайгу прямо из ленинградской «Астории», пообещав хороший заработок — четыреста рублей в месяц. Обе стороны пока довольны. Сашка успевает варить манную кашу, печь пироги и жарить люля-кебаб, а по вечерам еще и крутить на магнитофоне веселую музыку. Живет он в тайге, как птица, оставив заботы на берегах Невы. Калькy-

ляцию с него никто не требует. Условие работы одно: пожирней и побольше. Но каждый раз, когда я прихожу со сковородкой на кухню, он не забывает свой традиционный вопрос. Я тоже не балую его разнообразием, отвечая по привычке:

— Яичницу жарю. Видишь, желтая.

— И тяжелая яичница-то?

Тут уж я отвечаю всегда по-разному. В зависимости от съемки.

— Да кило будет.

Сашкино любопытство удовлетворено, и я могу продолжать заниматься своим делом.

Печка раскалена добела. И золото на сковородке начинает шипеть, как настоящая яичница. Я смотрю и в душе улыбаюсь собственным мыслям.

Вот стоит в тайге человек и спокойно жарит больше килограмма золота. Все просто и буднично. А ведь по правилам золото я должен обрабатывать с кем-нибудь вдвоем. Но напарника моего то позовут помогать ставить гусеницу, то он уйдет опробовать новый полигон. Ходишь и канючишь:

— Ребята, ну хоть кто-нибудь постойте рядом, ведь инструкция.

— Да пошел ты со своей инструкцией, работать надо, видишь, дел по горло.

Все правы: и они, и я тоже.

На Колыме в золоте не видят золота. Для таежника это просто металл, что-то вроде железа, только желтый, да еще найти его тяжело. И все эмоции. Сколько раз, пробуя полигон, мы лотком намывали граммов по тридцать.

— Ну куда его? — спрашивал я поначалу.

— Да выбрось. Все равно в колоде будет.

И, глазом не моргнув, выплескиваешь вместе с водой тридцать граммов золота. А действительно, куда оно денется. Земля-то наша. Завтра же бульдозер притащит его на колоду.

В Москве потом меня частенько спрашивали:

— Небось золото так охраняют, что и близко не подойдешь, не то что потрогать или взять на зуб?

Сперва я горячился и отвечал на эти вопросы. Потом просто смеялся. Украсть в принципе все можно. Только, к счастью, бодливой корове бог рог не дает. То же самое и на Колыме. В тайге у человека все нутро видать, как в рентгенкабинете. И если вдруг появилось черное пятно, так его сразу заметно. А у старателей за товарища отвечаешь, как за себя. А это пожестче любого уголовного кодекса. Я не слышал, чтобы желтый дьявол кого-нибудь совратил. Да и кто на это решится? Ежели только урод. Но уроды на мерзлой земле живут редко. Им там холодно. Не климат.

...Даже не верится, но это чистейший факт: сегодня у нас жарко. И повар Сашка сварил трехведерную кастрюлю компота. Она стоит в ручье, и каждый, кому не лень двигаться в эту жару, пьет ледяную сладкую воду, выплевывая на землю желтые изюминки.

— Ты что плюешь? — кричит Сашка Голомазов. — Зима придет — вспомнишь. В столовой изюм варят до тех пор, пока яблоком станет. Да таким, что в стакан не лезет. Купцы несчастные! — заканчивает под общий хохот.

А вообще-то настроение у всех не очень веселое. Некоторые даже начинают нервничать. Причина? А чего ее долго искать. Она все та же. Золото! После прекрасного старта мы вдруг начали топтаться на месте. Сейф мой теперь пуст. И когда приезжает инкассатор, а приезжает он не так уж часто, я выношу ему лишь тощий черный мешочек, на дне которого еле-еле наскребешь граммов триста металла. Самое странное, что на полигоне золото вроде есть. Мы на лоток брали прекрасные пробы, а в колоде почему-то серый пирит. Чертовщина какая-то!

Вот уже пятнадцать дней четыре наших бульдозера задирают полигон на Радужном. Они выбрасывают за контур кустарник, шершавые валуны, какие-то гнилые бревна. Козел говорил, что до золота мы доберемся самое позднее через десять дней. Надо только упираться и не жалеть машины. А себя тем более. Но прошли десять, двенадцать и пятнадцать дней, а на Радужном золотом и не пахнет.

— На свалке копаемся, — говорил Сергей Яблонев, отправляясь в смену на Радужный, — нормальные люди отсюда уже тридцать лет как ушли, а мы дедушкины сапоги ищем. Смешно!

Но смеяться никому не хотелось. Каждый понимал, что дело с Радужным начинает принимать не очень-то веселый оборот.

Время! Вот что сейчас было для нас самым дорогим. Если мы и доберемся до настоящего золота, то когда же будем мыть? Вдруг вскрыша затянется до сентября, вдруг под этими валунами вообще лишь пустая выработка. Тогда что? От такой перспективы аж мурашки по коже бегали.

Ребята пытались поговорить с Козлом по душам.

— Ну хорошо, возьмем этот металл на следующий год. Потихоньку вскроем и возьмем. А сейчас-то зачем нам этот риск?

Козел только ухмылялся и отвечал:

— Без паники! Будем вскрывать!

И четыре машины каждый вечер уползали за сопку на ключ Радужный, где они ревели до утра, затихая лишь на полчаса после полуночи, когда ребята делали короткий привал, чтобы хлебнуть кружку черного колымского чая, зажмуриться от густой жидкости, которая, как нашатырный спирт, прочищает уставшее сознание, и снова сесть за рычаги своих неустающих машин.

Через неделю над нашей артелью смеялся весь прииск.

— Вы что, археологией увлеклись, а может, мамонта ищете?

Мы молчали. Насмешки — это еще полбеды. Хуже было другое. Главный бухгалтер прииска прислал нам записку:

«До первого июля вам необходимо погасить задолженность по авансированию. Если металла не будет, ваш счет закрываю».

Сухие эти строчки были посильней самых красноречивых издевок.

— Докопались...

В тот день мы долго сидели в столовой молча. Без света. Лиц не было видно. Пламя из печи играло на алюминиевых кружках, окрашивало в кроваво-красный цвет лежавшую на столе записку бухгалтера. Я знал, что все сейчас, как загипнотизированные, смотрят на этот клочок белой бумаги.

Но никто не сказал ни единого слова. Только Козел бросил фразу:

— Через три дня должны показаться пески. Сразу под валунами есть золото. Начнем мыть вместе с валунами. В примазке тоже металл. Я прошу еще три дня. А сейчас надо жать, жать и жать... — Сказал, сплюнул в угол и хлопнул дверью.

На том и порешили...

Пески показались на второй день. Где-то к обеду с Радужного прибежал Сергей Яблонев.

— Братцы, зацепил! Скорей лоток! Надо попробовать!

Выпил залпом три кружки компота и лишь тогда нормальным голосом сказал:

— Не пески, а кровь какая-то. Ну и красотища!

Пески на Радужном действительно были удивительные. Вокруг все серое, и лишь там, где Сергей добрался до рубашки, земля словно проржавела.

Мягкая, красная, она приятно холодила ладони, будто благодарила, что мы откопали ее с пятиметровой глубины, что наконец она увидела солнце. Благодарила и успокаивала за все волнения, которые мы пережили.

Колоду ставили возле старого отвала. Там посуше и вроде почище.

Ночью пошел дождь. Первый дождь в этом году. Я проснулся от странного шума: по крыше кузова что-то стучало мерно и однотонно, словно с края на край катали дробь. Высунул руку за дверь, и впервые на ладонь вместо снега упали капли воды.

Спать больше не хотелось. Я лежал с открытыми глазами и вспоминал все дожди, что пролились на мою голову. Были среди них и черные, были и синие. Как верные друзья, они смывали с моей памяти обиды и, как те же друзья, приносили надежды. Надежды, которые чаще всего не сбывались. Но я не обижался, пусть не все сбывается. Разве лучше жить вообще без надежд?

Утро после дождя было сырым и серым. Всюду ледяная вода, мерзлая земля и небо словно чугунное. Я смотрю на Толю Кошелева. Он стоит напротив, мокрый, грязный, в набухшей брезентовой робе. Смотрю на него и будто в зеркале вижу себя. Похож как две капли воды. Вместе с ним мы таскаем пятиметровые трубы для насоса, вместе кричим бульдозеристу, что режет старый отвал, вместе, как зайцы, прыгаем из-под нависших над головой стальных гусениц.

— Эгей, еще разок. Вот тут косовато.

Бульдозерист машет головой: мол, понял. Сейчас подрежу.

Ревут сто лошадей в дизеле, и пятнадцатитонная машина, как альпинист, лезет почти вертикально. Мелькают в кабине рычаги, черные кисти рук, что бросают бульдозер на каменную стену. Жутко и страшно, когда видишь железную махину на такой высоте с грохочущей гусеницей, подминающей под себя воздух: там справа обрыв, и ей не за что запепиться. Машина на одной гусенице качается, как качаются в цирке на проволоке. Инстинкт отталкивает меня подальше, назад. А как же там, наверху, Сергей?

Вот и он высовывается из кабины:

— Ну что стоите? Хватит, что ли? А то можно еще чуток.

— Довольно. Гладко, как на аэродроме.

— Ну лады.

Он рванул машину вперед. Веером посыпались камни, полетела грязь. Но что это? У наших ног лежала ржавая подкова. И еще что-то торчит. Потянул. Лопата. Обыкновенная железная. Отбили ржавчину и увидели четко выдавленные цифры — 1932. Наверное, год выпуска. Кто-то потерял ее, а может, просто кинул, а может... Показать бы тому человеку, что искал здесь золото, наверное, заплакал бы, вспомнив лихую молодость. А может, и загрустил. Кто знает?

— Вот это подарочки, — свистнул Толя.

И первый дождь, и эта ржавая подкова. Не слишком ли много добрых примет для одного дня? Вдруг все обернется иначе?

Я думал об этом, когда, построив колоду, прилег отдохнуть в крошечной ложбине среди сиреневого тальника. Беззащитные тонкие ветви исцарапаны гусеницами. Почки только-только лопнули. Пахнут терпко и зелено: в июне все здесь торопится жить. А через час ни ложбинки, ни тальника уже не было и в помине. Бульдозер на полметра подрезал землю. На месте сиреневого тальника краснели золотые пески, ради которых мы и пришли сюда.

А еще через час по трубам из горного ручья хлынула вода. И Сергей с дальнего угла полигона подтолкнул к колоде валуны и красную жидкую грязь. С грохотом упали в широкий бункер пудовые камни. Вспенилась сердито вода, закружилась на месте. Поднатужилась еще немного и легко понесла по железному корыту красную грязь. Радужный начал работать!! Только будет ли удача? Ведь и первые дожди, бывает, приносят надежды, которые не сбываются. Ну что ж, завтра посмотрим. Завтра на Радужном первая съемка!

Утра я ждал, как ждут первое свидание. Пришли на полигон, а колоду останавливать страшно. Сердце так и колотится. Железные трафаретные решетки поднимал, словно неразорвавшуюся мину. А вода течет все тише и тише. Еще минута, еще. Ну!

Резким рывком поднимаю край коврика. Первого, самого богатого, где оседает тяжелое золото.

— Смелей, Володька! — кричат мне ребята.

— Слушай, а может, подождать Козла? Без него как-то неловко.

— Козла теперь не дождешься, пока не узнает, что есть золотишко. Я его, брат, знаю. Приедет или сливки слизывать, или орать на всех. Давай-давай! Али так тяжело, что и не поднимешь?

Я поднимаю коврик из воды. Холодная струйка течет мне в сапоги. Но я не шевелюсь.

Открываю глаза, когда вокруг уже гудят бульдозеристы.

— Вот это да! — ахает Толя Кошелев. — Вот это штука!

Я смотрю на богатство, которое держу собственными руками, и не верю, что все это наяву. Коврик усыпан рудо-желтыми самородками. Холодные, чистые, они лежат гордо, будто не на черной резине, а на мягком теплом бархате.

— Да, братцы, не зря мы землю здесь грызли.

Самородки самой причудливой формы. Один похож на кусочек старинного браслета, другой — как лист вишни, третий — крохотная капля крови. А дальше просто уродливые рябые куски золота, тертые временем, водой и гранитами.

Мы не стали чистить коврики. Золото прямо руками вместе с галькой собрали в бак. Поволокли бак к ручью, чтоб переправиться на дорогу. А там скорей в поселок.

Через речку нас перевозил Паша Черкашин. Он словно специально надел голубой спортивный костюм. В этой шикарной одежде на бульдозере среди черного железа и масла Паша выглядел экзотично.

— Прошу, дорогие гости, — галантно приглашает он нас в кабину, — карета подана.

Бульдозер со всех сторон облепили ребята, которые только что кончили смену. Сидят на радиаторе, на крыше, двое вообще чудом устроились впереди на отвале, сидят да еще ноги свесили. Этаким табором переправляемся через разлившуюся речку. Крики, песни, будто с гулянки возвращаемся. Даже не верится, что ребята работали как проклятые всю ночь, от зари до зари. Вот что значит настроение. Вот что значит удача!

Козел прилетел на своем «Иване-студебеккере», как смеясь называли старую машину председателя, часов в десять вечера. Мы только что почистили золото. И теперь оно лежало желтой горкой на сковородке. До краев не хватало нескольких миллиметров.

Обеими руками я поднимал сковородку и все не мог понять: сколько же здесь?

— Ну что радуетесь? — подходя к нам, крикнул Козел. — Ну покажи, Володя!

Он сграбастал своей ручищей сковородку, покачал и сказал:

— Бьюсь об заклад, пять кило будет.

Сопки за два дня потеряли весь снег. Солнце съело его, как мороженое, быстро и ловко. Прилетели птицы, стало веселей. Ребята работают, не зная отдыха, не зная печали. Смеются, хохочут, словно дети. Даже обедают наскоро, будто боятся, что золото на полигоне растает, как снег на сопках. Вместе с удачей к нам пришла жара. Носы у всех обгорели, лица черные. Солнце в тайге красит быстро.

После первой же съемки Козел постарался раззвонить о золоте Радужного. Он разъезжал в своем «Иване-студебеккере» по всем поселкам и, как бы между прочим, сообщал:

— А вчера-то Володька наш пупок надорвал. Честное слово, надорвал. Сделал съемку, а поднять золотишко не может. Пришлось на две кучи разделить.

И люди смеялись. Хлопали его по плечу. Поздравляли.

— Ну, Козел, ты как сахар-медович, к тебе удачи словно мухи липнут.

Козел фыркал, будто кот, которого щекочут за ушами. И, как уставший от славы человек, переводил разговор на погоду.

— Вишь как жарит. Боюсь, вода упадет. Тогда чем мыть будем? Нам-то не страшно, нам и этого уже хватит, да меня директор просил выручить первый участок.

Мужики понимающе улыбались, но все-таки возражали:

— Ты что! Разве упадет? Гляди, как бы не полилось. Мы вот как раз дамбу подсыпали. Неровен час, двинет водица. Тогда беда.

Козел беспечно махал рукой и уезжал довольный, размягченный.

Конечно, Радужный был его счастливой находкой, с которой он

связал судьбу всей артели. И настолько счастливой, что даже у такого опытного таежника вскружилась голова. И это-то нас чуть не погубило, чуть не отбросило назад, к нулю, с которого мы и начинали битву на ключе.

В тот вечер мы, как нарочно, съемку не делали. На старом полигоне нужно было срочно смонтировать магистраль для насоса, и все, кто не был занят на Радужном, ушли туда — это километров пять от поселка. Уже за полночь закончили аврал, присели у костра. С погодой творилось что-то невероятное. Еще часов в семь горела яркая и чистая, как пламень, заря, а потом вдруг хлынул ливень. Океан холодной воды обрушился на тайгу. Но после адской работы мы ничего не замечали и спокойно, как ни в чем ни бывало, потягивали чаек. Пешком до поселка не добраться, и надо было ждать, когда в час ночи бульдозерист повезет нас домой.

Мы сидели и слушали, как хлещет по голым камням дождь, и вдруг Витя Межелайтис, отбросив брезентовый капюшон, сказал:

— Кажется, кто-то кричит на дороге.

— Вот именно, кажется, — передразнил его Алексей Ханов, черноглазый бакинец. Они были закадычными друзьями, хотя каждую минуту ссорились между собой.

— Нет, все-таки кто-то кричит. И теперь уж точно, — спокойно возразил Виктор.

Мы насторожились. Прислушались. Действительно, от дороги к нам долетали какие-то обрывки слов. Но разобрать, что и кто кричит, было невозможно.

— Странно, кто бы это?

— Кажется, голос Сережки Яблонева.

— С ума сошел, Сережка на Радужном.

— Чего гадать, пошли, сейчас и узнаем,

— Наверняка что-то случилось. Иначе какой черт понесет человека в такую погоду.

Сережка стоял по ту сторону разбухшего от дождя ручья и блажил что есть мочи:

— Скорей, скорей! Радужный топит!

— Что?

— Радужный топит! Оглохли, что ли?

— Как топит?

— Сейчас увидишь! — зло бросил Сережка и выругался. — Скажите Кольке Самаре, чтоб гнал машину к нам.

— Зачем?

— Вы что, свихнулись? Дамбу надо строить, иначе весь полигон занесет илом. Ведь яма же!

Наконец-то до нас дошло. А еще через час, когда мы были на Радужном, поняли, что положение бедовое.

Полигон лежал меж сопок, метров на пять ниже ручья, из которого брали воду. Здесь же, по ручью мы выложили огромную массу породы. По правилам надо было сделать надежное русло по борту вдоль всего полигона, чтобы вода, если будет излишек, спокойно ушла в речку. Но мы спешили скорей начать промывку, скорей получить металл и решили, что не стоит целых четыре дня гонять впустую бульдозер. И так полсезона потеряли. Возьмем металл до паводка. И вот взяли!

Черт побери, неужели все пойдет прахом? Весь наш пот, труд, нервы и надежды в одну ночь утопит взбесившийся ручей.

Говорят, самое страшное на свете — вода и огонь. Я бы лично нелестную пальму первенства отдал воде. У нее силенки куда больше. Еще вчера я переходил этот ручей спокойно вброд, а сегодня на серую массу и смотреть жутко. Река кипит и беснуется, будто под ней полыхает гигантский костер, с дикой силой бьет в серую дамбу, отхватывая от нее огромные куски. А сверху, с сопок, ей на помощь спешат все новые и новые лавины. Они бы вмиг разнесли эту стену из камня и грязи, если бы не узкий проход, где они сталкиваются, пенятся, пляшут в черных водоворотах. Но скоро, очень скоро вода двинет вперед вместе с дамбой, которая и так уж еле-еле держит напор целого озера. И тогда, тогда все пропало: грязь и камни снова пятиметровой подушкой укроют наш полигон. Да так плотно, что и за месяц не откопаешь.

Единственный шанс — прорезать реке новое русло в обход полигона. Но где? Как это сделать? Ведь ни черта не разберешь в кромешной темноте, в которой только и слышишь грохот бульдозеров да рев воды. Но надо что-то делать, нельзя же стоять вот так, сложа руки!

Сгоряча мы бросаемся в ревущий поток с одними лопатами, на которых тащим жалкие кучки земли. Это все равно что остановить паровоз, положив на рельсы спичку. Вода отбрасывает нас. Мы, уже мокрые до последней нитки, все равно лезем с лопатами в воду, ничего не соображая и не представляя, что делается вокруг. Сколько это продолжается — час, два, три, — неизвестно. Потом, кинув лопаты, таскаем, прижав к животу, тяжелые скользкие камни, которые река глотает как семечки. Но мы все равно таскаем и таскаем, будто заведенные. Руки деревенеют, ноги немеют. Снизу вода, сверху вода, слева, справа вода.

И вдруг словно гром с черного неба:

— Хватит! Хватит, вам говорю!

Меня кто-то дергает за рукав брезентовой робы. Я инстинктивно пытаюсь вырваться, чтоб бежать за очередным камнем. Но рука вцепилась крепко.

— Вы что, все оглохли? — слышу я крик над самым ухом. — Хватит! Все! Понимаешь, все!

И прибавляет несколько слов, которые и коня на скаку остановят.

Я ошалело таращу глаза на Козла и начинаю приходить в себя.

Вода под ногами уже течет лениво. В мутном предрассветье видны фигуры людей, неуклюжие, широкие в своих расстегнутых бушлатах. Кто присел прямо на землю, кто еще держит в руках камни, которые тащил к реке.

Все остановились и смотрят, как пять наших бульдозеров, прижавшись друг к другу, держат стальными отвалами дамбу. Яркие прожектора скользят по еще дымящейся черной воде и медленно поворачивают влево, как бы показывая реке ее новую дорогу. И волны, ударившись о дамбу, сворачивают в рваное свежее русло, которое, пока мы таскали камни, успели-таки прорезать бульдозеристы.

Дождь хлещет не переставая. Но вода перед дамбой заметно падает. Кажется, все. Река отступила...

Мы запалили костры и греемся. Смотрим друг на друга, хохочем.

— Кобылин, а где же твой сапог? — спрашивает вдруг Витя Иванов, взглянув на соседа, который чуть ли не с головой влез в костер.

— Э, да я и не заметил. Гляди-ка, унесло. То-то мне ногу жжет, а почему — не догадываюсь...

И двадцать человек смеются до слез.

Вы только представьте себе картину. Тайга, сопки, мутный рассвет, дождь хлещет почем зря, а вокруг костра, хватаясь за животы, хохочут грязные ребята. Наверное, вот это и есть настоящее счастье: после трудной, опасной ночи стоять у костра, стоять рядом с товарищем, который даже в кромешной угольной темени среди кипящей ледяной воды был с тобой рядом. Плечом к плечу.

Здесь, в тайге, чтоб узнать человека, не обязательно с ним пуд соли есть. Достаточно одной такой вот ночи...

Стало совсем светло. Костер догорал. Мы уже собрались идти домой, да на гребне полигона увидели человека, одетого в зеленый мокрый плащ. Он ловко прыгал с бугра на бугор и скоро был рядом.

— Кажись, директор, — первым узнал человека Виктор Межелайтис.

— Опять кажись, — по традиции передразнил его Алеша Ханов. — Конечно, директор. Кого ж еще принесет сюда в такую рань.

Директор подошел к костру, налил кружку чаю, хлебнул, зажмурился то ли от горечи, то ли от удовольствия и спросил сразу у всех:

— Ну чего у вас тут?

— Да вот дамбу чуть не рвануло. Еле удержали.

— А почему могло рвануть?

— Да ведь дождь какой! — ответил Козел.

— А ты что, первый год замужем? Не знаешь, что дожди иногда с неба падают?

— Да прогноз-то сухой был, — промямлил Козел, не ожидавший такого поворота.

— Прогноз, прогноз, — передразнил его директор, — а своей головы нету, что ли? Я на вас во как надеюсь! — и директор резко провел ладонью по горлу.

Хлебнул еще глоток чая и снова поморщился, теперь уж точно от удовольствия. Потом быстро взглянул на реку, с которой мы сражались всю ночь, и, поняв, что здесь произошло, сказал:

— А что удержали — хорошо! Нам металл позарез нужен. Первый участок сидит на мели. Сейчас к ним еду.

Директора я видел впервые, но слышал о нем многое.

Андрей Сонов был странным и удивительным человеком. Одни говорили о нем, захлебываясь восторгом, другие злобно называли Махно.

За двадцать три года колымской жизни Сонов повидал немало. Есть что вспомнить, и есть, конечно, что рассказать.

Приехал он в эти сопки сразу после войны, с не зажившей еще раной, полученной под Кенигсбергом, когда группа разведчиков среди бела дня брала «языка». Приехал, думая заработать тысчонку-другую и вернуться домой, под Новосибирск. Но шел год,

и два, и три. Из Сонова получился настоящий горняк. Золото научился чувствовать. И, будучи сам человеком немногословным, зауважал колымскую гордую природу, эту землю, на которой, как в разведке, все время надо было держать порох сухим, все время быть начеку.

А потом встретил он Катю, родились дети. И остался Сонов здесь навсегда.

Полигоны разбросаны на десятки километров друг от друга, отгорожены сопками, речками. Вот и мотался Сонов по тайге, неделями не видя жены и детей. По месяцу не ел горячего: все как в разведке — тушенка да тушенка. И нажил себе язву.

Врачи советовали сделать операцию.

— А сколько это займет времени?

— Месяцев пять, если с отдыхом.

— Нет-нет, не могу. Надо подготовиться к сезону. Может, осенью.

— Вот чудак! — недоуменно пожимали плечами врачи.

Да, многие считали его чудаком. А некоторые просто удивлялись:

— Ну чего он к этим сопкам прирос? От жадности, что ли?

Но в жадности Сонова можно было обвинить меньше всего. В газетах ведь не пишут, что директор свои собственные сотни высылает бывшим рабочим, будто от имени профсоюза. А дело было так. Год назад уволился с прииска один строитель. Жена настояла после того, как родился ребенок, уехать на «нормальную землю». И вот через год приходит письмо: живу небогато, родился еще сынишка. Жена болеет. Надо подлечить, а денег нет. Пришлите, если можно, по старой доброй памяти рублей двести. Благодарен буду по гроб жизни товарищам из профсоюза.

Но товарищи из профсоюза не захотели, чтоб их благодарили так долго.

— Нет такого закону, чтоб деньги на сторону отдавать.

— Женя, — сказал Сонов председателю месткома, — а ты помнишь, как он нырял в болото, когда на втором участке трактор утонул?

— Ну помню. А что?

— Как ты думаешь, он тогда свое дело делал?

— При чем тут трактор? Все равно закона такого нет.

Сонов больше не стал уговаривать. Вечером сам сел за машинку и отстукал нехитрое письмо: «Мы помним твою прежнюю работу на нашем прииске, поэтому высылаем триста рублей. Местный комитет желает здоровья и благополучия всему твоему семейству. Если можешь, возвращайся на прииск. С директором мы говорили. Он тебя примет».

Запечатал и вместе с деньгами отослал. Узнали об этом через год, когда рабочий тот вернулся на прииск.

Вообще-то доброту свою Сонов прятал как можно глубже, и когда за что-либо благодарили его, он обычно отвечал:

— Ты себе скажи спасибо. Работал бы плохо, я бы и пальцем за тебя не пошевелил.

Однажды весной нужно было срочно вырубить ледник в сплошной скале. Через месяц на прииск привезут мясо, а хранить его негде. Сонов вызвал лучшую бригаду проходчиков.

— За месяц сделаете?

— За месяц не выйдет. Уж больно скала крепка.

— Если за месяц не управимся, на лето останемся без мяса. Будем есть тушенку.

— Баранина живая, она, конечно, ничего, — хитро пожевал губами бригадир. — Только и пупок свой жалко. По правилам, Андрей, ей-богу, нужно три месяца, не меньше.

— Ты понимаешь — надо! — Сонов начинал злиться. — Ну вот что, — сказал он напоследок. — Вся работа стоит тридцать тысяч. Вас двадцать человек. Можете делать и год. Ледник все равно нужен. Валяйте!

Через месяц, когда пришла первая машина со свежей бараниной, ледник был готов.

А еще через день к директору заявился главный бухгалтер:

— Наряд не подпишу. Надо срезать. Это что ж получается: за месяц по тысяче триста на человека. По семьсот выпишем, и за то спасибо скажут.

— Отдай людям все, что заработали. Ты бы и за двести тысяч не стал делать. Они же для тебя, для детей твоих сутками из ледяной воды не вылазили. Как ты этого не поймешь!

— Балуешь ты людей, — ворчал тот, оправдываясь. И уходил. Бухгалтер ворчал для виду. Он и сам знал, что Сонова добреньким не назовешь.

Чаще всего директора видели злым. Насупившись, он поднимался на отвалы отработок, шагал по полигонам, утопая по колено в липком иле, ночью переходил вброд стремительные реки и мог появиться на каком-либо участке в самое неожиданное время. И если видел, что горный мастер или даже начальник участка на работе толстел, а дело худело, увольнял без всяких объяснительных записок. И напрасно потом было жаловаться, просить, умолять — без толку все это.

Сонов еще ни разу не отменил свой приказ. Ни плохой, ни хороший.

Вот за что одни говорили о нем, захлебываясь от восторга, а другие — назови только имя его — скрипели зубами.

Я даже не гадал, что Сонов знает о моем существовании. Но тогда, на Радужном, уже прощаясь, он спросил Козла:

— Слышал, у вас тут студент объявился.

Я замер, не зная, что будет.

— Есть, — ответил Козел, тоже настораживаясь.

— Ну и как?

— Ничего, металлом занимается, парень грамотный. Бумаги разные пишет.

— Бумаги, говоришь? — переспросил директор. — А поговорить с ним можно?

— Отчего же? Эй, Володька! — крикнул Козел, хотя стоял я от него в двух шагах.

Я и сам не знаю почему, но оробел.

— Здорово, студент, — засмеялся, увидев меня, директор. Наверное, выглядел я действительно смешно. — Ну как жизнь?

— Жить можно.

— Значит, все хорошо. Ты на кого учился-то?

— Я филолог. Детей учить буду.

— Чему учить?

— Читать, писать грамотно.

— А знаешь, у меня к тебе дело. Я вот сейчас подумал: написал бы ты про эту ночь в газету, ну хоть в районную. Расска-

жешь людям, как вы здесь золото спасали. И без утайки, без прикрас, а все точно, как было. Обязательно напиши. Ну желаю удачи! — пожал он мне руку на прощание.

На том мы и расстались.

— До обеда всем спать, — сказал Козел, когда ребята побрели домой.

Уснул я в своем кузове, не успев снять второго сапога. И сразу же услышал, как вокруг запели серебряные колокола. Снился сад, только деревья были почему-то белые...

Вот уж действительно вещий сон. Когда я проснулся и вышел на улицу — не поверил своим глазам. Все лиственницы словно облиты стеклом. И ветер звенит ветвями. Это после дождя ударил мороз...

* * *

...Погода мерзкая: сопки вновь надели белые шапки. И каждый день, как в песне, то дождь, то снег. Но зато дела у нас пошли хорошо. План выполнили. О нас даже в газете написали под заголовком «Что приносит мужество и упорство». Газету эту читаем перед обедом, так сказать, для аппетита.

— А что, действительно, приносит нам мужество и упорство? — спросил однажды Козел у общества.

— Да, действительно? — подал голос Венька Ветров, наш самый маленький бульдозерист.

Трудолюбив он до удивления: может сутками не вылезать из машины. И все его просто обожают. Но у Веньки есть два недостатка: постоянный насморк и постоянное безденежье. Поэтому если он и заговорит когда — а Венька слывет первостатейным молчуном, — то обязательно о деньгах.

— Ты понимаешь, — жалуется он, вытирая нос черной от солярки ладонью, — летом мне хоть миллион давай, копейки не потрачу, а вот осенью чертовщина какая-то.

— А на что расходуешь?

— Да долги у меня. А когда их сделал, не помню. Один подходит: «Венька, ты мне должен», — другой... И отдаешь. Вдруг действительно должен?

Если б Веньке вылечить свой насморк да плюнуть на всех вымогателей, парню бы цены не было. Он честен, как новорожденный. Вот и тогда, в столовой, мы сразу поняли, что мужество и упорство, по Веньке, нам должны были принести дензнаки.

— Славу! — буркнул Герман, чтоб подзадорить Веньку.

— Легкомысленный ты человек, — не понял подвоха Венька. — Мужество и упорство приносят нам аванс!

— Молодец, Венька! — заступился народ. — Пора и про аванс вспомнить. Домой надо послать сотню-другую. Да и долги отдать. Правильно?

— Справедливо. Короли, говорят, и то долги отдавали.

— Аванс так аванс, — подвел черту Козел. — Жизнь, братцы, надо любить до последней копейки. Но копейку эту надо получить. Володька! — позвал он меня. — Завтра бери свой портфель и греби на прииск за авансом. Проси тыщ десять. Глядишь, пять дадут. А меньше и не бери. Понял?

— Как не понять!

— То-то. Да оденься почище. Чтоб знали, чей кассир.

На прииск я приехал часов в десять утра. Но даже в тайге начинают выдачу денег лишь после обеда. Иначе несолидно.

— Десять тысяч? — чуть не вскрикнул главный бухгалтер. — Да ты что, в своем уме? К Ротшильду, к Ротшильду поезжай, там найдешь, там, может, денег не считают, а здесь государственное предприятие.

Я молчал. Бухгалтер удивленно покрутил усы, знаменитые шевченковские усы, которые, наверное, помнят еще в Берлине, когда он 9 мая на радостях, забыв привычку ротного старшины все беречь, роздал целую машину новых сапог. С тех пор старшина и бухгалтер Федоренко не позволял себе подобной роскоши. И все, что у него просили, почему-то измерял машинами.

— Я смотрю, ты такой молодец, что и целую машину червонцев унесешь, не надорвешься.

— Не надорвусь, Петр Прокопьевич. Только мне нужно всего десять тысяч.

— Ишь ты! Ладно, бери пять и кати.

— Шесть, — выдохнул я, войдя в азарт.

— Пять пятьсот, — не сдавался бухгалтер.

— И двадцать пять на угощение, — я, кажется, совсем зарвался.

Но «бух» почему-то не удивился и только спросил:

— А кого угощать?

— Здесь нам один токарь флянцы точил. Надо бы отблагодарить.

— А как будете благодарить: натурой или бумажкой?

— Натурой.

— Ага! Дело стоящее. Деньги он не возьмет, я знаю. Ты лучше устрой вечерком ушицу на берегу. Любо-дорого. А может, и мы подойдем.

Вечером у костра собралось, кроме наших, человек восемь. Двоих я знал, можно сказать, хорошо. Коля Саморуков — механик прииска — приезжал к нам на стан послушать — именно послушать — забарахливший дизель. Я тогда подумал, уж не прилетел ли он из Парижа, прямо от Диора. Элегантный плащ шелестел на ветру, белая рубашка, шелковый галстук, туфли на тонюсенькой подошве. Мы даже боялись к нему подойти поближе и рядом в своей брезентовой негнущейся робе казались пещерными людьми. Но он добродушно подал всем руку, попросил запустить дизель и, как великий маэстро слушает свою оперу, начал слушать рев двигателя. Прошло минут тридцать — ни слова, ни единого движения. Потом потрогал форсунки и сам все выключил.

— Топливный насос! — сказал он. — Остальное все отлично. У меня на складе есть, приезжай.

Коля приехал на Колыму из Ленинграда. Приехал после института вот такой же элегантный. Была осень, но морозы уже душили землю. Он вышел из автобуса на площади перед управлением и, приподняв тирольскую шляпу с зеленым перышком и задумчиво взглянув на плотный октябрьский снег, сказал:

— Люблю грозу в начале мая...

— Ну, этот петух до мая не дотянет. Улетит! — мрачно буркнул главный механик, встречавший своего нового заместителя.

Но Петух, как тут же окрестили молодого специалиста, прижился. Мало того, он, к удивлению многих, не сменил белую рубашку на клетчатую ковбойку. Лишь зеленые перышки с тирольской шляпы приспособил на ондатровую шапку. И то, как он сам

сказал, уступил дикой силе природы: в пятьдесят градусов в шляпе действительно было несколько прохладно.

Коля первые дни никому не мешал, и его никто не тревожил — присматривались. Потом было и рукой махнули: ни черта не знает. А Петушок, проходя однажды мимо ремонтного цеха, увидел, как двое дюжих мужичков лихо выбивают кувалдами полуось от бортовой. Гигантский костер, дым, гулкие удары. Подошел, поглядел.

— Греться изволите? — спросил его ехидно бульдозерист, который два часа возился с этой проклятой полуосью и теперь был зол на весь свет, а на механиков тем более.

— Да, холодновато, — спокойно ответил Коля и спросил, в свою очередь: — А у вас что, занятия по физкультуре?

Бульдозерист озверел:

— Шел бы ты отсюда подальше.

Выражение Коле понравилось, и он вежливо попрощался.

А через три дня Петух появился у главного механика:

— Я тут видел, как бульдозеристы физкультурой занимаются. Думаю, им это ни к чему. Вот колечко. Считаю, пригодится.

Механик долго вертел чертеж, но съемное колечко все же приказал сделать. Сделали. Поставили на полуось. Ударили разок. И все! Петушка зауважали. А скоро без его помощи не обходились и механики, проевшие на бульдозерах зубы. Технику он знал как букварь. Вот почему именно ему директор доверил через год перегнать на новый полигон, который геологи открыли за четыреста километров от центрального стана в глубочайшей тайге, колонну тракторов. Тридцать две машины в дичайший мороз по льду замерзшей Колымы, проваливаясь в наледях, тараня снежные стены, упрямо шли вперед. Два месяца бульдозеристы не глушили двигатели, и два месяца не отходил от машин Петушок. Его шапку с зеленым перышком видели то в голове колонны, то у отставшей машины.

До полигона он не дошел тридцати километров. С обмороженными пальцами — в двигатель в варежках не полезешь — его забрал специально вызванный по рации вертолет.

Память о том походе — два мизинца, оставленные в районной больнице.

Но Коля по-прежнему весел и элегантен. Даже на мою уху он пришел в белой рубашке.

— А чем сегодня угощают? — весело поинтересовался Петушок для начала. — Карасиков небось наловили?

— Сколько раз тебе говорить, не водятся в Колыме карасики, — поморщился Саша Саблин.

— А чем же тогда там, — Коля показал пальцем на воду, — щука питается?

— Колбасой! — нашелся Сашка.

Ребята захохотали. Все знали, что Коля, хоть и живет в тайге уже четвертый год, кроме машин, ни в чем не разбирается, курицу от куропатки не отличит.

— Ну что ж, — спокойно сказал Петух, когда хохот поутих. — У щуки губа не дура.

«Ну, с такими не соскучишься», — подумал я и пригласил гостей к ведру. Именно к ведру.

Сразу, как только получил свои пять тысяч пятьсот двадцать пять рубликов, я отправился к Сашке Саблину. Сашка — горный ма-

стер, руководит старательским участком, в который входит и наша артель. Это он несколько дней терпеливо учил меня мыть лотком золото, брать с полигона пробы. Часами следил, как я деревянными руками неуклюже ворочал тяжелый лоток, упуская золото обратно в воду.

— Легче зайца на барабане выучить играть, — вздыхал он и показывал мне все сначала.

Доверху набитый синими камнями и плиткой, лоток метался у него в руках. С каждой секундой камней становилось все меньше, и, наконец, Сашка показывал крупицы металла. Чистые, они лежали на донышке. И все было так просто, что я тут же бросался в новую атаку. Ворочал камни, цедил воду, но на дне все равно было пусто. Золото уплывало.

— Ты лоток качай, будто ребенка баюкаешь. Это главное. Ну да ничего! У меня тоже не сразу получалось, — добродушно смеялся Сашка.

У Сашки — и вдруг не получалось? Я мог поверить чему угодно, только не этому. Глядя, как он грациозно идет по корявым валунам, как одним прыжком перемахивает горный ручей метров в пять шириной, как навскидку бьет кулика, еле видного в вечерних весенних сумерках, как несколькими взмахами острейшего ножа, что в красивом шитом чехле висит у него на боку, разделывает убитого зайца, как, насквозь промокший, придя к нам в поселок, весело смеется над собой и уморительно рассказывает, что медведь, которого он ждал трое суток в яме, тоже три дня сидел в яме и ждал, пока Сашка уйдет, мне казалось, что он и родился в тайге, и все свои тридцать лет провел в этих сопках, на этой земле. Тайга и Сашка были неотделимы, как близнецы-братья. Но все это только казалось. На самом деле Сашка родился в Сочи, у самого синего моря. И судьба его была ой как трудна! Во время войны умерла мать, а в сорок пятом с фронта к ним приехал командир орудия, с которым вместе воевал отец. Отец умирал у него на руках, умирал в полном сознании, потому и попросил:

— Василий, ты ведь холостой. Возьми моего Сашку, будет тебе сыном.

Так Сашка вместе с отчимом уехал на Колыму, вместе с ним ходил в тайгу, а потом окончил горный техникум, вернулся в сопки.

С Сашкой в тайге как дома. Я просто онемел от восторга и удивления, когда он однажды на моих глазах, засучив рукав, застыл возле лесного омута, а потом резким движением вытащил из воды трепещущего хариуса.

Сашка в тот день, на мою радость, был дома. Выслушав просьбу соорудить ушицу, спросил:

— Ведра хватит?

— Какого ведра? — не сообразил я сразу.

— Ухи, разумеется.

В четыре вечера он пришел на берег, а в семь я уже пригласил ребят к дымящемуся ведру, из которого торчали хвосты налимов.

За рекой Колымой догорал закат, дым костра висел длинным синим шлейфом, и волны шумели на черных каменных перекатах, не мешая нашему разговору.

А разговор шел обычный: о жизни на Колыме, о знакомых старателях, о далеких городах, в которых мы были и не были.

* * *

...Цветет иван-чай! И вдоль дорог сиреневые ленты. Цветет голубоглазый Иванушка — значит, уже середина лета. А как пожелтеет, состарится, считай, и лету конец!

Только здесь даже июль иногда кажется глубокой осенью.

Еще несколько дней назад мы изнемогали от жары и комаров, задыхались липким тяжелым дымом (горела соседняя сопка, и ветер прижимал сизые космы прямо к нашим домикам), а сегодня по крыше шпарит крупный дождь. Вчера вообще шел снег. И было странно смотреть на сиреневые разливы иван-чая, цветущего на снегу.

Сыро. Холодно. Снова затопили печки. Настроение тоскливое. Золото вроде пошло на убыль. И каждый из нас думает: «Ну, все! Завтра обрежет, завтра пропадет. Не бездонная же бочка этот Радужный!» Решили пригласить верного человека. Пусть приедет и рассудит.

Только кого? Долго называли имена бывалых таежников, что видят на пять метров под землей, долго рядили каждого колымского «профессора», наконец выбрали совершенно неожиданно молодого геолога Гену Федорова.

— Генка близко, он сейчас за перевалом в разведочной партии, завтра и придет к нам, — поставил окончательную точку Саша Голомазов.

И ребята заспорили: чего у Федорова больше — воли или таланта?

А я удивлялся: зачем одно отделять от другого? Ведь воля — предмет не меньшей гордости, чем талант. И еще неизвестно, что поважнее. Когда же все это вместе, в одном человеке, тогда человеку просто цены нет.

И, слушая весь этот спор, я понял, что главным обстоятельством в пользу Федорова было не то, что он близко. Меня поразила удивительная история парня, которую мне тут и рассказали.

Приехал Гена на Колыму сразу после Московского горного института. Приехал с двумя цветными рубашками и связочкой книжек в сереньких переплетах. В книжках этих рассказывалось о золоте. Вся, так сказать, золотая азбука — от Адама до последнего Генкиного курса. Все, что писали, все, что говорили и умные, и старые люди, все аккуратно собрал студент Федоров. С этим багажом и прибыл на прииск.

Я к вам вторым геологом, — мягко, чуть слышно представился он Сонову.

Директор только что вернулся из тайги, где ревели бульдозеры и падали с грохотом огромные лиственницы, поэтому даже и не расслышал Генкиных слов, а, подняв от бумаг голову, спросил:

— Учитель, что ли? По арифметике? Ну слава богу, а то детишки ждут.

— Я извиняюсь, — вежливо пробормотал Генка, поправляя съехавшие от неожиданного вопроса на нос очки, — но я к вам геологом.

— Геологом? Ну чего ж, нам и геолог нужен. Тем более с образованием, — ухмыльнулся Сонов.

Посмотрел еще раз на Федорова и сразу представил, как уди-

вится его теперешний главный геолог Кладин, продутый всеми ветрами, промытый всеми дождями, обожженный и морозом, и солнцем могучий гигант в брезенте. Представил, как тот искренне и громко захохочет, увидев своего образованного помощника.

Но Кладин, к удивлению всех, встретил Геннадия вежливо и тихо. Говорят, даже стул предложил. Минут пятнадцать они беседовали с глазу на глаз. О чем они говорили, что обсуждали, никто не знает. Только Кладин после той беседы вышел из кабинета молчалив и грустен, низко опустив широченные плечи. Таким геолога на прииске не видели лет десять. И опытные знатоки душ человеческих сразу сказали:

— Ну, теперь жди новостей. Теперь будет война.

И не ошиблись. Следующей весной разведка предложила для эксплуатации огромный контур.

— Золото верное, — сказал на техническом совете Кладин, — правда, взять его будет нелегко. Придется попотеть. Пески лежат на шестиметровой глубине. Грунт тяжелый — глина. Техники угробим немало. Но овчинка выделки стоит.

И, авторитетно откашлявшись, сел, положив огромные руки на сиреневые карты полигонов.

С мнением Кладина уже согласились, когда в конце совещания Сонов предложил высказаться Федорову. И вот тут-то все и началось.

— Я извиняюсь, — начал своим обычным вступлением Гена, — но полигон, на который вы хотите, нет, мы хотим, — поправился он, и директору это понравилось, — бросить огромную технику, полигон, на который мы делаем главную ставку в проекте, вы даже представить себе не можете, к нашему общему огорчению, это исключительный случай, но случай возможный в теории и практике...

— Да говори ты толком, — перебил кто-то нетерпеливо Федорова, — в чем дело-то?

— А дело в том, — ничуть не обидевшись, продолжал Гена, — что полигон тот пустой. Да-да, пустой! Золото там кочковое. Разведочные шурфы по счастливой случайности в некоторых местах прорезали эти самые кочки, но чуть в сторону от них металла нет. Потому что коренные месторождения четвертичного периода...

И тут Федоров вылил на собравшихся такой поток информации, аналогий, выкладок, формул, что все растерялись, почувствовали себя первоклашками, школярами и даже обиделись. А обидевшись, сделали еще одну ошибку — больше не слушать этого студента, пусть лекции читает где-нибудь в другом месте. Даже Сонов засопел, насупившись, поднялся со своего места и сказал:

— Все ясно. Полигон включаем в проект.

Ах, как он потом жалел, что не набрался терпения, не выслушал Федорова до конца. Что глупая гордость, нет, не гордость, а чванливость пожилых перед юнцом: мол, мы и без тебя все знаем, подумаешь, яйца курицу учат, заглушили тогда здравый рассудок, зачеркнули весь опыт. Обида пожилых обошлась прииску в сотню тысяч рублей. Но самое главное — было потеряно время, время же в тайге — это и есть золото.

А Федоров тоже хорош. Нет чтобы написать после совещания свое особое мнение, что ледник, который был даже черт знает

когда, утащил это золото из долины на километр ниже, в устье ручья. Где оно и лежит до сих пор. Только уже не на поверхности, а глубоко.

— Ух мне этот очкарик, — беззлобно потом ругался Сонов.

Но это было потом, позже. А тогда, вскоре после совещания, бульдозеры, надрываясь и теряя клочья гусениц, ревели на огромном полигоне, который предложил отрабатывать Кладин.

Федоров же начал бить свой шурф в самом устье ручья. Он тоже доказывал свою правоту, свою теорию. Представьте себе вертикальную дырку глубиной в пятьдесят метров, ширина которой всего лишь сто двадцать сантиметров. В нее даже смотреть страшно, не то что спускаться вниз.

— Небо, когда стоишь на дне, — рассказывал мне потом сам Федоров, — кажется синей звездочкой. Напарник мой первое время перед каждым спуском чуть ли не молился. А чего врать, на самом деле было жутко.

Над Федоровым и его напарником смеялись, шутили, а потом просто забыли. Вспомнили лишь тогда, когда вскрытый полигон за десять дней промывки дал лишь три килограмма золота. Зато в шурфе Федорова металл был богатый.

С тех пор перед Геной снимали шляпы и тертые старатели, они сразу причислили его к своей когорте «профессоров». А еще полюбили Генку за то, что на представительном совещании, где разбирали причины провала и подсчитывали убытки, не стал топить Кладина, а, торопясь, говорил, что ошибка главного геолога объяснима из-за исключительности случая с этим месторождением, что в мировой практике за всю историю был лишь один подобный прецедент, когда в 1835 году прогорел уральский золотопромышленник, вложивший все деньги вот в такую же перспективную россыпь, а там тоже проходил ледник и утащил металл ниже на несколько километров...

И снова посыпались аналогии, формулы, примеры. Но теперь все лишь улыбались.

Вот Гену Федорова и позвали наши ребята, чтоб определить богатство Радужного.

Придя вечером со съемки, я увидел в своем кузове симпатичного парня в выгоревшей брезентовке и клетчатой ковбойке. Дымчатые очки в тонкой золотой оправе придавали лицу несколько загадочный вид.

— Ну показывайте свое золото, — деловито начал Гена, когда в кузове собралось человек пять.

— Володька, — крикнул мне Козел, — принеси мешочек!

Вчера мы как раз поймали в колоде кусок металла величиной с ладонь. Весил он двести сорок три грамма. Но нас поразил не вес, а какой-то корявый, истерзанный вид самородка. Был это не слиток, а скорей застывшая золотая пена.

Я принес мешочек с металлом и отдал его Федорову. Тот высыпал золото на сковородку, достал из кармана лупу и стал рассматривать каждую песчинку.

Мы молчали. Прошла минута, десять, а Федоров словно забыл о нас. Козлов кашлянул.

— Подождите, сейчас-сейчас, — понял намек Федоров.

И снова мы молчали с полчаса. Наконец Гена оторвался от песка и весело посмотрел на Козла.

— Ну поздравляю! Уникальная штука. Вы сидите как раз на коренном месторождении. Это золото здесь и родилось.

Мы переглянулись. Вот так штука, вот так удача.

— Родина не забудет и не простит твой подвиг, Козел! — крикнул Птичкин, сразу переходя на тон балагура.

— Да перестань ты! — нервно перебил его Козлов.

Видно, сообщение Федорова его заинтересовало всерьез.

— Ну и что же теперь? — тихо спросил он Гену.

— А ничего, — весело ответил Федоров. — Технику можете перебрасывать в другое место и готовиться к следующему году.

— А как же Радужный?

— Будете мыть потихоньку.

— Как так? Ты ведь говоришь — месторождение...

— А очень просто, — видимо забавляясь нашим волнением, ответил Федоров. — Вы чуток опоздали. Перед тем как прийти сюда, я зашел в архив прииска. Посмотрел старые карты, прочитал книжечку геолога Бориса Вронского, был такой в тридцатые годы. И что бы вы думали, именно о вашем Радужном там есть интересные вещи. Артель старателей выбрала самый центр жилы, весь ее позвоночник. А это, — Федоров подбросил на ладони корявый самородок, — просто крошки с барского стола. Но крошек при сегодняшней технике хватит, чтобы беззаботно жить годок-другой. С чем вас и поздравляю!

И, сразу же забыв все сказанное, спросил:

— А может, вы меня покормите? А то я на свежем воздухе здорово проголодался.

Козел, понурив голову, поплелся в столовую. Вслед за ним двинулись и мы.

— Не пойму, чего ты расстраиваешься? — аппетитно обгладывая оленью кость, искренне спрашивал Гена нашего председателя. — Нашел золото и плачешь, будто тебя обокрали. А где вы ножку-то оленью достали? Свежая, наверное, еще вчера гуляла по полям и лугам? — неожиданно спросил он, чтобы, видимо, уйти от разговора о золоте.

И здесь он оказался прав.

Прошлой ночью мы узнали, что в соседней долине, где в лощинах лежит еще наледь, а весь склон сопки выстлан светлым ягелем, появились дикие олени. И наш снайпер Гриша Кузьмин тут же отправился за свежим мясом. Информация оказалась точной. Пять диких красавцев на самом деле паслись возле наледи. Гриша хладнокровно выбрал теленка помоложе и утром притащил в поселок чуть ли не половину туши. Остальное пришлось спрятать, забросать мхом, чтоб не растащили падкие на дармовщину медведи. За этой половиной мы и собрались сегодня. Гена Федоров решил идти с нами.

Шли мы молча, плечом к плечу, забираясь в лес все глубже и глубже, и чувствовали, как настороженно своими вишневыми глазами нас провожают цветущие лиственницы. Но в тайге, если сделал даже один шаг, так уж иди до конца. И только вперед.

Вскоре мы вошли в долину. Лед, сохранившийся в ней, сейчас под луной весь светился. Казалось, что внутри него зажгли синие лампы. А по светлому кварцевому руслу, сверкая, бесшумно бежал ручей. Крутые же склоны сопок, как в ладонях, держали, укрывая от всех ветров, поляну, застланную ковром мягкого нежного ягеля. И о чудо! По этому ковру неслышно ступали белые

олени. Мы ждали чего угодно, только не этой встречи. Ведь не должны, никак не должны они были после всего случившегося снова прийти сюда.

Мы замерли, совершенно забыв, что за плечами у нас карабины.

— Ну что будем делать? — наконец зашептал Гриша Кузьмин. — Бить или не надо?

— Может, не будем? — посмотрел на Гришу Федоров.

— Да я самого маленького, вон того, слева.

И вдруг... олени подняли головы и рванулись прямо на нас. Они мчались, запрокинув на спину сучковатые ветви рогов, ловко проскакивая меж деревьев. И не успели мы сообразить, что же все-таки произошло, как тут же увидели черную лохматую тень, несущуюся вслед за животными. Теперь она накатывалась прямо на нас. Бежать было поздно.

— Медведь! — истошно закричал Кузьмин.

Я судорожно сорвал с плеча карабин и, от страха почти закрыв глаза, стрелял и стрелял прямо перед собой, пока не выпустил всю обойму. В лесу началась такая пальба, будто целый взвод из последних сил отбивал атаку наседающего противника.

А потом все сразу стихло... Оказалось, у всех кончились патроны.

— Кажется, ухлопали, — первым подал голос Кузьмин.

— О господи, неисповедимы твои пути, — снимая очки, сказал Федоров. — Идешь за мясом и вдруг сам угодишь на закуску.

Никто не поддержал его шутку.

— Нет ли у кого папироски? — спросил некурящий Вася Молдаванов.

— Держи сигареты, — протянул ему пачку «Памира» Дима Михайлов, закуривая первым.

Небо над тайгой посветлело, рассвет как бы выключил синие лампы, что горели внутри наледи. Тишина снимала свои ночные караулы. Чуть поодаль, на молоденькой лиственнице, уже что-то треснуло. Затихло, потом снова затрещали ветки, и буквально к нам под ноги свалился крохотный медвежонок. Не обращая никакого внимания на нас, он бросился к медведице, жалобно заскулил, прижимаясь мордочкой к окровавленному, еще теплому телу матери. Заглядывал в ее остекленевшие глаза, что-то урчал на ухо, будто пытаясь разбудить. И вдруг, словно почувствовав непоправимость свершившегося, начал скулить все громче и жалобнее.

Все дети земли плачут по матери одинаково...

Мы, четверо убийц, опустив головы, стояли молча рядом, и каждый из нас проклинал и себя, и эту ночь.

А кругом цвели лиственницы и грустно смотрели, как безутешно плачет крохотный медвежонок...

Нарушил молчание Гриша Кузьмин:

— Надо его брать с собой, пропадет мишутка в тайге. Уж очень махонький.

Скоро мы шагали домой. Только вместо оленины могучий Саша Голомазов нес завернутого в гимнастерку осиротевшего медвежонка...

* * *

...Вчера утром еще было солнце и алые от зари облака и сопки плавали в воде полигона, на котором я спокойно делал очеред-

ную съемку металла. Думали, что сегодня уже будет годовой план, но не хватило лишь пятисот граммов.

Значит, завтра!

В обед я рубил ножом смолистый пахучий стланик, давил губами черные ягоды голубики и думал: как быстро все-таки бежит время. Вроде недавно был апрель, и мы по пояс в снегу лазали за лиственницами, и белые лебеди несли на крыльях лишь надежду на весну, а сегодня уже далеко позади майские пурги, майские снега и бесконечные белые ночи июня, сегодня погода уже словно вешний лед: не крепка и не надежна — дунет ветер, и ломается, как сухая ветка под ногой, значит, скоро-скоро простится с нами колымское лето: ванюша-чай уже пожелтел...

И действительно, словно накликал я непогоду. Ночью в долину нашу пробрались холодные снежные облака, принесли ветер и дождь. Эх, испортил он нам самую торжественную съемку сезона, самую торжественную минуту... Я сижу в своем кузове, слушаю, как свистит в щелях ветер, а за стеной в своей клетке, которую сварил из прутьев Гриша Тонконогов и которая стоит совсем рядом, ревет наш медвежонок Яшка. У него вот уже несколько дней болят зубы. Мы его кормим анальгином, да, видно, не помогает. Что же теперь делать? И ему и нам остается лишь надеяться на лучшее будущее...

Целый день по долине мечутся лохматые облака, похожие на бездомных злых собак. Съемку решили не делать. Ливень — носа не высунешь. Но работать надо.

Алеша Ханов уехал ненадолго домой, у него что-то с дочкой случилось. Сегодня он должен был вернуться, но пока его нет. И в ночь выхожу я.

Вечером надел мокрую робу и потопал на полигон. За плечами кожаная сумка с продуктами. Ведь я снова колодчик — значит, ночью буду, как прежде, кормить бульдозеристов.

Золотые пески от дождя стали жидкими, они текут, как кисель. И бульдозерист с трудом довозит их до колоды.

С каждым часом все холоднее и все сильнее шпарит дождь. Будто сговорились! В полночь дорожка, по которой ходит с песками бульдозер, уже парит, словно ее поливают кипятком. Значит, стынет земля.

В час ночи зашабашили. Я сбегал в лес, притащил корягу, какой-то мохнатый пень, облил его соляркой и поджег. Пламя вырвало из темноты лица бульдозеристов. Сегодня со мной работают Сергей Белоконев и Андрей Федотов. Оба в тайге не новички, оба в артели уже годков семь. Видели всякое. На Колыму приехали после армии. И конечно, как все, только на три года. А сами, слава богу, уже четыре раза ездили на материк. Ребята эти мне нравятся своим довольно редким в тайге качеством: оба умеют прекрасно рассказывать, а историй у них — целый мешок.

Я завариваю чай, накрываю его рукавицей, чтоб душистей был, и достаю из сумки еду: хлеб, сгущенку, колбасный фарш и, конечно, тушенку. Но сегодня у меня для ребят сюрприз. Утром из Магадана приехал наш председатель и подарил мне три свежих огурца: купил на рынке.

— Это закусишь, когда план выполним. После съемки.

Но съемку мы отложили, а огурцы, этакое богатство, разве удержишь до завтра. Вот и взял их на колоду.

— А сейчас, господа, — делаю я загадочное и таинственное лицо, — прошу отвернуться, сейчас вы увидите чудо века!

Ребята поворачивают головы и странно моргают, будто в глаза им попала пыль.

— Секрет фирмы! — гордо сообщаю я. — Как говорится, бог послал!

Ребята достают свои складные ножи, кладут на черные от солярки ладони зеленых красавцев и осторожно, как хирурги, разрезают их на несколько тонких долей. Чем тоньше, тем дольше продлится удовольствие.

Огурцы в свете костра блестят влагой и белыми рядами семечек. А у нас слюна течет, как сегодняшний дождь, — захлебнуться можно.

Но любое чудо всегда длится несколько мгновений. Вот и огурцы наши, как мы ни растягивали наслаждение, бесследно исчезли.

Андрей смотрел на свою ладонь и хохотал:

— А ведь был же, не приснилось.

— Ладно, открывай тушенку.

Мы сидим у костра, потягиваем чаек и совершенно не обращаем внимания на ливень, что пытается погасить горячее пламя. У нас впереди еще тридцать минут блаженства. Обед кончается ровно в два ночи. Но до этого еще далеко.

— Вот бы нашего Яшку научить на колоде стоять. Все камни ему нипочем. А так лишь мается, бедный, в клетке со своими зубами, — говорит вдруг Андрей, видимо жалея меня за сегодняшнюю трудную смену.

А смена действительно не сахар. Ливень — это еще полбеды. Замучили плоские камни с синей глиной, которую недаром окрестили синюгой. Она склеивает камни, а они, как потолочные плиты, лежат в колоде и не думают ползти вниз. Вот и приходится буквально отдирать их трезубым стальным крючком. Потеешь не хуже, чем в знаменитых Сандуновских банях.

— Андрюш, ты помоги Володьке, а то сейчас самая синюга пойдет, — бросает, поднимаясь, Сергей, — я пока сам управлюсь. Добро?

— Какой разговор! — охотно соглашается Андрей.

Я благодарно смотрю на бульдозеристов: спасибо, ребята. Но не произношу ни единого слова. Знаю, в тайге таких слов не любят. Лишь набрасываю капюшон и быстро иду включать насос.

Сергей не ошибся: синюга пошла сразу. Огромные куски замазки плюхались в колоду и прилипали к железу. Мощная струя била глыбе в лоб, но напрасно. Синюга ни с места, подойти же к ней вплотную и покрепче схватить острым крюком почти невозможно — в разные стороны разлетались фонтаны воды. Они заливали лицо, ослепляли, словно веревкой хлестали по спине.

Прикрывшись брезентом, мы бросались в самую воду, вставали на скользкие борта колоды, так легче было приподнять глыбу, и дергали-дергали ее, пока она не скатывалась вниз.

А потом все начиналось сначала.

После каждой десятой глыбы мы с Андреем бежим к костру хлебнуть из кружки горького чая. Грязные, мокрые, стоим рядом и жадно глотаем кипяток.

— Ты как?

— Я ничего. А ты?

— Я тоже ничего.

Если б не Андрей, я бы упал лицом в эту ночь и ни за что бы не встал до утра. Но всякий раз, даже когда этих синих глыб мы уже перевернули, наверное, не меньше тысячи и когда сил оставалось, чтоб только хлебнуть глоток горького чая, я все равно отвечал: «Ничего». И снова шел к колоде, где с ревом металась в узком железе вода и где кувыркались, как мячи, оранжевые валуны.

Кончилась смена. Кончился ливень.

Утром бредем по трассе. Тихо и чисто в тайге после дождя. Только далеко-далеко поют птицы.

Рядом со мной идет Андрей. Он молчит и тоже слушает птиц. Мы сегодня ночью очень устали. Я не помню, как пришли в свой домик, как я разделся и бросился в постель...

И вот я уже бегу к лесу через огромное-огромное поле. И ромашки, как белая морская пена, растекаются у меня на груди.

— Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать... — слышу вдали затихающий голос.

А я все бегу и бегу к своей заветной поляне, где ждут меня сосны. Они мои. Только мои. Здесь я клялся, что буду вечно любить Наташку из пятого «В», здесь я плакал навзрыд, собирая незабудки на могилу деда. Здесь же в августовский звездный дождь я загадывал желания, которым присягал на века. И здесь же чуть позже я понял, что все проходит. И ничто к нам не возвращается: ни те поляны, что видели июньскую радость нашего детства, ни те луга, что слушали наши первые песни, ни те реки, в которые мы опускали ладони, еще не знавшие труда и забот.

Все проходит. И первым проходит детство.

Остаются только сосны. Они помнят те белые разливы ромашек в простом русском поле, помнят мальчишку, смешного и голубоглазого, который в минуту веселой игры вдруг убегал от друзей, опускался на колени перед теплой землей, падал лицом в васильки и затихал, как птенец. Лишь губы его что-то беззвучно шептали...

Где вы сейчас, мои сосны? Неужели и без меня льются над вами августовские звездные дожди?

Подождите меня. Подождите! Я бегу! Вот уже и поле ромашек. Только почему на мне эта брезентовая роба, почему на мне эти тяжелые резиновые сапоги? И откуда взялась река, в которой кувыркаются оранжевые валуны?

— Подождите, я сейчас...

— Чего там сейчас, — слышу я чей-то голос. — Вставай, вставай, в смену пора.

Голос все ближе, все громче.

— Ну вставай, говорю!

Я открываю глаза и вижу перед собой Козла. Он трясет меня за рукав и ругается на чем свет стоит.

— Спит, как на курорте, — видя, что я уже проснулся, чуть мягче ворчит Козел. — Давай, давай, живо!

Вот и кончилось мое детство. Может, его и не было. Может, был просто сон...

Я натягиваю сапог и улыбаюсь своим мыслям.

— Ты чего? — спрашивает меня с соседней койки Андрей. — Он тебя покрыл, а ты улыбаешься.

— Да черт с ним, — отвечаю я, надевая пиджак, — пошли в столовую.

Ничего не подозревая, ничего не ожидая, мы подходим к столовой, спокойно открываем дверь... И нас оглушает грохот.

Кто-то истошно гремит, как оркестровыми медными тарелками, крышками от пятидесятилитровой кастрюли, в ход пошли ложки, ножи и стеклянные банки. И весь этот адский шум, как мы сразу догадались, должен был изображать встречный приветственный марш.

— Нашим именинникам, накопавшим последний килограмм золота, веч-на-я па-мять! — перекрывая грохот, ревет луженым горлом Толя Кошелев.

Потом все быстро стихает, только Козел кричит:

— Дурак, не память, а слава.

— Какая разница! — смеется Кошелев.

— Братцы! — начинает свою тронную речь Козел. — Сегодня ночью вот эти (кивок в нашу сторону) намыли последний по плану килограмм золота. Теперь совесть наша чиста.

— Мне бы с долгами расплатиться, — буркнул Веня.

Видно, речь Козла его не растрогала.

Черт с ним, с Козлом, и его дурацкой речью. День действительно был замечательный, и была отличная причина, чтоб попробовать пивка, которое Рудик специально к этому дню привез и которое здесь не променяют ни на какую водку, будь она хоть трижды «Столичная».

— Саня, подай там рыбку к пенистому! — крикнул Кошелев повару.

А нам, ночникам, не положено. И лучше не смотреть, а положить в сумку тушенку, чай и конфеты и скорей на полигон, где нас ждет ночь, костер и золото...

...Сегодня я улетаю в Москву.

Идет белый тихий снег, как тогда, в апреле, когда я впервые увидел эту землю. Может, ничего и не было, может, все это только приснилось: и лесные распадки, и желтые полигоны, и сковородки, полные золота, и голубые наледи, и камни в колоде, похожие на слонов, и комары, и ночная тайга, и бесконечные серые дожди?..

Нет, все это было. Ведь сегодня падает снег сентября...

Я стою на трассе и жду машину до Стрелки. А там рейсовый автобус, потом самолет. И через пятнадцать часов полета — Москва. То далекое станет близким, а это близкое станет воспоминанием. Неужели только воспоминанием?..

■

К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
В. В. МАЯКОВСКОГО

Лев ОШАНИН

МОЙ МАЯКОВСКИЙ

Я видел Маяковского только один раз.

Это было в нынешнем помещении Правления Союза писателей СССР. Маяковский только что вступил в РАПП и с охотой участвовал в «объединительных» поэтических сборищах.

Он сидел в кресле с правой стороны сцены, чуть выдвинувшись перед столом президиума.

Вел вечер Алексей Сурков:

— Вот мы собрались, чтобы наконец договориться, а Кирсанов не пришел, пошел на вечер Маяковского.

Маяковский все заглушающим басом бросает:

— Хороший был вечер.

Это была единственная фраза Маяковского, которую я слышал со сцены.

Потом произошло нечто неожиданное и неловкое. Рядом со сценой была тогда спортивная комната со шведской стенкой и снарядами. В перерыве несколько человек вслед за Маяковским зашли в нее. Маяковский увидел волейбольный мяч, взял его в руки, и сразу образовался круг. Я оказался напротив Владимира Владимировича. Прищурясь, он оглядел мою черную косоворотку и не очень отмывшиеся токарные руки и, добро улыбнувшись, сильно послал в меня мяч.

Я тогда увлекался волейболом и, конечно, сразу решил ответить встречным ударом. Но я не заметил, что у Маяковского, когда он бил, из кармашка брюк выскочили часы и повисли на цепочке. Вообще я был слишком взволнован, чтобы разбирать детали и чтобы тщательно прицелиться. Мой мяч попал прямо в часы Маяковского, и они разлетелись по винтикам.

Все это продолжалось не больше минуты. Сразу же раздался звонок, комната опустела. И вот мы с Маяковским на коленях пытаемся собрать раскатившиеся винтики и колесики.

Не поднимая головы, тем же басом Маяковский говорит:

— Дареные были часы...

Но куда там! Собрать ничего невозможно.

И вот, в сущности, единственное мгновение человеческой близости с Владимиром Владимировичем.

Я бормотал какие-то слова. Что-то вроде «простите», «нечаянно...». Он поднял свою удивительную голову с грустными глазами, еще раз оглядел заводского парнишку, погубившего дареные часы. Оценивающий взгляд его словно бы говорил: «Ну что с тебя возьмешь». Мы встали с колен. Он положил мне руку на плечо.

— Ладно. Еще куплю. Пошли в зал.

Казалось бы, незначащая встреча. Но даже в ней в каждом движении, в каждом слове Маяковского были естественность, человеческая простота.

Не бывает поэтов, равно существующих для всех. Все знают, что Пушкин — великий поэт, юноша в школе готов поверить этому на слово. Но для него лично Пушкин только тогда станет Пушкиным, когда у него с поэтом установятся свои собственные отношения, когда строчки Пушкина будут приходить ему на ум в радостную и трудную минуту, станут необходимыми. Этого школьный учитель не может просто объяснить. Это должно прийти само. Конечно, учеба нужна, но в ней должно быть больше творчества.

Как часто в школьном возрасте человек, скользнув по стихам Пушкина, вдруг потрясенный, открывает для себя Лермонтова. И только потом, через много лет, ощущает наконец подлинное величие Пушкина.

Так же сложен приход человека к любому поэту. В том числе и к Маяковскому. Вероятно, к Маяковскому еще труднее. В школе, как правило, изучаются всего несколько его стихотворений и две поэмы, и «проходятся» они далеко не всегда вдохновенно и увлекательно.

Не могу забыть рассказ одной школьной библиотекарши. К ней пришел мальчик и попросил том Чехова. Получил. Не уходит. Помявшись, говорит:

— А теперь дайте что-нибудь почитать.

— А Чехов?

— Мы его прорабатываем.

К сожалению, немало есть школьных учителей, которые «прорабатывают» писателей и их произведения, гонят программу, считая своей главной задачей сообщение определенных сведений. А ведь задача настоящего преподавателя литературы совсем иная.

Я вспоминаю моего учителя в 27-й школе Сокольнического района города Москвы Ивана Ивановича Веткина. Была середина 20-х годов. Иван Иванович — уже немолодой человек — не понимал и не любил современной поэзии. Ни Маяковский, ни Есенин, ни даже Блок не были ему близки. Но он научил нас чувствовать и любить слово Пушкина, мы знали наизусть «Евгения Онегина», мы читали по ролям «Горе от ума». Мы открывали для себя захватывающие картины революционной борьбы через строки Лермонтова и Некрасова.

Что же в том, что Иван Иванович не понимал Маяковского? Он научил нас понимать и любить поэзию. И каким подарком

для меня было потом встретиться с «Облаком в штанах», первым из того, что я прочел из Маяковского.

И разве ближе Маяковский к тем сегодняшним ребятам, которым формально, скороговоркой прочитали четыре-пять его наиболее известных стихотворений? Добавим еще, что некоторые мастера художественного слова за многие годы создали своеобразный стандарт в исполнении Маяковского, пытаясь повторить голос, рост, манеру чтения поэта, упуская все богатство его боли и гнева. Этим они тоже оказали медвежью услугу наследию Маяковского.

Маяковский трактовался часто только как чистый публицист, выхолащивалась его лирическая суть, многогранность его поэзии.

Может быть, именно поэтому сейчас наметилась новая тенденция. Нашлись люди, которые пытаются усомниться в подлинности высокой гражданственности Маяковского. При этом они опираются на его собственные строки:

...и мне бы
строчить
романсы на вас, —
доходней оно
и прелестней.
Но я
себя
смирял,
становясь
на горло
собственной песне.

Эти строки говорят не о неискренности, а о подвижничестве поэта. Он не позволял себе «мандолинить из-под стен». До революции он обращался к Игорю Северянину:

Как вы смеете называться поэтом
и, серенький, чирикать, как перепел!
Сегодня
надо
кастетом
кроиться миру в черепе!

И не до кокетства ему было, когда в 1929—1930 годах он, оглядывая свой путь и свою работу, говорил:

Мой стих
трудом
громаду лет прорвет
и явится
весомо,
грубо,
зримо,
как в наши дни
вошел водопровод,
сработанный
еще рабами Рима.

Я не хочу навязывать читателям моего отношения к Маяковскому. Но я хочу рассказать о нем.

Для меня пора открытия Маяковского принесла с собой всю современную поэзию. В седьмом классе школы явилось все сразу: азбучная по своей простоте «Комсомолия» Безыменского и пронзительный в каждой строке Есенин, «Баллада о синем пакете», «Перекоп», «Сами» Николая Тихонова, «Рабфаковке» Михаила Светлова и «Юго-Запад» Эдуарда Багрицкого, «Двенадцать» Блока и «Облако в штанах» Маяковского. Десятки стихов Есенина, Багрицкого, Тихонова, Светлова, Блока и «Облако в штанах» я сразу запомнил наизусть.

Меня взволновал диапазон современной поэзии. Каждый день приносил новые открытия. И вот среди этого удивительного моря поэзии над всем выросла могучая фигура двадцатитрехлетнего человека, каким он был в поэме. Двадцать три года — мне тогда казалось, что это так много!

Двадцатитрехлетний человек, весь земной в своих порывах, в отношении к любви и жизни, замахивается на бога, замахивается на общество, на общественный строй, который казался еще таким прочным. И восклицает:

...в терновом венце революций
грядет шестнадцатый год.

Потом я стал жадно хватать Маяковского и увидел его в газете. Это было всегда прочно сколочено, иногда удивительно зарифмовано. Всегда к делу. Но того чувства чуда, охватившего меня над поэмой, не возникало. Я понимал необходимость такой работы поэта. Сохранялась для меня и цельность его образа, образа человека, отдавшего себя будням строительства того мира, который он предсказывал. Но чувственная, эмоциональная необходимость поэта для меня, для моей работы стала менее острой. И вдруг в газете же я начал находить тоже, казалось бы, стихи «на случай» — о том, как литейщик Иван Козырев вселяется в новую квартиру. Или «Стихи о советском паспорте», или удивительное «Сергею Есенину». И поэму «Владимир Ильич Ленин». У этого Маяковского опять возникало полное слияние его общественного служения и его личного «я». Это опять была не работа, а необходимость.

Постепенно все стало внутренне ясно. Я для себя отделял избранного, необходимого мне Маяковского от Маяковского — мастера журналистской строки, отлично сделанной, нужной сегодня на газетном листе, но не имеющей права на площадь в томах избранных стихов поэта.

Я — профессиональный литератор, целиком разделяющий идейную направленность Маяковского, для себя делал эту работу отделения того, что мне необходимо. А смогут ли это сделать неподготовленные читатели?

Думается мне, что вот эту масштабность, глубокую гражданственность и человеческую простоту мы обязаны донести до нового, сегодняшнего и завтрашнего читателя Маяковского.

И сегодня из томов партийных книжек встает тот удивительный, цельный и сложный, в каждой строке верный революции художник, каким был и остается Владимир Маяковский.

■

Н. В. СВИРИДОВ,

председатель Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли

ДЕТИ, ЛИТЕРАТУРА, КНИГИ

Всех нас интересует вопрос: каким будет советский молодой человек на пороге третьего тысячелетия нашей эры? Они уже появились на свет, они живут, они уже поют безмятежные песни своего детства, граждане Страны Советов, которые будут плавить сталь, растить хлеб, управлять самыми сложнейшими машинами и писать стихи в начале XXI века на широких пространствах нашей родной земли.

Какими мы воспитаем их, насколько духовно обогатим, закалим, откроем новые горизонты, окрылим нашими высокими идеалами, передадим, как эстафету, революционные традиции — от всего этого зависит будущность великого коммунистического дела, дальнейшая история нашей страны.

«Самая суть коммунизма определяется тем, что граждане обладают высокой степенью сознательности и чувством ответственности перед обществом, высокими нравственными качествами», — отметил в докладе «О пятидесятилетии Союза Советских Социалистических Республик» Генеральный секретарь ЦК КПСС тов. Л. И. Брежнев, подчеркнув, что жить в коммунистическом обществе будут самые трудолюбивые и добросовестные, организованные и высокосознательные люди.

Чем дальше мы продвигаемся к коммунизму, тем более зреет и укрепляется советский образ жизни. Все прекраснее становится советский характер. Интернационализм, социалистическое отношение к труду, чувство хозяина страны, благородный коллективизм, высокая образованность, чистота общественных отношений, не отягощенных ни религиозными, ни национальными, ни собственническими предрассудками, новая мораль и этика — все эти черты отличают людей мира социализма.

В дни празднования юбилея Страны Советов мы с особой обостренностью и гордостью глубоко ощу-

тили свою принадлежность к новой, впервые в мире сложившейся исторической общности людей — советскому народу.

Тронуло сердца и взволновало умы великое наше историческое достижение, равное таким вершинным завоеваниям, как индустриализация, коллективизация, культурная революция. Я имею в виду решение национального вопроса в СССР так, как это виделось Ленину пятьдесят лет назад.

Чем грандиознее наши задачи, тем важнее становится коммунистическое воспитание, этот живой, пульсирующий процесс наших дней. Его генеральные направления определил XXIV съезд КПСС. В формировании нового человека все более активная роль отводится литературе и искусству социалистического реализма.

В наше время, время развитого социализма, в духовной жизни общества первостепенное значение приобрела книга, которая отражает успехи современной науки, техники, обобщает передовой опыт, содержит высокие достижения литературы и искусства, живое биение теоретической мысли. Книга не только отражает развитие общества, но и, в свою очередь, способна влиять на ускорение этого развития. Вот почему столь важно усиление влияния литературы на коммунистическое воспитание юного поколения.

Детская литература — широкий литературный плацдарм. Перед ней стоят проблемы, общие для всей советской литературы.

Определяя круг чтения для детей, А. М. Горький советовал искусно и бережно отбирать наиболее ценные книги из мировой и советской литературы как общей, так и детской, а также собирать и привлекать к созданию книг для детей широкие кадры писателей, ученых и художников. Вот как широко смотрел на детскую литературу Горький — это и классика, и лучшие вещи из большой советской литературы, это и новые книги новых авторов.

То, что достигнуто, достойно нашего общества и само по себе является предметом гордости всех советских людей.

Советская детская книга по справедливости пользуется мировой славой. Зарубежные гости — знатоки литературы — неизменно отмечают невиданные масштабы книгопечатания для детей в СССР, самый высокий художественный уровень иллюстрирования детских книжек, литературное мастерство большой плеяды писателей, работающих в этой области.

Благодаря постоянной заботе партии книгоиздание для детей развивается всесторонне. «У нас есть превосходная литература для детей, которая развивается как неотъемлемая часть большой советской литературы», — сказал на Всесоюзном съезде учителей Генеральный секретарь ЦК КПСС тов. Л. И. Брежнев.

За последние годы, в особенности после XXIV съезда КПСС, под непосредственным влиянием Постановления ЦК КПСС о мерах по дальнейшему развитию советской детской литературы книгоиздание для детей активнее и многограннее содействует коммунистическому воспитанию юного поколения.

Плодотворные качественные сдвиги сочетаются с быстро возрастающими масштабами книгопечатания.

За восьмую пятилетку издательства Российской Федерации выпустили около 1 миллиарда детских книжек, а за годы девятой пятилетки общий тираж детской литературы предстоит довести

до полутора миллиардов экземпляров. В 1975 году мы должны дать детям 310 миллионов экземпляров детских книг — вдвое больше, чем в 1965 году.

Генеральное направление нашей работы с детьми и для детей определяют бессмертные ленинские слова, обращенные к молодому поколению: «Коммунистом стать можно лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество».

Все вобрала в себя эта формула: и звонкую свирель пушкинской сказки, и строгое, скромное, слегка даже застенчивое слово первого космонавта, вернувшегося из полета, и строгий узор прозы Льва Толстого, и эпохальные открытия науки — все лучшее, что великий собиратель Время просеяло, провеяло на острых ветрах истории и сохранило для новых поколений. И самое высокое среди духовных сокровищ — вершинное достижение человеческой мысли и революционного действия — марксизм-ленинизм. С этим багажом юность пойдет в коммунистическое Завтра.

Н. К. Крупская очень верно заметила, что понять Ильича как человека — значит глубже, лучше понять, что такое строительство социализма. На примере жизни и деятельности Владимира Ильича лучше и доступнее изучать принципы ленинизма.

У нас создана на серьезных научных и эстетических основах великолепная Лениниана для детей и юношества. В нее вошли воспоминания Н. К. Крупской, А. И. Ульяновой-Елизаровой, Е. Д. Стасовой, В. Д. Бонч-Бруевича, Г. М. Кржижановского, классические произведения о В. И. Ленине, созданные А. М. Горьким и В. В. Маяковским.

Отрадно, что Лениниана обогащается новыми произведениями разных творческих почерков и стилевых манер. Их авторам свойственно серьезное отношение к высокой теме. Лениниана для детей и юношества в последние годы, в частности, пополнилась новыми произведениями Сергея Михалкова, Зои Воскресенской, Фазу Алиевой, Виктора Тельпугова, Николая Дамдинова. Заслуживает особого упоминания книга «Жизнь Ленина» — художественная биография вождя для детей среднего возраста, написанная Марией Прилежаевой, за которую ей присуждена Государственная премия РСФСР имени Н. К. Крупской.

В канун 100-летия со дня рождения В. И. Ленина и затем, перед 50-летием образования СССР, издательствами в содружестве с писательскими организациями была проведена большая работа по подготовке и выпуску книг, посвященных В. И. Ленину, причем главное внимание обращалось на то, чтобы сохранить Лениниану в ее идейной и художественной чистоте.

Лениниана неисчерпаема, как неисчерпаемо и вечно молодо ленинское учение. Не умаляя того, что уже написано о Ленине в детской и юношеской литературе, отдавая дань уважения и признательности тем, кто внес свой вклад в Лениниану, мы ждем новых художественных открытий. Если Ленин довольно подробно изображен в быту, то в меньшей степени как мыслитель, вождь и государственный деятель. Еще слабо прослежены в художественной литературе для детей развитие ленинской мысли, динамика его революционного действия, недостаточно показана живо-

творная, созидательная сила его учения. Иные говорят, что это детям недоступно, им многого не понять. Но это зависит от смелости и мастерства художника: если изображать жизнь Ленина в клокочущем водовороте исторических событий, если показать кипение его революционной страстности и развитие его мысли — все поймут, и взрослые, и дети.

Мне вспоминается рассказ одного из ветеранов комсомола о том, как в 1922 году он, двенадцатилетний парнишка, совершенно своеобычно приобщился к марксизму, впервые почувствовал его живую душу. В средней школе маленького северного городка неожиданно появился новый учитель обществоведения — недавний комиссар гражданской войны. Время было трудное, ученики писали на оберточной бумаге, на листах газет. Комиссар увлеченно рассказывал о Марксе, о законах развития общества. Комиссар любил диктовать. Однажды он продиктовал мальчишкам и девчонкам строки из Маркса, из «Коммунистического манифеста», из предисловия к «Критике политической экономии». Это были знаменитые, полные революционного пафоса строки о смене социально-экономических формаций, о неизбежной гибели последнего эксплуататорского строя.

— Мы ощущали, что пишем нечто великое и важное на всю жизнь, — рассказывал далее мой товарищ. — Нас восхищала музыка гордых слов. Мы понимали смелый их смысл. И мы, малые, худые, голодные, испытали тогда истинное потрясение, ибо вдруг поняли великое, сокровенное — тысячелетнюю закономерность истории, неотвратимые повороты ее колеса, рождение и гибель миров, возникновение невиданной, чудесной, счастливой эры — эры светлых годов. Это был первый и самый глубокий в жизни урок марксизма, счастливое озарение, яркая искра сопричастности к великому учению.

Нет, дело решительно не в трудности материала, дело в талантливом раскрытии мысли, ее динамики, ее глубины. И как просто это сделал безвестный северный комиссар, как увлеченно и мудро!

Среди произведений на исторические темы, пожалуй, ничто не вызывает столь жадного интереса, как повествования о выдающихся исторических личностях. Если бы наши издательства и писатели еще более активно продолжили работу над созданием новых книг о великих людях революции для юных читателей, и в первую очередь о Марксе, Энгельсе, Ленине, — это было бы большим культурным явлением.

К Ленинпиане тесно примыкает прекрасная «Историко-революционная библиотека», уже ряд лет выпускаемая издательством «Детская литература». Это книги о соратниках Ленина, выдающихся большевиках, это сборники воспоминаний о Дзержинском, о Свердлове, об Орджоникидзе, теперь выходит книга «Рассказы о Калинине».

Положено начало хорошему делу. Но его надо развивать. В частности, мы ставим целью пополнить «Историко-революционную библиотеку» художественными биографиями пламенных революционеров, которые стояли у истоков нашей партии, в том числе тех, кто входил в состав ленинского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», передовых рабочих И. В. Бабушкина, В. А. Князева, Н. Г. Полетаева, В. А. Шелгу-

нова, И. И. Яковлева и других. Юным читателям мы намерены дать больше книг, которые отвечали бы на вечный вопрос молодости: «с кого делать жизнь?»

Писать для детей о Ленине, о других деятелях Коммунистической партии — это писать о коммунизме, самом высоком идеале передового человечества. Может быть, именно дети больше всего нуждаются в озаренных революционной романтикой книжках о будущем обществе.

Мы заботимся о создании ярких, увлекательных произведений, возвеличивающих самый совершенный мир творческого труда, самое гармоничное общество на земле — коммунизм. Таким книгам, будь они удачны, обеспечена долгая жизнь и признательность юных поколений.

Столь же важно издание популярной книги для детей о Коммунистической партии, о том, как возникла, как боролась и как победила партия Ленина. Вместе с Центральным Комитетом ВЛКСМ мы планируем также издание выразительных, овеянных героикой рассказов об истории пионерской организации, об истории комсомола. Они, несомненно, помогут школьникам более осмысленно связывать свою деятельность в рядах пионеров и комсомола с революционным прошлым.

В раннем детстве история входит в духовный мир ребенка песней и сказкой, затем былиной, древним эпосом, стихами Пушкина и Лермонтова. И чем старше, тем жизнь человечества раскрывается все более широко и многогранно.

История нашей Родины, населяющих ее наций и народностей, познание победных страниц, горестных испытаний, революционных бурь на их пути от далей древних времен до века космоса — животворный источник патриотического воспитания, существенный импульс в формировании мировоззрения. Кто из нас в детстве и юности, а в особенности в переходном возрасте, не увлекался исторической романистикой, между прочим не обращая при этом ни малейшего внимания на то, выпущена книга детским издательством или иным?! Каждый вспомнит навсегда оставшиеся в душе произведения, опалившие воображение широтой горизонтов исторического прошлого или величием эпического героя.

Юные читатели наших дней счастливее, богаче нас — мы щедро печатаем обширный комплект исторических книг, куда входит все самое отборное из мировой, русской и советской классики. За последнее время историческая литература, предназначенная для детей, обогатилась целым рядом интереснейших произведений, список которых довольно обширен. Я назову лишь «Сто рассказов из русской истории» Сергея Алексеева, увлекательные повести из истории отечественного мореплавания Константина Бадигина, повесть Сергея Григорьева «Александр Суворов», роман В. Глинки «Дорога чести» об Отечественной войне 1812 года.

Вместе с тем с историей надо обращаться, как известно, осмотрительно. Она не терпит ни искажений, ни модернизации.

На своем веку мы видели попытки разорвать связь времен, оборвать традиции трудящихся классов, принизить, опорочить народную культуру. Да и в наши дни нет-нет да и всплывут, как мутная пена, отголоски ультралевых, очернительских закли-

наний вроде приснопамятных статей с отрицанием народности и народных традиций в литературе. Подобные неприличия особенно опасны для молодого поколения, ибо могут стать возбудителями нигилистических взглядов на историю своей Родины.

Не менее опасна для воспитания детей и юношества другая крайность — внеклассовая идеализация патриархальщины, извечных внеклассовых норм морали, неизменного в веках народного характера, забвение ленинского положения о двух культурах в одной нации в буржуазном обществе. Рецидивы подобных ошибок все еще встречаются. То выйдет пухлая историческая повесть, невесть зачем подробно описывающая похищение в позапрошлом веке «чудотворной» иконы, то появится исторический роман, облагораживающий и возвышающий царского сатрапа, реакционного генерал-губернатора. Причина появления таких сочинений — единственно в редакторском небрежении.

Авторы некоторых исторических повестей и рассказов для детей, увы, неглубоко «пашут», плохо изучают историю. «Мы научились делать вид, что вся духовная работа человечества до нас нам известна, — в сердцах писал Лев Николаевич Толстой. — Выработалось искусство освободиться от необходимости знания прошедшего, и живем только крохотным знанием настоящей деятельности человеческого ума... Мы знаем десятые, двадцатые уменьшенные, исправленные отражения мыслей великих умов и совсем не знаем их и считаем даже, что их и не нужно знать».

В издательской деятельности мы всегда должны иметь это в виду — страшнее всего воспитывать верхоглядов, довольствующихся только укороченными тезисами, разжеванными выводами, закругленными итогами. И тем нетерпимее поверхностные произведения — «ошурки», как называл их Лев Толстой.

Мы по праву можем гордиться, что в нашей стране, как ни в какой другой стране мира, детская литература издается на множестве языков наций и народностей СССР. Только в Российской Федерации детские книги печатаются на 35 языках.

Широкая панорама детских изданий с использованием богатств всех национальных литератур радует нас потому, что дает благодатный материал для интернационального воспитания юного поколения. Наша литература прививает детям разных народов и народностей СССР чувства дружбы и братства, чувства семьи единой. На эти темы выпускается немало интересных изданий. В частности, на протяжении ряда лет выходит библиотека «Ты по стране идешь». Читая эти книги, дети как бы совершают путешествие по союзным и автономным республикам, знакомятся с жизнью братских народов.

В последние годы для детей выпускается в переводах значительно больше произведений писателей социалистических стран. Это помогает школьникам ярче представлять жизнь народов стран социалистического содружества. В круг детского чтения неизменно входят произведения прогрессивных писателей капиталистических и развивающихся стран. Только в издательстве «Детская литература» издается до тридцати таких книг ежегодно. В дальнейшем мы намерены еще больше переводить книг прогрессивных писателей Запада.

Мне кажется, мы поступаем неправильно, нерачительно, реже обращаясь в нашей пропаганде к формуле: «Два мира — два детства». А ведь в жизни эти два мира сталкиваются именно лоб в лоб в ожесточенных идеологических схватках. Два детства двух миров — это же острейшие экономические, социальные, духовные, нравственные контрасты.

Наша детская литература призвана с малых лет прививать невосприимчивость к буржуазной пропаганде. В этих целях мы форсируем выпуск боевой наступательной публицистики для детей. Вышел ряд ярких книг, в том числе «Неоновые джунгли» о чудовищных буржуазных нравах, «Жало империализма», «Владыки без масок» о преступлениях империалистических «мистеров-твистеров». Издание серии таких книг будет продолжено в наших издательствах.

Вместе с тем мы должны в книгах для молодежи и молодежной периодике острее разоблачать чуждые нам формы жизни западной молодежи, и, в частности, я имею в виду неумеренное воспевание длинноволосых хиппи, которых иногда считают прогрессивной силой.

Между тем внешне броское движение хиппи — совершенно чуждое нам явление. Эта развязная и развращенная публика с их «девчонками-дотрогами» — принципиальные тунеядцы, они протестуют не просто против буржуазного труда, а против всякого труда вообще, не просто против буржуазной морали, а против всякой морали. И не стоит ни в какой мере умиляться этими зарубежными анархистами, чтобы не плодить их золотушных эпигонов на нашей почве.

Мы никогда не питали симпатий к деклассированным элементам. В капиталистическом мире подлинно прогрессивной силой, как известно, является рабочий класс, его коммунистические партии, примыкающие к ним молодежные движения. Вот это подлинные, вдохновенные борцы, о которых следует ярко рассказывать нашему юношеству.

* * *

Владимир Ильич Ленин в одном из интервью заметил: «...само собой разумеется, мы не можем обойтись без романтики. Лучше избыток ее, чем недостаток».

Алые паруса романтики и героики развеваются на могучем корабле нашей литературы, ветер времени, ветер жизни наполняет их. Один из самых вдохновенных романтиков, Аркадий Гайдар, видел назначение писательской работы в том, чтобы воспитывать «краснозвездную крепкую гвардию» из наших ребят.

Идут годы, растут дети, все новые и новые читатели испытывают восторг и преклонение перед героями «Молодой гвардии», гордятся мужеством Павки Корчагина, Алексея Маресьева, Зои Космодемьянской, Лизы Чайкиной, стойкостью ленинградской девочки Тани Савичевой, воспетой в поэме Сергея Смирнова.

Возобновляя ежегодно во все растущих тиражах издание этих произведений, к чтению которых приобщаются одна за другой набегающие волны юных поколений, мы вместе с тем озабочены пополнением обширной героико-романтической детской библиотеки новыми произведениями. Издательство «Детская литература» на протяжении ряда лет выпускает серию «Слава солдатская»,

издательства Дальнего Востока — серию «Героические повествования», в Горьком издается серия «Рассказы о героическом». Юные читатели в число своих любимых книг включают эмоционально яркие, гражданственно целеустремленные произведения Нодара Думбадзе «Я вижу солнце», Анатолия Рыбакова «Неизвестный солдат», Геннадия Паушкина «Вернитесь, аисты», Ивана Данилова «Лесные яблоки», Семена Самсонова «Над Камой гремит гроза», Галины Ширяевой «Человек Иван Чижиков», Владимира Рыжакова «Скупые годы» и другие.

Очень верно заметил М. А. Шолохов, что «чувство патриотизма нужно воспитывать с ползункового возраста, с детского сада. Тогда оно прочно войдет в сознание». С этой точки зрения большую пользу, несомненно, принесут книжки новой серии «Дедушкины медали», которую начинает выпускать издательство «Малыш». Это рассказы о медалях, которые носят на груди ветераны Отечественной войны, об их подвигах, о славе. Хороши книжки о красных звездочках, о советском гербе. Хрестоматийной стала книжка Сергея Баруздина «Шел по улице солдат», рассказывающая малышам о святом деле защиты Родины.

В ряде произведений хорошо высвечивается проблема преемственности поколений. Эти книги несут как бы службу памяти, показывают, как в сердцах детей 70-х годов горит вечный огонь ратной славы отцов и матерей, старших братьев и сестер. Эти книги обжигают, будоражат юные головы, они тем более созвучны, что по полям и холмам минувших боев совершаются бесчисленные походы юных пионеров, у могилы Неизвестного солдата сменяются почетные караулы школьников, в каникулы стремительно развертывается массовая военная игра «Зарница» под командованием прославленных военачальников.

Уже тридцать лет минуло со времени подвига Александра Матросова, а десятилетние мальчишки в своих играх все еще бросаются на снеговые доты и закрывают амбразуру своим телом: таково очарование бессмертного подвига во имя Родины, который готова повторить юность.

За последние годы российские издательства стали выпускать значительно больше документальных книжек о героях фронта и партизанского подполья, о героях тыла Великой Отечественной войны. В частности, местные издательства активно пополняют этот фонд документальных произведений. В Удмуртии, например, изданы книжки о Герое Советского Союза Татьяне Барамзиной и летчике Меркушеве, в Волгограде — о выдающемся мастере парашютного спорта Николае Никитине. Этот поворот местных издательств к героическим темам мог бы радовать как хорошая примета наших дней в книгоиздании, если бы не огорчала литературная слабость ряда произведений, когда интересный замысел оказывается испорченным торопливостью автора и редактора.

В последнее время появилось значительно больше книг о военном детстве. В некоторых из них, к сожалению, ощущается полынная горечь безотрадности, авторы словно стесняются всего героического, возвышенного, что проявлялось тогда в народе. В частности, в повестях И. Золотусского «Пока мы вместе» и Е. Морозова «Как росли мальчишки», вышедших в издательстве «Детская литература», нанизано много мрачных бытовых картин.

Конечно, трудности военных лет были немалыми, но вместе с тем война закаляла юные характеры, вынуждала быстро взрослеть, воспитывала глубокие патриотические чувства. Живую атмосферу советского братства, высокой человечности, душевного благородства хорошо передает скромная книжка «Дети Сталинграда» (Нижне-Волжское издательство). В ней повествуется о судьбе детей, которые потеряли родителей в дни Сталинградской битвы, пережили ужасы фашистского разрушения города, были эвакуированы в тыл и обогреты человеческой лаской. Десятки сочинений осиротевших детей, написанных вскоре после боев и собранных в книге, — потрясающие человеческие документы. Книга «Дети Сталинграда» как бы ведет незримую полемику с теми произведениями, где бескрылость и человеческая черствость возведены до всеобщности.

В книгах о войне есть и другие просчеты. Некоторые из них обильно населены персонажами, перегружены фактами, но бедны мыслями, крупными характерами, они не вызывают ответных чувств соучастия, сопереживания. Есть и книги просто пустотелые. В них много опереточной пальбы, оглупления противника. В одной из детских книжек о блокаде Ленинграда читаем такое описание фашистских обстрелов города: «Ну и разошелся генерал! Велел изо всех пушек палить. Больше ста снарядов выпустил. Пятьдесят в Неву булькнуло. Двадцать пять в пустырь угодили. А остальные не разорвались». Зачем же так легкомысленно писать о тяжелой войне, о борьбе с коварным, злобным, хитрым и сильным противником?!

Близится тридцатилетие великой Победы. Что мы подарим юным читателям к этой дате? Конечно, юбилейных изданий будет немало. Прежде всего издателям предстоит по-хозяйски осмотреть арсенал всей советской литературы. Далеко не все лучшие ее страницы изданы для детей. Главы «Они сражались за Родину» Михаила Шолохова, «Василий Теркин» Александра Твардовского, стихи Михаила Исаковского, избранные места из военных произведений Юрия Бондарева, Михаила Алексеева, Константина Симонова, Виталия Закруткина, Анатолия Калинина, Алима Кешокова и многих других писателей расширят круг детского чтения.

Приспела пора создать фундаментальную, хрестоматийную книгу об истории Великой Отечественной войны, которая могла бы стать настольной для каждого школьника, для каждого юноши. К созданию такого капитального и по содержанию, и по художественной наполненности труда мы пригласили писателей-баталистов, военных историков, публицистов, художников.

При всем обилии книжек о Великой Отечественной войне у нас еще мало произведений для детей о народных героях — советских полководцах и рядовых бойцах. Мы намерены создать целую серию таких книг, в том числе цикл книжек о полных кавалерах ордена Славы. Поколение фронтовиков редеет, с ним уходят богатейшие факты, волнующие эпизоды Великой Отечественной войны. Нельзя допускать, чтобы то, что составляет гордость народа, исчезло в безвестности. Вот почему с таким интересом встречается выход каждой документальной книги о героях войны. В этом отношении примечательна книга Героя Советского Союза, легендарного сталинградского снайпера Василия Зайцева «За Волгой земли для нас не было». Василий Зайцев привлекает

читателей своим сердечным отношением к боевым друзьям, своим постоянным обычаем все делать по совести.

Влияние подобных книг на юношество хорошо передано в романе «Молодая гвардия» Александра Фадеева, когда Сергей Тюленин думает о людях, которых взял себе за образец: «Ты живешь, — размышляет он, — в таких местах, где прорастают седой травой братские могилы воинов, сложивших головы за то, чтобы ты жил счастливо, и до сегодняшних дней шумит слава полководцев тех великих лет, что-то мужественно и вдохновенно звучит в душе твоей, когда ты, забыв о ночном часе, летишь по страницам их биографии. Тебе хочется снова и снова возвращаться к ним, запечатлеть в душе облик этих людей...»

Если героика гражданской и Великой Отечественной войн находит широкое отражение в литературе для детей и юношества, то сегодняшний день армии и флота, нынешние славные дела советских воинов еще не стали предметом пристального внимания, глубокого художественного осмысления. Наша литература, в частности, пока что не подарила детям произведений о наших подводниках, которые бы стояли вровень с жюль-верновской увлеченностью, сюжетной остротой и напряженностью, с умением о самом сложном писать просто и интересно. А ведь одни только дальние походы атомных подводных лодок, жизнь подводного корабля, который месяцами плавает в океанских глубинах, — все это потрясающий материал для изображения героики наших дней.

Мы в долгу перед теми юношами, которые после школы идут в военные училища, выбирают офицерскую профессию. Нет еще захватывающих, волнующих произведений о курсантской жизни, о высоком призвании советского офицера.

В наши дни уместно перенять некоторый полезный опыт довоенного книгоиздания для детей и вообще патриотического воспитания юношества. Каким кумиром был тогда советский пограничник, о котором умели писать захватывающе интересно! Как пленяло умы юношества шефство комсомола над Военно-Морским Флотом! Молодежь бурно устремлялась в авиацию, в воздушные просторы, ибо литература и журналистика умели окружить авиаторов ореолом славы. С такой же романтической взволнованностью, патриотической увлеченностью наши сегодняшние издания должны рассказывать о не менее заманчивых для юных сердец военных профессиях, таких, как ракетчики, десантники, танкисты, подводники, летчики.

Говоря о патриотических традициях, хотелось бы напомнить об их чистоте, святости. Нельзя допускать, чтобы над ними подшучивали, лукаво подтрунивали, а порой и вовсе искажали. Я назову на первый взгляд самую малость — песню, нашу революционную, боевую, фронтовую песню, в которой отразилась целая эпоха. Эту взращенную нами, выстраданную песню порой стали преобразовывать в модный шлягер с оглушительным джазбандовым сопровождением и хоровым скандированием. Знаменитая «Катюша», например, уже переделана в западноевропейский вульгарный «Казачок».

Нам надо всячески оберегать от профанации песни революции, первых пятилеток и наших дней. Ведь они еще пригодятся, эти стремительные мелодии, нашим детям в пору их зре-

лости, на новых рубежах, когда отцы и деды будут вспоминаться с особым почитанием и гордостью, как первовестники нового мира.

* * *

Каждому, конечно, доводилось наблюдать, как играют дети. Вот стайка ребят, на первый взгляд совсем еще несмышленышей. По внешности они очень различны, и одежда, по вкусу мам, тоже разная — пестрый народец! Но вот малыш, одетый почти как папа, в традиционный рабочий комбинезончик, поднял голову — его взгляд остановился на высоком здании, этажей не пересчитать. Малыш все смотрит и смотрит, угадывает, как все это состоялось, как выросло и поднялось на такую высоту. Мыслит, прицеливается... И заметьте — уже как бы пробует свои силы, воображает себя строителем.

А остальные малыши? На взгляд прохожих, они играют. Увы, это слово «играют» исходит от взрослых, сами же малыши полагают, что делают они нечто серьезное. «Дворец строю», — скажет один. «У меня космодром», — ответит другой. «Это школа», — объяснит третий.

Малыш, строя из кубиков завод или составляя слова, затрачивает немалый труд, умственную энергию и уйму фантазии, радуясь или огорчаясь в своем первом творении.

Детское воображение, как известно, романтически преображает окружающую действительность. Литература должна помочь правильно воспитать и развить эту счастливую особенность ребенка, чтобы малыш, не переставая быть мечтателем, становился делателем. Занимательность, игра — вот где, вероятно, кроется наиболее плодотворная возможность трудового воспитания детей младшего возраста, а романтическое возвышение людей труда, подражание им увлечет ребят постарше.

Вот почему во всей литературе, а в детской в особенности, столь важно воспеть удивительное волшебство труда, это вечное, как сказал еще Маркс, естественное условие человеческой жизни, не уставать объяснять детям, что труд утверждает человека на земле как властелина всего сущего в природе, без которого, образно говоря, земной шар остался бы вечно неодетым и необогретым, без счастья и торжеств, без гимнов и песен. «Только в труде вместе с рабочими и крестьянами можно стать настоящими коммунистами», — завещал юности Ленин.

Писатели Российской Федерации в произведениях для детей увлеченно разрабатывают эти темы. Немало ярких книг ведут советскую детвору в широкий мир созидания, изображают авангардные дела рабочего класса, рисуют картины сельских работ, повествуют о напряженных поисках ученых. Я имею в виду удостоенную Государственной премии СССР повесть Н. Дубова «Горе одному», повесть М. Фарутина «Четвертый Харитон» о сельском труде, повесть Б. Марысаева «Белая дорога» о строителях Якутии, книгу сибирского писателя Г. Немченко «Сережа, авдеевский ветеран» о рабочей семье и другие. Наслаждение трудом выразительно изображено в книге В. Астафьева «Конь с розовой гривой», в повестях А. Мусатова, Г. Михасенко.

Есть в детской литературе — да и не только в детской — распространенный мотив, связанный со стремлением взрослых сделать жизнь детей как можно легче, обезопасить от трудно-

стей, через которые прошли старшие поколения. Получая все блага легко и беззаботно, иной подросток считает их даровыми. Элементы такого легкомыслия и потенциального тунеядства, как мы помним, проявились в литературе для юношества в форме характерных симптомов болезни инфантильных «звездных мальчиков». И хотя подобные герои давно ушли с литературных подмостков, иной юнец в ответ на слова «ты должен» и теперь с великолепной самоуверенностью парирует: «Я никому ничего не должен». Это как бы современный аналог окуровского выражения «моя хата с краю». Тем сильнее в литературе надобно развенчивать такие уныло-потребительские взгляды юных индивидуумов, изображать атмосферу коллективизма, масштабность нашей жизни, святость традиций.

В этом свете радует новое явление в книгоиздании наших дней — к юным читателям широким потоком идет публицистика и документалистика. Издательства всемерно развивают эти жанры, ибо подлинность трудового героизма способна глубоко волновать детские натуры. В издательстве «Молодая гвардия» недавно вышел примечательный сборник «Новаторы», состоящий из ярких биографий зачинателей социалистического соревнования — Алексея Стаханова, Петра Кривоноса, Макара Мазая, Валентины Гагановой и других. В издательстве «Детская литература» выходит серия книг «Люди и события», посвященных Героям Социалистического Труда. Татарское издательство положило начало новой серии «Батыр на Каме» — постоянно, до полного окончания строительства Камского автозавода, будут выходить книжки его строителей — бетонщиков, плотников, экскаваторщиков, шоферов. В Ростове-на-Дону пользуется популярностью книга Петра Лебеденко «Особый рейс» о заслуженном пилоте А. Корхове, в Ленинграде — документальные рассказы Николая Григорьева «Дядя Русаков и мальчишки» о знатном рабочем завода «Электросила». Список документальных повестей и рассказов последних лет весьма внушителен.

Такие книги будут и в дальнейшем получать почетное место в издательских планах. Они станут тем удачнее, чем строже и взыскательнее отбор рукописей, качество редактуры.

Особенно досадно, когда технология, описание машин и производственных процессов заслоняет человека. Литература всегда была и будет человековедением, а не инвентарной описью вещей. И конечно, страшна вульгаризация, вот такая, например: «Бух-бух. Цок-цок. Тук-тук. Это в мастерской трактор разобрали на колесики — ремонт делали, мотор меняли — всего не расскажешь». При таких авторских возможностях лучше вообще не браться за перо.

Другая крайность, которая проявляется в какой-то мере в юношеской поэзии, — излишняя камерность, уход в узкий мир индивидуализма.

«Великий поэт, — писал еще Белинский, — потому велик, что корни его страдания и блаженства глубоко вросли в почву общественности и истории, что он, следовательно, есть представитель общества, времени, человечества. Только маленькие поэты и счастливы и несчастливы от себя и через себя; но зато только они сами и слушают свои птичьи песни, которых не хочет знать ни общество, ни человечество».

Этим птичьим песням мы можем противопоставить литературу

о саженьих шагах пятилеток, увлекая юное поколение величайшими преобразовательными работами.

Я уже отметил развитие публицистики для детей на темы борьбы двух миров. Другое ее крыло — изображение советского образа жизни, социалистических преобразований. В издательстве «Детская литература» вышло девять ярких популярных книжек, составивших серию «Рассказы о девятой пятилетке», цикл книг о крупных стройках, о новых городах. Они свидетельствуют, что детская литература все ярче отражает проблемы пятилетки.

Нельзя закрывать глаза на то, что дети теперь позже приобщаются к труду. Ребенок, живущий в городе и поселке, избавлен от тех обязанностей, которые еще двадцать лет назад были непременными: принести воды, наколоть дров, расчистить дорожки от снега или полить грядки на огороде. С другой стороны, дети получают несравнимо большую умственную нагрузку — увеличился поток информации, в том числе с помощью кино, радио, телевидения, усложнились школьные программы, стали более пухлыми учебники. Таким образом, складывается некоторая диспропорция в физическом и умственном развитии ребенка. Конечно, книга должна помочь детям в занятиях спортом, туризмом, но сейчас я веду речь о другом — о естественной жажде подростка к делании, выражаясь по старинке, к рукомеслу.

На недавнем Всесоюзном съезде научно-технических обществ особое внимание было уделено задаче пробуждения у школьников любознательности, интереса к производству, технике и науке. Эту рекомендацию в значительной мере мы, издатели, принимаем на собственный счет.

Тема труда в детской литературе поистине проблема проблем, она связана со всеми сторонами воспитания, в том числе и нравственного.

Для нас нравственность понятие отнюдь не абстрактное, это жгучая, волнующая проблема. Детская литература, к сожалению, высвечивает далеко не все ее аспекты. В частности, слабо разрабатывается тема высокого, благородного отношения к социалистической собственности. Между тем это яркий показатель степени сознательности и воспитания человека.

Книга активным образом призвана прививать чистоту чувств, уважение к взрослым и друг к другу, к правилам социалистического общежития, настраивать против высокомерия, исключительности, эгоизма, прививать честность, правдивость, вежливость. Мы обязаны острее критиковать иждивенчество.

Мне как-то пришлось слышать разговор двух мальчишек, в котором откровенно наивно выразилось потребительское отношение к жизни. «Кем ты хочешь быть?» — спросил один. «Летчиком-испытателем», — ответил другой. «Почему?» — «А они с тридцати лет на пенсию уходят. Вот это да, хочешь — на рыбалку, хочешь — в футбол гоняй, целыми днями гуляй себе».

Чтобы ни один ребенок и в мыслях своих не был стяжателем-иждивенцем, надо выпускать больше книг о нравственно здоровых коллективах, не приемлющих в своей среде хапуг, хлюпиков, нытиков, слюнтяев.

В «Судьбе человека» М. Шолохова есть удивительные слова: «...не ранить сердце ребенка». Сколь неосторожны бываем мы, взрослые, по отношению к неокрепшему детскому сознанию!

Однажды по улице шли под хмельком родители — отец и мать — и весело смеялись. Оказывается, впереди, нарочито раскачиваясь и горланя песни, двигались их дети, изображая пьяных. Родителям было весело, а всем остальным грустно: это ведь ужасно, когда дети выбирают себе такую игру — игру в пьяных родителей.

До сердечной боли тягостно наблюдать иные концерты детской самодеятельности, когда девочки с подкрашенными веками исполняют модные песенки о любви и измене, а мальчики, словно шансонье, горланят под гитару пошлые мотивчики на те же темы. После всего этого уже не приходится удивляться, когда во дворе дома в вечерний час девочки начинают игру такой считалкой: «С горки катится голубое платьице, на боку зеленый бант, ее любит лейтенант, лейтенант молоденький, звать его Володенькой. Пройдет месяц, пройдет два, будешь ты его жена».

И не девочки, не мальчики тут виноваты, это просчеты школы, семьи, пионерской организации, литературы, наконец. Издательства, в частности, мало заботятся о репертуаре для школьной самодеятельности, а поэтому его заполняют подражания телевизионным западным дивам, в детских книжках нет ярких веселых считалок. Вот как оборачиваются наши, казалось бы, не такие уж крупные просчеты. Вот как неразрывно связаны между собой все стороны воспитания, все социальные, духовные, нравственные факторы, в том числе мораль и эстетика.

Одним из первых университетов Алеши Пешкова было, как известно, трепетно-взволнованное, лихорадочно-увлеченное чтение, а вернее сказать, поглощение книг из заветного сундучка повара Смурого. Маленький Алеша испытал тогда высокое душевное озарение, потрясшее все его существо.

Наши дети имеют теперь в своем распоряжении — дома ли, в школе, в детской ли библиотеке — такое обилие книг, что иным юным снобам, хвастливо болтающим о прочитанных супердетективах, содержимое смуровского сундучка кажется ничтожной архаикой. Увы, однако, великие люди не появляются в прямой пропорциональности от достаточной наполненности книжных этажерок, хотя последнее является непременным условием всеобщей образованности.

Есть заглавные книги, которые мы именуем обобщенным словом «классика». Без овладения этими высочайшими духовными богатствами немыслим, понятно, не только человек будущего, но и современный образованный молодой гражданин.

Минуло то время, когда классические произведения издавались редко, ничтожными тиражами, в сокращенном, урезанном виде, когда ребята читали в пухлых хрестоматиях, к примеру, не всю пьесу «Горе от ума», а только один монолог Чацкого, не всю поэму «Евгений Онегин», а лишь письмо Татьяны.

Теперь, когда мы стали несравненно богаче, произведения Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Толстого, Некрасова, Чехова, Горького, Маяковского, Есенина ежегодно издаются в миллионах экземпляров. «Школьная библиотека», выпускаемая почти всеми российскими издательствами (даже самыми маленькими), каждый

год выходит общим тиражом более 40 миллионов экземпляров. Бесспорно, издания «Школьной библиотеки» от года к году становятся лучше. Однако нашим издательствам с помощью Академии педагогических наук и Министерства просвещения предстоит снабдить эти издания предисловиями или послесловиями, биографиями писателей, справочным материалом.

Мы намечаем в будущем — разумеется, при полной обеспеченности бумагой — издавать произведения, изучаемые в школах, наравне с учебниками, чтобы каждый ученик вместе с учебными пособиями мог свободно купить набор книг, определенных школьной программой. Вместе с тем необходимо увеличить выпуск книг для внеклассного чтения школьников.

Издание классики, понятное дело, непосредственно, органично связано с эстетическим воспитанием. Грустные явления регистрирует в этом отношении Академия педагогических наук. По данным социологических исследований, около одной трети опрошенных школьников не смогли отличить полноценное литературное произведение от откровенно слабого.

В чем же дело?!

Поглядим в школьные учебники. Откроем книгу для чтения первого класса «Родное слово». Диву даешься, как мало вошло в эту книгу волшебных строк Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Тургенева, Толстого, Чехова, Горького, Маяковского, поэтически вдохновенных стихов о Советской Родине Исаковского, Твардовского, Прокофьева, самоцветов народного творчества. Словно неведомы составителям этой книги слова Белинского о том, что поэзия Пушкина чистотою, цельностью чувства нравственно-возвышенно, облагораживающе влияет на юное сознание.

С текстами современных писателей составители книг для чтения первого — третьего классов обращаются бесцеремонно, переделывая их по своему усмотрению, и как бы в оправдание ставят не подпись автора, а сноску: «по Баруздину», «по Воронковой» и т. д.

«Я считаю этот метод недопустимым, — писала Любовь Воронкова. — В сборнике «Звездочка» помещен кусочек из моей повести, и назван он «Берегите посадки!». Во-первых, взят кусочек не самый лучший. Во-вторых, неужели я назвала бы его так — безлико, казенно, серо? Ведь я жива, можно было бы со мной посоветоваться». Возмущение писательницы вполне справедливо.

Начальные годы ученичества у наших детей проходят где-то далеко в стороне от главных литературных богатств. Да и в последующих классах школьники медленно вводятся в мир большой литературы, особенно советского периода. О многих важных проблемах и явлениях в учебниках по литературе говорится скороговоркой. В них перечисляется множество имен и произведений, но анализируются лишь единицы, и то бегло.

Нормально ли, что к чистому роднику пленительной прозы Леонида Леонова школьники впервые подходят только в десятом классе, и не столько подходят, сколько его в буквальном смысле слова «проходят», то есть минуют в классном обучении. Но разве можно себе представить современного молодого человека, окончившего среднюю школу, без познания Леонова?! В леоновском «Русском лесе» есть волшебные страницы, ну хотя бы, к примеру, о том, как маленький Иван Вихров вместе с приятелем оказался застигнутым ночью в сказочном сосновом бору. Это пу-

тешествие маленького Ивана в царство древнего лесника Калины, ставшее для мальчика открытием мира, народной мудрости и постижения природы, так и просится в хрестоматию для детей.

В школьные годы непременно должны быть видны литературные вершины Михаила Шолохова, Алексея Толстого, Александра Фадеева, Константина Федина, Леонида Соболева, Мухтара Ауэзова, Вилиса Лациса, Николая Тихонова, Георгия Маркова, Ираклия Абашидзе, Расула Гамзатова, Василия Федорова и других выдающихся писателей и поэтов.

Коренные недостатки учебников, о которых я говорил, заложены в школьных программах. Как сами программы, так и учебники рассматриваются в Академии педагогических наук, утверждаются Министерством просвещения.

Жизнь выдвигает другой, более широкий подход к этому делу. На наш взгляд, учебные программы, как и учебники по литературе, нуждаются в пересмотре с сильным влиянием Союза писателей, с участием виднейших литературоведов и литературных критиков, педагогической общественности. Учебники по литературе, очевидно, должны создаваться авторскими коллективами, а отбираться по строгому и широкому конкурсу, как это было сделано в свое время при выработке учебников, к примеру, по политэкономии и философии. Необходима, наконец, научная разработка программы детского чтения, чтобы планомерно выпускать книги по этой программе.

* * *

Литература для детей самых младших возрастов — это огромный океан красочных, привлекательных книжек, приобщающих дошкольников к жизни, к миру взрослых, к постижению родной земли и ее богатств, к азбуке гражданственности.

Нетрудно заметить, как обогащается эта литература за счет книг о нашем времени, о нашем героическом народе. Идет настойчивое преодоление мелкотемья, камерности, штампов.

Наши малыши необыкновенно бурно развиваются, и в педагогических кругах уже всерьез говорят о том, что ребенок в возрасте 3—4 лет должен уметь читать. Дом детской книги провел анкету среди ребят младших классов с вопросом, о чем они хотят прочесть. Вот некоторые ответы: «Как изменится жизнь при коммунизме?», «Я хочу знать о жизни людей во Вьетнаме», «Что есть за тучами?», «Почему человек умирает?», «Почему солнце светит целые века?», «Что находится в середине земного шара?», «Что первое появилось в мире?» и даже «Почему теперь нет людей из обезьян?». А маленькой девочке не дает покоя жгучий вопрос: «Почему люди всех стран не живут мирно, а есть война?» Все вместе — это же круг сложнейших вопросов мироздания и устройства общества, требующих сиюминутного прозрачно-ясного, образного ответа, еще больше обостряющего жажду познания.

Очень созвучны современному ребенку глубоко поэтичные книги и пьесы большого мастера Сергея Михалкова. Его герои широко популярны в детской среде и у нас, и за рубежом.

Мировую известность снискал маленький, озорной Незнайка, герой Николая Носова.

На фоне больших достижений литературы для детей младших

возрастов тем заметнее не преодоленные еще недостатки и просчеты в практике подготовки, выпуска «малышковых» книг, в их тематической направленности, содержании и художественном уровне. Все еще перепеваются избитые со времен Адама строки о тучках и дождике, о ежике и его колючих иголках, о бабочке и цветочках, о Егорках и пригорках, эпигоны пишут об этом сусально-конфетно, бездумно, творчески анемично. За последние годы расплодилось много «перевертышей» под Хармса, словесных вывертов, различных «забавок», не имеющих смысла, неизвестно во имя чего написанных и, кстати, оставляющих детей равнодушными.

Некоторые литераторы, как верно отмечалось на недавнем семинаре редакторов, стремятся пожиже развести произведения для детей. Однако разговор с детьми вовсе не означает укороченности языкового выражения, упрощенности его.

Когда Лев Николаевич Толстой взялся писать рассказы для ребят, он работал особо тщательно, даже мучительно. «Работа над языком, — признавался он в одном из писем, — ужасная, надо, чтобы все было красиво, коротко, просто и, главное, ясно». Красиво, но без красивостей, коротко, а не укороченно, просто, но не упрощенно — вот путь истинной поэтичности и доходчивости.

Литераторы, пишущие для детей, сейчас настойчиво ищут новые подходы к масштабным идейно-художественным решениям. Именно таким подлинно новаторским путем идет большой художник слова Агния Барто, творчество которой оказывает сильное влияние на развитие всей детской литературы. Ее книга «За цветами в зимний лес» заслуженно увенчана Ленинской премией.

В изданиях для малышей возросло количество сказок. Сказка — первая из первых книжек, которую еще в колыбели читают или рассказывают малышу мама или бабушка. Теперь уже по телефону в так называемом бюро «Сервис» (слово-то какое придумали!) можно заказать для малыша сказку, скажем, про мышку-норушку. Без сказки ребенок расти не может. Вспоминается, как печалился Лермонтов, что в раннем детстве он почти не слышал народных сказок и песен, и считал себя в этом отношении обделенным.

Сказки надо тщательно отбирать. Современный дошкольник довольно скептически слушает сегодня сказки о ковре-самолете и видит несравненно больше поэзии в реактивных воздушных лайнерах. И уж вовсе захватывают воображение малышей космонавты, их шлемы и скафандры, эти рыцарские доспехи наших дней. Даже ужасный Бармалей не вызывает прежних эмоций. Как было бы хорошо, если бы педагоги, писатели, ученые-фольклористы в содружестве с издателями пересмотрели арсенал сказок, отказались бы от использования архаики, примитива, псевдонародности, от идеализации королей, богатства, алчности, торгашества и отобрали для издания лучшие народные сказки, в том числе сказки, рожденные революцией. Классическим примером такой революционной сказки по достоинству стал гайдаровский «Мальчиш-Кибальчиш». Приспела пора создавать увлекательные сказки о путешествиях на Луну, о луноходе, о волшебных лазерных лучах, о многих научных и социальных чудесных явлениях нашего времени.

Постановление Центрального Комитета КПСС о литературно-художественной критике имеет в виду развитие всех видов и форм литературы, в том числе, конечно, и детской. Принципиальность, взыскательность, взаимная требовательность в сочетании с бережным отношением к талантам — эти непременные качества должны быть в равной степени свойственны и литераторам и издателям.

Российский Госкомиздат настойчиво добивается создания во всех издательствах подлинной творческой атмосферы принципиальности, острой самокритичности, исключающей выход в свет неполноценных произведений, повышает персональную ответственность редакторов и руководителей издательств за качество каждой книги.

Мы еще больше укрепляем заслоны против книжного брака. К ним относятся, в частности, улучшение тематического планирования, повышение роли редакционных советов и, конечно, укрепление авторитета и ответственности редактора, расширение его прав. Мы рассчитываем также на то, что во всех писательских организациях возобладает творческая обстановка высокой требовательности, что комплиментарная оценка и рекомендации в печать незрелых произведений будут решительно невозможны.

Наша большая, кипучая литература для детей, несомненно, будет и дальше развиваться с веком наравне, обогатит юные поколения новыми замечательными духовными, эстетическими ценностями, станет еще деятельнее ускорять их коммунистическое воспитание.

■

Виктор КОЧЕТКОВ

РАБОЧИЙ ПОЛДЕНЬ

(О ПОЭЗИИ ВЛАДИМИРА ФИРСОВА)

Есть поэты, вся забота которых сводится к утверждению собственной оригинальности. Каждая их строка прямо-таки вопиет о своей самобытности. В их книги вы входите как под купол цирка, где по еле видимому канату смысла идет слово-жонглер, кичась своим умением заставлять пугливо ахать простодушного читателя. На какие только ухищрения не идут эти бойкие умельцы, эти мастера поэтической эквилибристики! Это они твердят, что читатель консервативен, что он не дорос до их «сложных структур», что без острой приправы не может обойтись современная поэтическая кухня.

Читать такие книги поначалу интересно. Но глаз скоро привыкает к цирковым трюкам, и уже без труда начинаешь догадываться, где будет очередной метафорический подскок или техничное «алле-оп!». Новаторство? Но новаторство слишком крикливое, суматошное, то и дело пускающее в ход локти, забывающее в горячке самоутверждения, что искусство не есть средство поразить читателя, смутить зрителя или слушателя калейдоскопической пестротой необычных образов, красок и звуков, а есть «необходимое для жизни и для движения к благу отдельного человека и человечества средство общения людей, соединяющее их в одних и тех же чувствах» (Л. Толстой).

Есть поэты, прямо противоположные первым. Эти как огня боятся всего громкого, «вычурного», всего резкого и острого. Они больше всего ценят изящество, чеканность, строгость форм, чураются всякой «газетчины», «публицистики», «риторики». Но больше всего и страшнее всего боятся «банальности». Неточную рифму они еще скрепя сердце простят, неловкость поэтической фразы вежливо не заметят, но «банальность», по их понятиям, и есть тот единственный грех, который не имеет прощения.

Сами того не замечая, они впадают в книжность, начинают писать о гамлетовских раздумьях и ван-гоговских метаниях, о мучительных страстях Паганини и загадочной улыбке Джоконды, о лукавстве Санчо Пансы и простодушии Дон-Кихота, о глухоте Бетховена и слепоте Гомера, о ветрености Натали и верности Ярославны. Они перекладывают на стихи свои школьные и институтские, подчас довольно расхожие, знания.

Книги подобных авторов похожи иногда на антикварные лавки. Тут и мрамор античности, и самшит Индии, и слоновая кость Древнего Китая; тут и эклоги Рима, и сонеты Возрождения, и идиллии французского барокко. Все сделано со вкусом, на всем печать спокойного, домовитого мастерства, все обстругано и отшлифовано до блеска. Но на всем лежит какой-то грустноватый отсвет неживого. Да, «банальности» тут нет, но вместе с нею отсюда ушла и жизнь, ее горячая «незавершенность», ее «необточенность», ее страсти и острые грани. Тут одни гипсовые слепки того, что было когда-то новым, свежим, гневным, талантливым, но уже давно отошло в былое.

Читать такие книги тоже интересно, тем более что в них чуть ли не на каждой странице можно обнаружить опознавательный знак модного теперь интеллектуализма. Но как скоро утомляет слух это ровное постукивание метронома и как мешает дышать горьковатый запах нафталина. В антикварных лавках всегда стоит этот запах.

И наконец, есть поэты, которые не обещают вам ни поражающей воображение новизны, ни утомляющего душу изящества. Они озабочены более важным: желанием поделиться с вами сокровенными раздумьями о жизни, о своем крае, своем народе, своем времени. В их книги вы входите как в жилую квартиру. Не все в этой квартире прибрано как надо, не все вещи первого достоинства, но все они жизненно необходимы, все они говорят о человеке, о его судьбе, о его быте. Вот семейные фотографии на стене — отец в солдатской шинели, дед в крестьянском азяме или рабочей спецовке, братья и сестры, товарищи по полку или по заводу. Вот книжная полка, где самое необходимое — Пушкин, Гоголь, Некрасов, Толстой, Горький, Есенин, Твардовский, Федоров, Смеляков. Вы еще «обживаете» глазами это незнакомое вам жилище человека, а хозяин уже нетерпеливо заводит с вами разговор, одинаково интересный и для вас, и для него, одинаково важный и для читателя, и для самого поэта.

К этим последним я отношу и Владимира Фирсова. При всей неровности его работы, при всей торопливости, дающей о себе знать в отдельных стихах, книги Владимира Фирсова отличает серьезное отношение к поэтическому призванию, заставляющее думать не только о себе, о своем месте в «обойме», но и о времени, о страстях и волнениях народной жизни, наконец, о читателе, о взаимоотношении этого читателя со словом поэта, с миром поэта, с сердцем поэта.

Владимир Фирсов дебютировал в 1959 году книгой стихотворений «Березовый рассвет». Книге этой дважды повезло. Ее редактировал Василий Федоров, а рецензировал по выходе Александр Макаров.

«Со страниц книги на нас пахнуло предрассветной свежестью неподдельного дарования», — писал А. Макаров в своей рецензии в «Правде».

И действительно, нельзя было не порадоваться этому чистому юношескому голосу, этой росной свежести картин смоленской деревни. Ведь об этой родной поэту Смоленщине и была первая книга его. В тоне, в манере письма была какая-то юношеская безоглядность.

Я ищу свою песню
И знаю, что скоро найду.

Простодушная самоуверенность этих строк нисколько не портила общего мягкого, лирически-сдержанного «климата» книги. Очерчивая мир своих поэтических интересов и возможностей, Фирсов заявлял в стихотворении «Послевоенные годы»:

Я мог надежно лошадь засупонить,
метать стога,
косить,
пахать,
плясать...
И вот сегодня
есть о чем мне вспомнить,
и есть чем жить,
и есть о чем писать.

Фирсов писал о том, о чем писали многие его сверстники. О маленькой хате, прижавшейся к лесу, как усталая девочка прижимается к отцу, о поле голубого льна, о ромашковом луге и о березе, стоящей возле дедовской избы, о рассветах и закатах на Десне, о выщелке соловья в весенней роще.

Полевые дали, пыльная дорога, дед, сидящий на завалинке и лукаво жалующийся, что мало пожил, детская любовь, разочарование в любви, печаль осеннего вечера, стрекот кузнечиков в траве, медовый запах сена... И вдруг как вспышка молнии:

Уж лучше смерть,
чем жить без жизни, тихо!
Ты умираешь — гордый, молодой,
уверенный,
что где-то мчатся лихо
твои друзья под Красною
звездой!

А по соседству с этими огневеющими строками снова робость деревенского паренька, только-только ступившего на жизненную стезю:

Не моими руками
красивых ласкать.
Эти руки сжимали
рогатину плуга.
Эти руки дала мне
умершая мать,
чтобы их протянуть
настоящему другу.

Молодой Фирсов не боялся упреков в риторике, когда с запальчивостью восклицал:

Мне не страшны ни дождь,
ни ветер,
ни пропасть
и ни высота.

Как правдиво запечатлела первая книга Фирсова метания молодой души, это постоянное соседство робости и самоуверенности, беспричинной тоски и беспричинного веселья. С какой точностью и акварельной мягкостью написан мир скудного послевоенного детства. Перечитывая полтора десятилетия спустя эти стихи, поражаешься тому, каким стойким и живым оказался в них запах свежести, аромат тогдашней жизни. В этой и последовавшей через два года книге «Вдали от тебя» Владимир Фирсов только нащупывал свою главную, «ствольную», по выражению Василия Федорова, тему. За милым босоногим деревенским детством, за околицей старой смоленской деревни лишь смутно угадывался тот большой, трудный, полный противоречий мир, о котором заговорил Фирсов в последующих книгах. Первые книги открыли нам поэта талантливого, чутко улавливающего самые тонкие движения человеческой души, умеющего сказать солнечное слово об окружающей его природе, о людях труда и нелегкой жизненной судьбы. Но подключение к «высоким вольтам» большого мира только начиналось. И было трудно сказать, в каком направлении пойдет развитие поэта.

Так случилось, что опытный и иронично относящийся к «литсоветчикам» Александр Макаров не удержался и свою восторженную рецензию на первую книгу поэта завершил неожиданным в своей решительности советом:

«Одно мы можем сказать определенно: Владимиру Фирсову не надо искать своей песни как в далекой истории, так и в книжной для него теме минувшей войны».

Критик и не предполагал, что он ставит запрет на те пути, которыми больше всего хотел идти молодой поэт. Махнув рукой на строгие запреты, поэт вскоре с головой окунулся в далекую историю и в недальнее, обжигающее сердце военное лихолетье.

...Разговор шел в Хоххучи на берегу вечерней Лены, в том месте, где она, осторожно огибая крутые скалы Ленкиного Столба, впадает в Ледовитый океан.

Бригада Ивана Гавриловича Дьяконова только что вытянула большой невод, и шумливые рыбачки-якутки в голубых плащах и высоких ботфортах перетаскивали рыбу в кунгасы.

На той стороне Лены маячил рефрижератор «Оленевод», мраморно-белое судно с циклопическим глазом иллюминатора.

Матрос с «Оленевода» и был моим собеседником. Он ждал, когда нагрузят кунгасы, чтобы отвести их к «Оленеводу».

— Откуда вы приехали сюда, на Север? — спросил я матроса.

— Сам я смоленский... И шести лет не было, когда немцы захватили нашу деревню... Ну а дальше, сами понимаете... Впрочем, я лучше прочитаю вам стихи... Короче и лучше не скажешь.

И он, как-то странно насупясь, стал читать глуховатым голосом:

Забытое,
забитое войною,
о как мне о тебе не вспоминать!..
И вот сегодня
на коне в ночное
лечу
и детство думаю догнать.
Лечу...
Но детство скрылось за пригорком —
с картошкой подгоревшей,
с хлебной коркой
и со слезами,
стывшими у рта,
когда мне говорили «сирота».

Прочитано это было с такой личной нотой, что я не осмелился тогда спросить, чьи это стихи. Но недавно, раскрыв одну из ранних книг Фирсова, нашел строки, читанные матросом. Фирсов в них рассказывал о себе, о своем сиротстве, о своем военном детстве. Но сила подлинности в том и состоит, что жизнь одного человека становится «переживанием» целого поколения.

И творческая судьба поэта высветилась для меня новой гранью.

Нет, для Фирсова война не была книжной темой. Война была острейшим и сильнейшим жизненным впечатлением и потрясением поэта.

Надо сказать, ему не сразу дался в руки этот жгучий материал войны. Поначалу обильная дань была отдана публицистике, с ее общими батальными планами, с ее готовыми поэтическими формулами мужества и патриотизма. Сиротское детство существовало как бы отдельно от общего военного лихолетья. Поэт не всегда умел соединить в органическое целое малый мир личного опыта и великий мир народного опыта. Отсюда появлялись строки риторические, проходные, строки, вроде бы и исполненные гражданского пафоса, но как-то слишком далекие от той конкретности, без которой самые пафосные заверения и самые лирические излияния мало чего стоят.

У памяти свои права
на все,
чем мы живем живые.
И все-таки,
моя Россия,
ты только Памятью жива.
Она живет высоким днем
своей большой и гордой славы,
где домен огненная лава
горит негаснущим огнем.

И далее следовал привычный набор «гражданских» штампов — Млечный Путь, огни Волги и Енисея, стрела Батыя, знамена Бородина и пули Сенатской площади. А рядом с этими планетарными стихами жили скромной жизнью такие прекрасные стихи, как «Пиджак», «Вдова», «Дым отечества», бравшие за душу беззащитной доверчивостью тона, рассказывавшие о горькой судьбе безымянных героев России.

Чувствовалось, что Фирсов обладает точным и картинным видением войны. То и дело в стихах его попадались резкие в своей контрастной силе строки и сравнения, которые в совокупности могли создать фирсовский образ тех лет, но пока этот образ не возникал отчетливо. «Вымахнет память ночной совой», — с печалью говорит героиня стихотворения «Вдова», и следом за этим несколько книжным образом идут слова-признания обжигающей силы. У вдовы погибли на войне все дети:

Более четверти века
дышу,
запахов не различая.
Более четверти века
гляжу,
мира не замечая.

Страшная в своей обнаженной простоте человеческая трагедия! Так мог сказать только поэт зрелого раздумья над судьбами народными.

Сильны своим мужественным лаконизмом и такие строки:

Даже тлели кресты на могилах
от горящих вдали деревень.

А вот чисто фирсовская энергичная концовка стихотворения «Дым отечества»:

Равнодушье души не тронет
поколенью,
чье детство — война.
Мы, как порох, уснувший в патроне,
у тебя под рукою, страна.

Но все это до поры теряется в общих, размытых планах публицистических стихов. Казалось, что поэт делает ошибку, пренебрегая решительным советом критика не влезать в книжную для него тему войны.

Но настойчивость, с которой Фирсов стучался в эту тему, все упрямее делая ее своей главной думой, говорила об особой внутренней заинтересованности в героическом материале войны.

В самом деле, Фирсов, отходя от акварельного письма первых своих книг, все предпочтительнее работал над стихами гражданского звучания, все отчетливее выявлял свою позицию в полемике, разгоревшейся тогда в поэзии. Размышляя о судьбах Родины, о поколении тех ребят, которых он назвал «детьми военного пожара», поэт поверял правоту своих раздумий историческим опытом родного народа и прежде всего опытом недавней войны.

Поэт рисует портреты конкретных людей, кому он обязан своим гражданским воспитанием, пробуждением в себе чувства Родины.

Вот первый учитель. Безрукий инвалид, сражавшийся в Сталинграде, в поношенном кителе, с пятнами от наград (слова-то какие точные) на кителе. В пустой холодной деревенской школе он учит пятерых мальчишек первым начаткам грамоты и сам вместе с ними учится «ровно писать», ведь правой-то руки нет, надо приноравливать левую. Вскоре он умирает.

Ушел, говорили, до срока,
все беды теперь позади.
Рука его так одиноко
лежала на впалой груди.

Такие картины не забываются. К таким людям всегда бережлива благодарная память.

Тебе я обязан всем чистым,
всем светлым, что есть на земле,
и думой о судьбах Отчизны,
что нес ты на светлом челе.

А вот та случайно встреченная в Смоленске старая женщина, что одарила мальца пиджаком. Как бы оскудела жизнь без сердечного тепла одинокой вдовы!..

Я без нее
судьбу России
уже представить не могу! —

говорил поэт, заключая рассказ об этой встрече.

Собственно, специальной военной лирики Фирсов никогда не писал. Для него война, подвиг отцов были «точкой отсчета» гражданского мужества, сыновней преданности Отечеству, веры в идеалы новой жизни. Багровый отсвет войны лег на все послевоенное поколение. Как же можно было без исторического и нравственного осмысления героизма тех лет обойтись в оценках сегодняшних споров о настоящем и будущем, о судьбах народа и судьбах революции! Вечный огонь на могилах павших героев согревает души новых поколений советских людей.

Потеплело в городах России
от того священного огня, —

вот итоговый вывод раздумий Фирсова об Отечественной войне и нравственном значении совершенного нашим народом в те четыре грозных года.

Разрозненные впечатления детства, увиденное и пережитое, осмысленное уже зрелым опытом жизни органически слились в палитре новых книг Владимира Фирсова, дав поэту материал для широких художественных полотен о нашей сегодняшней действительности, таких, как поэмы «Республика Бессмертия», «Восставший над громом».

Но что самое главное, Фирсов как бы высветлил свою думу этим пристальным взглядом в прошлое. Он увидел там такие примеры самоотверженности, самопожертвования, готовность умереть за Родину, такую могучую силу отваги и человечности, что мелкими и ничтожными показались ему всякие попытки заслонить это великое прошлое самолюбивой толкотней «властителей дум», закрыть горные вершины Республики Бессмертия дымом групповых литературных ошибок.

Медленно история листается.
Все пройдет,
А Родина останется.

Постепенно набирала силы главная дума Владимира Фирсова. От образа глухой деревеньки Древлянки, от тихой омутовой Сожи, от ничем не знаменитого, осветленного березовой корой ручья, через дороги военного детства, через бесприютные полустанки бродяжничества нить раздумья идет к просторам смоленской отчины, а от нее к образу «ласковой Родины, России», к неоглядным далям Страны Советов, Отечеству братства народов.

У всякого ли поэта тема Родины является главной в творчестве? Вопрос этот не раз дебатировался в нашей критике. Гражданственность кое-кем понимается так расширительно, что чуть ли не всякое стихотворение, где есть упоминание о России, о березке, Мамаевом кургане или Куликовом поле, где поэт объясняется в любви к рощам и проселкам, пролетающим журавлям и тихим погостам, считается уже гражданской лирикой, и авторов их критики поздравляют с умелой разработкой темы Родины. Именно тут чаще всего толчется лирическая суетность, готовая немедленно тиражировать любое новое «гражданское» веяние. Но как бы ни был широк поток этой сдельщины, живое слово поэта всегда обратит на себя внимание.

Гражданская тема прельщает едва ли не каждого. Но настоящее ее решение дается весьма и весьма немногим. Иногда лишь в конце поэтического пути она раскрывается в подлинном ее значении и величии, как это было с последними книгами Владимира Луговского, Александра Яшина, Ярослава Смелякова, Николая Рыленкова.

Не могу не согласиться с Василием Федоровым, что из поэтов послевоенного поколения Владимир Фирсов был «наиболее последователен» в разработке темы Родины, ставшей самой заветной для него темой. Обращает на себя внимание сосредоточенное внимание поэта ко всему, что помогает в решении этой темы, какая-то личная драматическая нота в его раздумьях о Родине.

Земля моя с поблекшею травой,
Пронизанная болью журавлиной.

Эта светлая грусть окрашивает самые пафосные страницы его поэм и стихов о Родине. Фирсовский герой осознает свое право на историческую память, он не хочет песчинкой кануть в пустынях Истории, он стремится оставить свой нестираемый след в книге судеб.

Василий — герой поэмы «Республика Бессмертия» — так говорит об этом праве в письме к матери:

Прими сыновнее спасибо
За все добро, тепло твое,
За то,
Что мне дала Россию
И право
Защищать ее.

Все, кто верно служил Отечеству, все, кто отдал за него жизни, не исчезают бесследно, они «переселяются» в Республику Бессмертия. Так говорит поэт в лучшей из своих поэм.

Активность гражданского чувства — важная особенность главной темы Фирсова.

Критика не раз отмечала острую полемичность книг Владимира Фирсова. Фирсов не гневается безадресным гневом и не горит безадресной любовью. И ненависть и нежность в его поэзии имеют конкретный адрес. Недаром даже у Батыева ордынца, выжигающего очи у полоненного русича «семь веков назад», он обнаруживает удивительное сходство в чертах с рыжим эсэсовцем, которого наверняка видел поэт в годы своего горького детства.

В самых «глобальных» размышлениях о своем веке и своей Родине поэт умеет дать какой-то точный штрих, положить живую краску.

Вечно будет с тобой
Земля, на которой ты вырос,
Земля,
Где на вербе
Пустует осенний скворечник.

Это совмещение общего плана с малой, локальной деталью создает особую доверительность лирического тона, подчеркивая правду душевного переживания.

И когда он спорит с модным интеллектуалом, «флиртующим громко с мирозданьем», или саркастически высмеивает «звездных мальчиков» с «треугольными стихами», когда с гневом говорит о тех, кто на место веры и убежденности хочет в душе нашего современника поселить ядовитый туман сомнения, — поэту веришь, поскольку строки убеждают своей глубокой искренностью и бескомпромиссностью гражданской позиции.

«Жизнь начинается там, где начинается искание правды», — говорил старый философ. Для лирического героя поэзии Владимира Фирсова правда и цельность внутреннего мира — первейшее условие настоящей, высокой, красивой жизни. Выше всего он ценит в человеке это искание цельности и больше всего ненавидит душевную растрепанность, чересполосицу добренького и злого, ничтожного и значительного.

Я не терплю, когда вокруг лукавят,
Боятся сущность показать свою.
И брошенный в кого-то подло камень
Всегда на душу падает мою.

Но иногда поэту изменяет чувство реальности в его полемическом задоре. И тогда зло, против которого он борется, начинает принимать несоразмерно большие размеры и как бы даже заслоняет горизонты жизни. Голос поэта начинает срываться, конкретный облик противника расплывается, и стих теряет в силе, убежденности, во внутреннем своем достоинстве. Поэт «выходит за пределы правды», по известному выражению Лабрюйера. Редко, но случается и такое.

В стихах последних лет и особенно в поэмах Фирсов не раз обращается к историческому опыту нашего народа. Экскурсы в давно прошедшие эпохи, обращение к славным именам нашего прошлого составляют важную часть художественной аргументации поэта, когда речь идет об осмыслении пройденного народом

пути, об истоках воинского мужества и трудовой доблести советских людей.

Фирсов не одинок в этом своем интересе к былому. Почти все его сверстники не раз совершали вторжение на территорию истории, обильно уснащая свои стихи ее разнообразными трофеями. Почти в каждой современной книге стихов вы найдете что-нибудь «историческое» — струги Стеньки Разина или тяжелый меч Ермака, страдальческие вериги Аввакума или страннический посох Андрея Рублева. Поэзия обходится с историей как своенравная внучка со своей терпеливой деревенской бабкой. Сложный и противоречивый мир прошлого порой упрощается до плоского примера, до нравоучительной сентенции. Целые века живой жизни с большими и малыми событиями, с великими потрясениями и великими свершениями, с чрезвычайно многокрасочной «хроникой» общественного и домашнего бытия иногда сводятся к какой-то упрощенной, в одну строчку, формуле, вроде «княжеских междоусобиц» или «тьмы средневековья». Легко делаются самые произвольные сопоставления, так что линия исторического развития то выглядит прямой как стрела, то столь затейливо переплетенной, что и не найдешь, где конец, где начало. От ратника князя Владимира ведется прямая линия к воину Сталинграда, а от беглого холопа времен Ивана Грозного к нынешнему строителю коммунизма. Конечно же, прошлое и настоящее связаны в единое целое. Но связь эта не столь прямолинейна.

Вот, скажем, один поэт, желая восславить стойкость русского человека в годы татаро-монгольского ига, изображает его этаким ванькой-встанькой. Жизнь бьет его по всем статьям, но ему все нипочем. Сколько на него ни давят и чем больше давят, тем увереннее он поднимается.

Пушкин говорил, что в борьбе с ордами Чингисхана и Батыя «растерзанная и издыхающая Россия» спасла Запад. Пушкин как бы заглядывал в трагическую бездну, которая разверзлась тогда перед нашим отечеством. А современный поэт из этой трагедии делает цирковой номер. Когда обращаешься к летописям и другим живым свидетельствам, видишь, как далека конкретность той поры от некоторых нынешних поэтических схем. И главное, как далек подлинный портрет нашего предка от скорбно-сусального «лика», каким его все еще часто рисуют в наше время.

Надо сказать, что В. Фирсов куда реже других совершал вторжения в заповедные зоны былого и его временные сопоставления отличает большая осторожность. Но и он не избежал привычных, расхожих «исторических» аксессуаров — оглохших от звона звонарей, храпящих половецких коней, бродящих богомазов и ковылей над убитыми ратниками.

В стихотворении «Что делать! Так уж повелось издревле...», печалясь о небрежении современника к природе, о мелеющих реках и умирающих елях, поэт делает укорительное для нашей современности сопоставление с прошлым:

Природа так же думает о сыне.
А сыновья,
приняв ее дары,
в берестяную летопись России,
не думая, вписали топоры.

Здесь сказалась скорее власть предания, чем серьезное историческое знание, поскольку «берестяная летопись России» потревожена не вчера и предок наш любил помахать топором не меньше, если не больше нашего. Тени прошлого, вызванные вдохновением поэта, иногда растерянно бродят по страницам стихов, не понимая, зачем их потревожили и что им делать в жарких спорах современности. Если подчас чего-то и не хватает историческим сопоставлениям Фирсова, так это именно историзма, философии истории, когда опыт прошлого берется в сложном контексте, а не в облегченной схеме, умещающей на ладони «четырнадцатый век с двадцатым веком».

Фирсов сложился как поэт в 60-е годы, в жарком климате споров о недавнем прошлом и настоящем. Печать тех лет лежит на всей его поэзии. Он не стоял в стороне, прислушиваясь к спорящим, он был в гуще полемики, яростно отстаивая свою точку зрения, с молодой непримиримостью уличая своих оппонентов в отступлении от правды, от принципов, от «основ». Он сын своего времени и этим очень похож на многих своих сверстников, даже на тех, с кем не раз «выяснял отношения». Похож максимализмом нравственных требований, нетерпеливой жаждой перемен, запальчивостью суждений, ироническим отношением к тем, кто осторожность делает главной приметой зрелости. Похож безоглядностью и незащищенностью. Но у него есть и выгодно отличающие его от многих «модных» сверстников качества. Он не разбрасывается, не мечется от одной крайности к другой. Он бережно относится к народному опыту, к «урокам отцов». Он не очень заботится о том, чтобы любой ценой привлечь ошалелое любопытство моды.

Когда душа перерастает в слово
И это слово
Начинает жить,
Не будьте же к нему весьма суровы
И не спешите скорый суд вершить.
Пускай звучит не так, как бы хотелось!
Вам надобно понять его суметь.

У слова есть рожденье
и зрелость,
бессмертие
и подлинная смерть.

И я живу, понять его стараясь,
и постигаю слова торжество,
к его бессмертью не питая зависть
и не глумясь над смертностью его.

Это зрелое отношение к слову, к своему призванию. Это продиктовано несуетным размышлением о назначении подлинной поэзии.

Мне хочется несколько слов сказать о двух последних книгах Владимира Фирсова: о сборнике лирики «Два солнца» (М., изд-во «Художественная литература», 1973) и о книге стихотворений, выпущенной издательством «Молодая гвардия» в 1972 году. Оба эти сборника можно рассматривать как своеобразное «Избранное», как подведение первых итогов. По этим книгам видно, с какой

последовательностью и целеустремленностью велся творческий поиск поэта, как упрямо вырубал он ступени на пути своего восхождения от «низовых», «деревенских» лирических стихов к «вершинному» образу Родины, от малых акварелей среднерусской полосы, милой Смоленщины к широкому полотну народной жизни в поэмах «Республика Бессмертия», «Восставший над громом», «На моей памяти» и других. Фирсов обладает завидной способностью сплавить воедино лирику личного, интимного мира с мужественной гражданской нотой. Многие его стихи, начинаясь как сугубо лирические, постепенно наполняются пафосом высокой гражданственности. В стихах происходит как бы незаметное переключение с одного напряжения на другое, более высокое. Фирсов знает тайну этого «чуть-чуть», когда одно точно сказанное слово, одна «изюминка» дают жизнь всему стихотворению. Я не могу не привести здесь хотя бы несколько примеров той поэтической точности, которой отличаются лучшие строки Фирсова.

«Чуя ослепительную влагу, олени продираются к реке», «глаза вдовы молчали, как замершие родники», «забился, пламенея, дятел», «все было серое. Шинели и грозовые облака. И серые ветра шумели над серым отблеском штыка», «окна запотевшие глядят на мир унылой зеленью герани», «дымок от землянок лучился жесткой печалью земли». Такие же броские, но очень выразительные детали вы найдете почти в каждом стихотворении. Но дело не только в этих находках. Дело в общем лирическом строе стиха, в той естественности, задушевности интонации, которые делают исповедь поэта вашей исповедью, раздумья поэта — вашими раздумьями. Фирсов не раз подчеркивал, что пишет он в традиционной манере, что он не вымучивает свою оригинальность, а живет в ожидании слова, «что приходит само по себе». И действительно, стих Фирсова прост, напевен, легок. Но в этой простоте и в этой легкости, традиционности есть своя пружинистая сила, своя весомость, своя внутренняя энергия. Хотя иногда встречаются в стихе и пустые пространства, не заселенные мыслью, не согретые чувством. Встречались и в ранних стихах. Встречаются — гораздо реже — и теперь.

Максим Рыльский говорил об одном большом русском поэте, что тот «обладает изумительным чувством красоты видимого мира». Я отнес бы эти слова и к Владимиру Фирсову, поэту, сказавшему яркое, зримое и душевное слово о Родине. Его чувство красоты жизни, неповторимости, солнечности бытия подкупает своей молодостью, страстностью тона.

Высоко отозвался о поэзии Фирсова Михаил Александрович Шолохов: «Не так-то много у нас хороших поэтов, но и среди них найдется всего лишь несколько человек, говорящих о России таким приглушенно интимным и любящим голосом, который волнует и запоминается надолго. Владимир Фирсов принадлежит к этим немногим избранным».

Рабочий полдень, в который сейчас вступил Владимир Фирсов, обещает нам, его читателям, новые встречи с поэзией, серьезной по тону и глубокой по размышлениям.

Главная, становая тема его творчества продолжает свое развитие.

■

наше обо· зре· ние

ХУДОЖНИКУ НУЖЕН ПОЛИТИК

Неоднократно обращаясь к творчеству великого пролетарского писателя, А. Волков в последней своей работе поставил задачу раскрыть то, что «определяет главное в теме «Ленин и Горький», — их «творческое взаимообогащение».

Такой подход к отношениям между вождем и писателем пролетариата, вообще между великим политиком и великим художником представляется не только весьма плодотворным, но и верным принципиально.

Исследуя многообразные отношения В. И. Ленина и А. М. Горького, автор прослеживает не одно лишь прямое (в том числе эпистолярное) их общение, в котором влияние Ленина на Горького сказывалось совершенно очевидно. Прежде всего А. Волков опирается на художественное наследие Горького; анализируя этап за этапом творческий путь писателя, исследователь всякий раз обнаруживает органическую — а не умозрительную — близость художника к решающему фактору современной ему жизни — к разгоравшейся в России под руководством партии большевиков революционной борьбе.

Горьковские произведения постоянно оказывались в русле главных требований исторического момента, улавливали основной нерв времени, растущую роль пролетариата.

С другой стороны, именно такое — идущее изнутри — родство с «общепролетарским делом» ставило творчество Горького особенно высоко в глазах Ленина и всей партии. Недаром даже в самые острые моменты разногласий с писателем Ленин мог убежденно говорить: «Нет сомне-

---

А. Волков, Ленин и Горький. М., изд-во «Современник». 1972.

ния, что Горький — громадный художественный талант, который принес и принесет много пользы всемирному пролетарскому движению».

Эти строки писались вождем партии в 1917 году, в тот момент, когда Россия шла от революции Февральской к революции Октябрьской, которую, как известно, Максим Горький не сразу «принял». В одном из писем он скажет: «...Октября я не понял и не понимал до дня покушения на жизнь В. Ильича...»

Поворот, происшедший в писателе после злодейского покушения на Ленина, сам Алексей Максимович объяснил так: «...всеобщее возмущение рабочих этим гнусным актом показало мне, что идея Ленина вошла в сознание рабочей массы и организует ее силы с удивительной быстротою».

Так не в первый раз «опыты быстротекущей жизни» укрепили великого писателя в верности и правильности избранного народом пути. При этом необходимо отметить, что сила «сознания рабочей массы», столь благотворно воздействовавшего на Горького, выковывалась и самим художником. В этой массе немало было тех, кого подняли на борьбу призывы «буревестника революции», кто пополнил партийные ряды, прочитав «очень своевременную» горьковскую «Мать».

Подобно мощному подводному течению, в книгу А. Волкова входит тема партийного, ленинского влияния через творчество великого художника пролетариата на весь литературный процесс, на выработку главных и определяющих свойств советской литературы.

Естественно, что отношения Ленина и Горького остаются при этом в книге А. Волкова на первом плане. Естественно также, что исследователь пишет прежде всего о воздействии Ленина на Горького. Соответственно строится и сама книга: различные периоды творчества писателя прослеживаются в зависимости от степени сближения двух гениев революционного народа. Следует, однако, подчеркнуть, что между отдельными этими этапами А. Волков не возводит непроходимой границы. Наоборот, он старается как можно раньше обнаружить зародыши тех или иных тенденций, как положительных, так и отрицательных, которым затем предстоит сыграть заметную роль в творчестве художника.

Известно увлечение Горького «богостроительством» после поражения революции 1905—1907 годов. Писатель, с болью в сердце видевший, как болото мещанства, обывательщины вновь засасывает людей, бывший свидетелем «политического и нравственного мародерства широких кругов буржуазной интеллигенции», пытался представить русскому обществу новый «этический ориентир для действия». Новый, потому что в «старом», марксистском, что служил и долго еще будет служить ему верой и правдой, Горький в тот момент усмотрел проповедь «исторического фатализма». Как сказано в исследовании, «учение о закономерностях развития человеческого общества, которое давало возможность заглянуть в будущее, в дни утраты правильных критериев представлялось ему в виде догматов, устанавливающих некую не-

избежность, фатальность явлений жизни».

А. Волков приводит ленинское объяснение этого заблуждения Горького как соскальзывания с пролетарской до общедемократической позиции, а затем обращает внимание на гносеологическую сторону его «богоискательства» и, в частности, на «очень важное признание», сделанное писателем в письме к В. А. Поссе еще в 1901 году: «На кой черт тебе какая-то религия, если ты не чувствуешь себя в силе создать свою? И как можешь ты принять что-то чужое, раз ты сам — и бог, и Кант, и источник всякой мудрости и пакости?»

«Зерна субъективизма, заложенные в этих словах, — читаем мы у А. Волкова, — произрастут позднее и окажут некоторое влияние на творчество писателя, но их наличие трудно отрицать и в самом начале 900-х годов. На это исследователи не обращали внимание, потому что подъем освободительной борьбы, революции 1905 года и ее уроки так плодотворно сказались на творчестве и общественной деятельности писателя, что отдельные его ошибочные субъективные высказывания не принимались в расчет».

Тут, правда, приходится сказать, что плодотворный по большей части исследовательский поиск, разворачивающийся на страницах книги А. Волкова, как раз там, где заходит речь об «отдельных... ошибочных... высказываниях» Горького, обретает порой какой-то менторский, снисходительный тон по отношению к великому писателю («Горький продолжал барахтаться в омуте политических и философских противоречий...» или «...упорно боролся Ленин с идеалистическими завихрениями Горького»).

Зато нельзя не соглашаться с автором там, где он критикует другую литературоведческую крайность, когда, и нередко, творческие принципы Горького рассматриваются в прямолинейной зависимости от ленинских теоретических положений: «Следует признать неверной точку зрения некоторых исследователей, считающих, что Горький воспринял принципы партийности лишь после ознакомления со статьей Ленина «Партийная организация и партийная литература». ...Ко времени написания ленинской статьи, — справедливо указывает А. Волков, — Горький-художник уже исследовал различные социальные слои русского общества, создал первую в литературе фигуру пролетарского революционера, разоблачил ренегатство либеральной интеллигенции...»

Как обычно бывает, неисправленная ошибка в дальнейшем усугубляется. Так, в ряде работ утверждается, что надо датировать возникновение метода социалистического реализма временем появления романа Горького «Мать».

И здесь А. Волков высказывает очень верную мысль: «...относя время зарождения социалистического реализма в русской литературе не к началу, а к середине пролетарского этапа освободительного движения, исследователи подтверждают взгляды буржуазных литературоведов о неизбежном отставании литературы от общественно-политической жизни. Такого рода «обобщение» используется для доказательства якобы «неосуществимости», «надуманности»

некоторых основных положений эстетики социалистического реализма, в частности, возможности воссоздать явления жизни по горячим следам ее».

Естественно, в задачу художника не входит простая регистрация тех или иных явлений действительности, его не может удовлетворить конкретный вывод по какому-либо конкретному событию. Как пишет сам А. Волков, «это существенно для политика, писателю же, создающему неведомую дотоле в литературе фигуру нового человека, требуется осмысление явлений и фактов жизни, известная их протяженность во времени, что дает возможность типизировать черты характера в крупном обобщении».

Художник, глубоко анализируя явления, тенденции и закономерности современной ему действительности, способен не только воплотить вчерашний день, но и реальными глазами заглянуть в завтра, провидеть новое, идущее на смену и вчерашнему и сегодняшнему.

Лев Толстой видел одну из пленительных сторон искусства в возможности «представить самых разнообразных по характерам и положениям людей и выдвинуть перед ними, поставить их всех в необходимость решения жизненного, не решенного еще людьми вопроса и заставить их действовать, посмотреть, чтобы узнать, как решается этот вопрос».

Максим Горький сознательно сделал центральным персонажем романа «Мать» именно Ниловну, хотя ее фигура была менее типичной для революционного движения того времени по сравнению с другими героями книги. Но писатель одержал яркую победу, сделав ее главной героиней, поскольку этим подчеркивался близкий размах пролетарской борьбы, который втянет в свою орбиту самые далекие от политики массы.

Такое плодотворное «опережение» событий, воплощение в реалистическом произведении героя завтрашнего дня является одним из органических свойств литературы социалистического реализма.

Разговор о принципах социалистического реализма ведется, однако, преимущественно в заключительной главе, в отрыве от разбора отдельных произведений Горького. Тем самым, помимо неизбежно возникающей здесь скороговорки, нагляден становится один дефект исследования А. Волкова.

Метод социалистического реализма является новым, высшим этапом художественного освоения действительности, сущность которого составляет органически осознанное единство партийности и художественности искусства. Но это единство может быть обнаружено прежде всего в живой ткани произведения, в противном случае художественная сторона невольно, но часто выглядит приложением к партийности, ее иллюстрацией.

В какой-то степени от такого подхода несвободна и книга А. Волкова, поскольку, рассматривая в русле своей главной темы отдельные произведения Горького, автор обращает внимание не на цельную их художественную структуру, а преимущественно на характеры тех или других персонажей. В результате

случаются выводы, подобные следующему: «То, что Ленин сформулировал в форме теоретического обобщения, Горький показал в глубоко жизненных картинах». Или: «В многочисленных высказываниях Ленина о типе рабочего-революционера, в его словах о том, какая масса революционных сил таится в рабочем классе, мы находим общие определения нового человеческого типа. Горький изображает этот тип в его характерных жизненных проявлениях, в его психологическом наполнении».

Такие формулировки, невольно наталкивающие на мысль об «иллюстративности», входят в явное противоречие с основной посылкой исследования об истоках партийности и идейности великого писателя пролетариата.

С другой стороны, отмеченная недостаточность художественного анализа произведений нередко мешает А. Волкову выявить в них горьковское своеобразие общепролетарской точки зрения — то особое, что писатель хотел выразить своими созданиями, сказать от себя. Представляется, в этом заключена главная причина того, почему в книге оказался несколько смазанным разговор о том, что приносило Ленину общение с Горьким.

Д. ИВАНОВ

РОДСТВО ГЕРОИЧЕСКИХ БИОГРАФИЙ

Биография человека может стать главой истории. Истина эта когда-то соотносилась почти исключительно с именами монархов, министров, полководцев, реже мудрецов. Времена на земле изменились, и в наши дни никого не удивит в учебниках и пособиях по истории биография шахтера и железнодорожника, сталевара и прядильщицы, землекопа и кузнеца.

Пятнадцать человеческих биографий, вошедших в книгу «Новаторы» *, уже сегодня принадлежат истории нашей страны и ее рабочего класса. Мы знаем, что их много, много больше — прославленных имен, вписанных в летопись грандиозных трудовых свершений эпохи. И в «Новаторах» за каждой трудовой биографией узнаются какие-то важные черты нового общества, за каждым из героев видятся тысячи его братьев и сестер по труду.

12 апреля 1919 года тринадцать коммунистов и двое сочувствующих — рабочие паровозного депо станции Москва-Сортировочная Казанской железной дороги — вышли на первый коммунистический субботник. Их возглавлял председатель большевистской ячейки, он же комиссар депо и бригадир слесарей среднего ремонта Иван Бураков. Невелико было число первых энтузиастов, за 10 часов работы отремонтировали они три паровоза, в том числе один

* «Новаторы». М., изд-во «Молодая гвардия», 1972.

ночью, при свете факелов. Этот трудовой подвиг небольшой группы рабочих-железнодорожников В. И. Ленин вскоре назвал событием, которое «имеет большее историческое значение, чем любая победа Гинденбурга или Фоша и англичан в империалистической войне 1914—1918 годов».

Замечательному человеку Ивану Буракову посвящен очерк, открывающий сборник. Документальные подробности его биографии помогают глубже понять тот революционный энтузиазм, которым большевистский вожак сумел увлечь своих товарищей. Беспредельная преданность делу революции отразилась в словах партийного протокола, который Иван Бураков и его товарищи подписали вскоре после первого коммунистического субботника:

«Ввиду тяжелого внутреннего и внешнего положения, для перевеса над классовым врагом коммунисты и сочувствующие вновь должны пришпорить себя и вырвать из своего отдыха еще час работы, то есть увеличить свой рабочий день на час, суммировать его и в субботу сразу отработать 6 часов физическим трудом, дабы произвести немедленно реальную ценность. Считая, что коммунисты не должны щадить своего здоровья и жизни для завоеваний революции — работу производить бесплатно. Коммунистическую субботу ввести во всем подрайоне до полной победы над Колчаком».

Коммунистические субботники, в которых В. И. Ленин увидел «фактическое начало коммунизма», вскоре распространились на всю страну. История подтвердила предвидение великого вождя, который связывал рождение массового трудового героизма с всенародным социалистическим соревнованием: «Социализм не только не угашает соревнования, а напротив, впервые создает возможность применить его действительно *широко*, действительно в *массовом* размере, втянуть действительно большинство трудящихся на арену такой работы, где они могут проявить себя, развернуть свои способности, обнаружить таланты, которых в народе — непочатой родник и которые капитализм мял, давил, душил тысячами и миллионами».

Эстафету великого почина, первых коммунистических субботников подхватили ударники 20-х и начала 30-х годов, стахановцы довоенных пятилеток, а в суровую годину войны — подвижники и подвижницы «фронтовых бригад», ковавшие в тылу оружие победы.

Из очерков, посвященных героям-труженикам разных лет, мы видим, как на всех этапах социалистического строительства борьба за производительность труда, за овладение новой техникой неизменно и органично сочеталась с борьбой за нового человека. Мы видим также, как разительно изменялись формы и содержание этой борьбы.

Одному из первых ударников завода АМО (ныне имени Лихачева), Александру Салову, еще приходилось отвоевывать сердца и души людей, противостоять разного рода саботажникам.

«— Для меня как парторга цеха, — рассказывал потом Александр Петрович, — самой главной тогда была работа с людьми. Какое счастье ви-

деть, как на глазах перерождались люди! Вот, например, Сабаев — сын кулака, был известен на заводе до 1929 года как хулиган и дезорганизатор производства. А потом совершенно переменился: в 1936 году был награжден орденом Ленина. А таких, как Сабаев, много».

Новое отношение к труду в массах рабочего класса стало одним из важнейших условий стахановского движения, охватившего страну в середине 30-х годов. В психологических портретах зачинателей этого движения, собранных в одной книге, подчеркнута общая для всех черта — глубокое чувство рабочей ответственности перед народом и страной. Донецкие забойщики Никита Изотов и Алексей Стаханов, кузнец Александр Бусыгин и железнодорожный машинист Петр Кривонос — это полномочные хозяева не только своей шахты, своего завода, своего депо, но и горячие поборники общенародного дела. Мы можем вспомнить, что именно о таком положении вещей мечтал В. И. Ленин, когда писал: «Вопрос состоит в том, чтобы сознательный рабочий чувствовал себя не только хозяином на своем заводе, а представителем страны, чтобы он чувствовал на себе ответственность».

Вспомним кстати: на первых порах иностранные специалисты, которых немало тогда было на наших заводах, пытались не принимать всерьез движение стахановцев.

В конце концов, дело обернулось тем, что тот же американский автомобильный король Форд обещал «забросать золотом» горьковского кузнеца Бусыгина, если тот согласится работать на его заводе. А ведь Бусыгин, как и многие из его сподвижников-стахановцев, вышел в рабочие из тех самых полуграмотных крестьян, над которыми позволяли себе усмехаться зарубежные господа.

И вправду нелегким был путь Александра Бусыгина к свету знания и труда. В очерке о нем рассказывается, что, уже став взрослым, он услышал слова «золотое детство» и долго не мог понять их смысл. Потому, наверное, что одним из самых памятных воспоминаний его собственного детства стал тот час, когда урядник пришел за недоимки уводить со двора корову...

На Автострое в Нижнем Новгороде Бусыгин впервые, быть может, в жизни увидел радостный марш юности. Однажды мимо него прошла огромная колонна молодых людей, задорно шагавших под звуки духового оркестра. То была трехтысячная комсомольская дивизия, созданная Нижегородским обкомом ВЛКСМ специально для работы на самых ответственных участках Автостроя.

...Американскому автомобильному королю горьковский кузнец ответил решительным отказом:

«Передайте Форду, что советский рабочий себя за золото не продает. Я работаю для советского народа, для своей великой Родины и всю жизнь буду ей служить. Работать для того, чтобы набивать деньгами карманы капиталистов, я не стану».

Новые времена — и новые песни, однако на старый лад, поют наши зарубежные недруги.

В очерке о Павле Быкове,

знаменитом московском токаре-сверхскоростнике, рассказывается о его послевоенных поездках в братские социалистические страны для передачи своего опыта. Тогда пресловутый «Голос Америки» назвал советского рабочего «агитатором», уверяя, что он инженер и никогда не стоял за станком. Что ж, по уровню знаний Быкова можно сравнить с инженером. Что касается агитации, то он действительно «агитировал» — наглядно, виртуозной работой на станке, на глазах сотен настоящих друзей и братьев по классу.

Авторитет советского рабочего креп и возрастал вместе с индустриальным могуществом социалистической Родины. Помощь зарубежным друзьям, братский обмен опытом стали постоянными факторами современной действительности. Как о вещах привычных читаем мы о дружеской встрече двух прядильщиц, двух героинь труда — узбечки из Ташкента Мархамат Юлдашевой и кореянки из Пхеньяна Ким Бон Ле, о работе магнитогорца Константина Хабарова на металлургическом комбинате в Бхилаи, о поездке Валентины Гагановой к кубинским друзьям.

У героев этой книги по-разному счастливые судьбы. Народ назвал их новаторами, потому что они шли впереди, непроторенными путями. Иван Бураков первым зажег факел коммунистического субботника. Александр Салов поднял знамя одной из первых в стране ударных бригад. Легендарная плеяда первых стахановцев явила миру неведомые возможности свободного труда.

Они, если требовала Родина, отдавали ей не только труд, но и здоровье — как Екатерина Барышникова, бригадир одной из первых в стране женских комсомольско-молодежных фронтовых бригад. Они отдавали Родине жизнь — как сталевар Макар Мазай.

...В завершение книги о новаторах приводится суждение почетного гражданина Магнитогорска поэта Бориса Ручьева. «Когда его спросили, не следует ли на берегу Урала зажечь Вечный огонь в честь тех, кто строил Магнитку, кто год за годом умножал ее славу, он ответил:

— Они сами зажгли этот огонь. Он светит и греет, огонь Магнитки. Греет своим теплом всю страну. Другого не надо».

Слова поэта могут быть отнесены к делам всего рабочего класса страны, ибо негасим и вечен огонь созидания.

Г. ПОЛИТЫКО

УПРЯМАЯ ДОБРОТА

Известно такое, несколько искусственное, но не лишенное основательности утверждение, что первой своей книгой молодые поэты обычно отвечают на вопрос: «Откуда мы?», второй — «Кто мы?», а всем своим творчеством — всей своей жизнью — поэты решают вопрос главный: «За-

чем мы?» Павел Маракулин, с чьей первой книгой «Дом под звездами»* мы теперь знакомы, дает достаточно определенный ответ на первые два вопроса. Он уроженец вятской земли. Здесь он родился, здесь он сполна узнал, что такое земля, лес, вода, что такое природа.

Так случилось, что мы уже как-то привыкли к стихам «о деревне», «о поле», «о лесе». То один, то, смотришь, другой стихотворец умиленно описывает себя с ружьишком (обязательно «с ружьишком» — не ружьем!), описывает баб на сенокосе, деда на завалинке — сельского лукавого мудреца с самокруткой под пожелтелыми усами... Вместо глубокого проникновения в суть проблемы читателю предлагается просмотр пестрых, но плоских слайдов, на которых есть, может быть, все, но нет главного — человека, его внутреннего мира, его страстей и мыслей.

Павел Маракулин в деревне «не прохожий и не гость», он не кокетничает, называя себя «простым пахарем». Уже одно то, как он рассказывает о своем детстве — типичном для каждого деревенского мальчишки, заставляет нас безусловно верить ему. А в детстве были и рыбалка с закадычным дружком, и охота, были лошади и собаки, было, конечно же, и ночное.

Я вспомнил все, что было,
по порядку:
лобастый вересковый косогор,
считалочку перед игрою
в прятки,
печеную картошку и костер.

Тогда, в детстве, и родилось ощущение единства человека и природы, гармоничности их дружного и верного сосуществования, свойственное прежде всего сельскому жителю, неразлучному с землей и лесом. Страсть к охоте не помешала развиться и укрепиться чувству разумного старшинства по отношению к «братьям нашим меньшим»: чувству, унаследованному от отцов, передаваемому сквозь поколения.

Дед говорил: «Мы держим род
от роду
тропу на ток, которая глуха,
и чтоб не обескровела
природа,
берем в сезон всего лишь
петуха...»

Старый охотник, не позволяющий себе застрелить более одного глухаря за сезон, привил эту охотничью этику и внуку. «Влюбленность в ружья», о которой пишет поэт, не корыстна. Он, пожалуй, из тех охотников, что могут без конца бродить по лесу с ружьем и вернуться домой с полным патронташем. Маракулин рассказывает, как невмоготу ему в детстве было видеть, что «хлюст с Заречья, наклонясь из лодки крабом», расставил преступные сети в затоне, где водится «гордый» окунь. Он мучительно переживает, убив по неосторожности «безвестную садовницу лесов» — кедровку, уверенный, что это ястреб. Он восклицает: «Пусть только зло одно меня боится, как боевого сокола — змея!» Про охотника, убивающего уток обманным, с помощью подсадной, способом, он говорит:

И охотник нацелит стволы
из-за веток в свое отраженье.

---

* Павел Маракулин. Дом под звездами. М., изд-во «Современник», 1972.

Через всю книгу Павла Маракулина ненавязчиво, но настойчиво проходит одна сокровенная мысль. Наиболее обнаженно она сформулирована в небольшом — в три строфы — стихотворении «Тут рядом волки плавают в снегу...». Заметьте, что именно здесь поэт в первый и последний раз привлекает в круг своих персонажей героя литературного, не случайно противопоставляя традиционно-возвышенному реальную приземленность, будничность. На земле, рядом есть простые, незаметные, но важные дела: нужно починить прогнивший порог и прохудившуюся кровлю, нужно срочно переложить печь в доме только что вышедшей из больницы старухи. На разговоры и «философствования» просто нет времени... Старая крестьянка не должна умереть от холода, и только это важно. Человек живет в труде. На театре говорят: «Нет маленьких ролей, есть маленькие артисты». Точно так же мог бы сказать Маракулин: «Нет маленьких дел...» В одном из стихотворений он рассказывает о корзинщике, который всю зиму заготавливает прутья в лесу («Недалеко — за три версты, и не беда, что снег в полметра...»), чтобы наплести «больших и малых, со всякой выдумкой корзин». Уж на что, казалось бы, малое, скромное дело!.. Но,

Когда галчата закричат
и ягода нальется туго,
его по отчеству в округе
при встрече будут величать!

«Одна надежда, одно спасенье — в ремесле», в нем — радость (об этом хорошо написано стихотворение «Весь день сегодня все мне удается...»), в труде — чувство собственной «нужности» людям, счастье.

Упрямая доброта Павла Маракулина убедительна и привлекательна. Он задорен и серьезен, он лиричен и глубокомыслен. И у него есть столь необходимые поэту любопытство и способность удивляться! Он стремится увидеть мир свежим взглядом и откровенно в этом признается:

Когда над лесом посветлело,
я разглядел, а было так:
скакал по небу месяц белый,
как белый заяц от собак.

Я не сравню с горбушкой хлеба
или тем более с серьгой
тот месяц — на земле и в небе
я взгляд иметь стараюсь свой.

В этой поэтической декларации сказывается, конечно, озорство и молодой задор. Но «свой взгляд» у поэта, несомненно, есть. Вот, например, осенний этюд:

Дожди прошли,
и красота осела,
трава легла,
и роща порусела.
Но свернутый спиралью
медный лист
один поет,
как маленький горнист:
о том, что вся березовая рать
совсем не собиралась умирать!

Не случайно мы позволили себе процитировать это стихотворение целиком. В него стоит вчитаться. Сколько чувства сумел вложить молодой поэт в эту маленькую пастельную зарисовку! Здесь и естественная осенняя грусть, легкая и ненавязчивая, как паутинка бабьим летом, когда красота уже действительно «осела». Здесь и радостное осознание того, что природа не умирает, она вечна: пройдет зима, и зеленая красота воспрянет, «березовая рать»

оденется в доспехи из клейких листочков...

К сожалению, нельзя сказать, что все у молодого поэта обстоит благополучно. Нет-нет да и попадется в его стихах неряшливая строка, нескладная рифма, в угоду которой он позволяет себе произвольно изменить ударение в слове. Нам представляются неудачными те стихи, где Маракулин пытается поэтически переосмыслить, по-своему воссоздать «дела давно минувших дней». Тут молодого поэта тянет на красивость (славяне все, как на подбор, голубоглазы, русобороды, плечисты и ладны), тут он оказывается порой в плену ложно-хрестоматийных представлений («...и гуляло лапотное счастье, и плескалась брага на столе»). Да и лубочная идеализация волжских пиратов-ушкуйников (стихотворение «Мои предки») вряд ли украшает этот в целом талантливый и интересный сборник стихов.

Павел Маракулин уже первой своей книгой рассказал, откуда и кто он. Верится, что и на основной вопрос ему удастся ответить.

Вик. СОКОЛОВ

ЧТО ЖЕ ПРОИСХОДИЛО ПОД БЕЛОЙ КАЛИНОЙ?

Навсегда вошли в историю героические свершения народа. И потому все связанное с Великой Отечественной войной, с битвой за восстановление разрушенного войной народного хозяйства не остывает не только в памяти самих участников этих событий, но и волнует все новые и новые поколения советских людей. Вот почему неисчерпаема тема подвига народного и нескончаем интерес читателей к произведениям литературы, раскрывающим эту тему на конкретном материале народной жизни тех незабываемых лет. Именно с такими чувствами открываешь роман Николая Бораненкова «Белая калина» *, посвященный, как сказано в аннотации, «бессмертному подвигу людей», поднявших после войны сельское хозяйство Брянщины. Ведь известно, что Брянщина — край героический. Ко времени слияния партизанских соединений Брянщины с регулярными частями Советской Армии две трети территории области были освобождены от оккупантов отрядами народных мстителей. Более ста тысяч вооруженных до зубов гитлеровцев были уничтожены брянскими партизанами! Можно себе представить, чего стоил этот подвиг самим брянцам! Народ на годы лишился крова, ушел в землянки...

По признанию старожилов и активных участников тех событий, людям Брянщины и в послевоенный период пришлось проявить не меньший героизм, чем в годы войны. Ведь фашистами разрушено

* Николай Бораненков, Белая калина. Роман. Изд-во «Московский рабочий», 1972.

было все, что только они могли разрушить.

Работы по возрождению былой промышленной славы края не объявлялись всенародной стройкой, потому что таких восстановительных строек доставало везде. И все же знаменитый Брянский паровозостроительный завод, а рядом с ним и многие другие, обреченные на исчезновение предприятия были подняты из руин за два-три года. Подняты руками тех же бывших партизан, женщин и подростков.

Это же самое можно сказать и о беззаветном героизме тружеников села, перед которыми все еще в неоплатном долгу советские писатели.

И потому-то прежде всего подумалось, что Н. Бораненков в своей книге найдет должное слово о колхозниках Брянщины, ибо эта тема не может быть периферийной в романе.

Начинается произведение с картины освобождения Брянского края от фашистских захватчиков. Один из первых героев, с кем встречаешься на страницах книги, — это помощник бургомистра Охрим Серый, которого не взяли с собой при отступлении гитлеровцы, и потому он ищет себе логово в окрестностях Брянска. Прочитано уже довольно солидное количество страниц, но все внимание автора попрежнему приковано к переживаниям этого фашистского прихвостня.

И хотя это обстоятельство несколько настораживает, все же думаешь, что не случайно автор столь щедр в «жилплощади», предоставленной бывшему помощнику бургомистра, ждешь встречи с подлинными героями.

Но чем дальше читаешь роман «о современном колхозном селе», тем все больше убеждаешься в несостоятельности этих ожиданий.

Едва представив читателям довольно стереотипную, уже давно известную по ряду других произведений группу местных жителей во главе с традиционным дедком-балагуром, с влюбленным шофером, с местной красавицей, отдавшей сердце другому, автор почему-то опять свое внимание сосредоточивает на тех, кто остался вне нашей жизни, кто вычеркнул себя своими преступлениями из числа советских людей. И тогда мы вновь становимся «исследователями» чувств и мыслей еще двух дезертиров: Борискина и Подколодова.

Один из них скрывался в лесу, другой, Борискин, как таракан в щели, отсиделся во время боев на Брянщине в родном доме, бережно охраняемый от людских глаз и молвы его супругой Мотькой. И большинство страниц романа вновь отведено теперь уже смакованию нравственного падения Мотьки, ее нечистоплотности. Мотька не прочь тут же в отсутствие мужа пококетничать с пришельцем из леса:

«— Я уж привыкла и без мужика.

Подколодов, наглея, не сдерживая себя, сунул руку выше колена, гладя упругое бедро, прижался к Борисихе плечом:

— Врешь. Врешь же. Тебе нужен мужик нынче же. Вот сейчас...

Подколодов сзади навалился на нее, стиснул ее в объятии, простонал:

— Милушка, не могу-у...»

Конец этой сцены происходит уже на глазах у выпыр-

нувшего из подполья Борискина. Возникает нечто вроде перепалки. Однако бандиты затем поладили на взаимоприемлемой основе, предложенной гостем:

«До утра буду спать с Мотькой, говорю. Ты с ней всегда. Моя одна лишь ночь».

Пошлость и натурализм только что воспроизведенной сцены очевидны. Но вот дальше мы встречаемся с другим персонажем — Максимом Плетневым. Он фронтовик, уроженец этого же села Вересовки, слушатель сельскохозяйственной академии. В образной системе романа ему отводится вроде бы положительная роль в противовес названным отщепенцам. Во всяком случае, в этом убеждают, например, его смелые и категорические суждения в разговоре с представителем Наркомзема Ковригиным, бюрократом по духу. Но как ни странно, после всех словесных баталий, в которых, в общем-то, выявлялся положительный характер Плетнева, он тем не менее принимает приглашение того же самого Ковригина, спешит к нему на чай и... остается там ночевать. Его укладывают спать... в одной комнате со старшей дочерью Ковригина — Лизой. Прямо скажем, ситуацию задал автор своему герою, аналогичную той, в которую попал Подколодов в доме Борискина. Ход очевидный, художнически неумелый, но совершенно определенный: показать якобы другой мир человеческих отношений, нежели это мы видели в доме Борискина.

Но увы... Все, оказывается, происходит по той же самой банальной схеме. Проснувшись «на исходе ночи от нестерпимой жажды», Плетнев в редеющем сумраке «увидел Лизу, спящую на кушетке». «Лиза сонно потянулась за упавшим одеялом и вдруг увидела Максима... Странно! Она ничуть не смутилась».

Действия развиваются довольно стремительно и однонаправленно. «Сильные руки его нежно обняли тонкую талию Лизы. Она вздрогнула. Припухшие от сна губы ее раскрылись, и с них сорвалось какое-то тихое слово».

Слово то не было признанием в любви, потому что при очередной мимолетной встрече оба они пришли к выводу, что любви между ними как таковой не существовало. Она просто не могла даже возникнуть.

И все же не хочется верить, что автор заведомо сознательно обращается к подобным «жанровым» сценам, отвечая на потребу низменных чувств сегодняшнего мещанина. Может быть, все-таки подлинно целомудренное, доброе, что было и есть в девушках, в женах, проявится в образе любимой Плетнева — Тане? Может быть, и Лиза призвана сыграть контрастную роль в жизни двух влюбленных?

Но вот сцена объяснения Максима и Тани, осыпанная той самой белой калиной, которая вынесена в название романа и, видимо, поэтому призвана играть символическую или, во всяком случае, смысловую роль если не всего произведения, то хотя бы личных судеб главных положительных героев.

«— Максим, — тихо проговорила она, обрывая с ветки калины белые лепестки. — Скажи: ты хоть чутку любишь... меня?

«Ясноглазенькая! — хотел

крикнуть Максим. — Я не только «чутку», я не могу наглядеться на тебя». Но об этом он не посмел сказать ей, только хрипло ответил:

— Да.

Она сейчас же рванулась к нему, схватила за руки и, порывисто дыша, густо краснея, сбивчиво заговорила:

— Тогда возьми меня. Сейчас возьми. Всю как есть. Я хочу быть твоей. Чего же ты? Что стоишь? — Она кивнула на кусты калины, где исступленно щелкали соловьи. — Ведь соловьи поют только сорок пять дней.

Оторопел Плетнев...»

Образы девушек в романе Н. Бораненкова, как видим, рисуются одной краской, они одинаково предприимчивы. Пока Плетнев стоял оторопелым перед Таней, «в душе у нее в ту минуту что-то оборвалось», повествует автор. Минута нерешительности стоила Максиму потери любимой. После он будет сожалеть, вздыхая: «Упустил девчонку. Какой был дурак! А могла бы быть моей на всю жизнь».

Стараясь как-то хоть декоративно оживить роман, дать читателю хоть немного отдохнуть от натуралистических живописаний всевозможных сцен насилия, убийств, разврата, автор знакомит читателя с козой Митрия, которая «ялует второй год», потому что «во всем районе ни одного козла». Уж что только не проделывается в романе с этой козой, которой, кстати, места в книге отведено больше, чем некоторым людям. Даже справку ей сочиняет автор, подписанную якобы командиром партизанского отряда генерал-майором М. Дукой (?). «Милиционер остановился, привязал козу к голенищу своего кирзового сапога, взял справку (у Митрия. — *В. З.)* и вслух прочитал:

— «Дана сия гражданину Артамохину Дмитрию Петровичу в том, что он является владельцем козы...» и т. д. в том же роде.

— Полноте, — скажет читатель. — Неужели роман так плотно напичкан вымыслами такого рода и убогими сентенциями и в нем нет того главного, чем жили наши современники в героические послевоенные годы, к которым обратился автор?

Нет, истины ради стоит сказать, что временами романист делает попытки вырваться из ложного круга личных отношений персонажей, число которых все время увеличивается по мере происходящих в книге событий. В частности, к подобным местам романа можно отнести размышления Плетнева о специализации ведения артельного хозяйства. Но, право, эти проблемы не выдерживают «романической нагрузки», ибо хватает их по большей мере на очерк. Я упомянул об очерке не случайно, ибо в произведении явно обнаруживается склонность автора к беллетризации документалистики.

Этим, видимо, можно объяснить и другой не совсем понятный факт. Мы видим, как автор, слегка изменив фамилии нынешних руководителей Брянской области, делает их персонажами своего романа, посвященного первым послевоенным годам. Что ж, автор волен выбирать фамилии своим героям. Но это влечение к фамильной достоверности никак не подкреплено художественно.

Вот, например, как повествует Н. Бораненков о поездке секретаря обкома Крахмалова на праздник в Вересовку «с целой вереницей ответственных работников». Как принято, следует ряд встреч с гостеприимными хозяевами. О встречах Крахмалова можно судить по этой наиболее характерной сценке:

«К секретарю обкома подсела молодая цыганка, взяла его за руку:

— Давай погадаю, начальник. Задаром погадаю. По глазам вижу, золотой человек.

— О чем гадать-то будешь? — улыбаясь, спросил Крахмалов.

— Всю судьбу расскажу. Что было и что ждет вас на совещаниях.

Крахмалов от души рассмеялся:

— Ай да гадалка! Вот так репертуар! На совещаниях бывала?

— Нет.

— Так что ж ты мне нагадаешь, если не была на них?

— А зачем мне там быть! Я и так знаю, что на них ругают.

Секретарь обкома толкнул Плетнева локтем:

— Смотри, Плетнев. Наш шаблон попал уже на зуб цыганкам».

Странно, что и здесь автор не замечает всей нелепости этой сцены, долженствующей, по его замыслу, представить широту характера и демократизм руководителя.

Особенно хочется отметить плохую редактуру романа. Примеров недобросовестного отношения редактора к тексту в книге «Белая калина» можно привести очень много. Вот некоторые частности. Начальник дивизионной хлебопекарни подполковник Коврыгин через четыре строчки назван полковником. Максим и Лиза, выясняя свои отношения, сидят на скамеечке, а через несколько строк мы узнаем, что они вовсе не сидят, а идут. В начале 40-х годов, пожалуй, не в каждой деревне имелись радио и кино, а о телевидении даже городские жители разве лишь мечтали. А в романе «Белая калина» в деревенских избах уже в годы войны по воле автора телевизоры стоят и вот-вот появится стиральная машина.

Естественно, возникает вопрос: как же мог появиться в свет такой роман, да еще массовым тиражом?

Владимир ЗОЛОТУХИН

СОВЕТСКИЙ ДЖАЗ

«Все мы волновались невероятно — и те, кто был на сцене, и те, кто переживал за них в зале. Все-таки это был первый выезд советского джаза за рубеж. Но наши молодые музыканты выдержали испытание с честью. Концерт прошел с огромным успехом. После концерта мы все поехали в джаз-клуб на джем-

Алексей Баташев. Советский джаз. Исторический очерк. Под редакцией и с предисловием А. В. Медведева. М., изд-во «Музыка», 1972.

сешн («джем-сешн» — буквально: «игра для своих» — когда незнакомые музыканты встречаются в свободном соревновании, обращаясь к какой-нибудь известной джазовой теме. — *О. М.*)... Первым солировал польский саксофонист Ян Врублевский — отлично, мы аплодируем. Потом вышел Андрей Товмасян. Как он играл тогда! Его зажигательное соло ошеломило и увлекло всех. Слушатели взорвались аплодисментами. Следующим выступил знаменитый американский трубач Дон Эллис, но нам казалось, что ему так и не удалось «переиграть» Андрея. Вот тогда мы поняли, что у нас есть свой джаз!»

Эти воспоминания композитора Арно Бабаджаняна относятся к 1962 году, когда сборный секстет молодых музыкантов (А. Товмасян, В. Сакун, Н. Громин и другие) впервые представил советский джаз на V Международном фестивале в Варшаве, желая «других посмотреть и себя показать». Профессиональная критика и публика высоко оценили на этом фестивале игру наших музыкантов, а пьеса Андрея Товмасяна «Господин Великий Новгород», в которой угадывались характерные черты старинной русской музыки — отголоски «знаменитого распева», удостоилась единодушной похвалы.

Непрост был путь советского джаза, знавшего взлеты и падения, ошибки и прозрения. Вышедшая в издательстве «Музыка» монография Алексея Баташева, инженера-физика по профессии, являет собою первый опыт обзора и систематизации почти пятидесятилетней истории джаза в СССР. По словам автора предисловия музыковеда А. Медведева, «экзотическая, поражавшая слух и взор заморская новинка с годами развилась в популярный, любимый массами жанр. Джаз стал неотъемлемой частью нашей музыкальной культуры. Придя с Запада, он постепенно обретал новые, оригинальные черты — становился советским джазом. Именно в этом заключался смысл его эволюции за минувшие полвека».

Сила и убедительность книги А. Баташева в ее сугубой документальности, огромности и разнообразии материала, собранного автором. От первых, робких еще попыток в создании советского джаза, связанных в 20-е и начале 30-х годов с именами В. Парнаха, Г. Терпиловского, Л. Дидерихса, С. Колбасьева, Б. Крупышева, и до того вклада, какой внесли в джаз Утесов, Варламов, Кнушевицкий, Минх, а в наши дни Людвиковский, Эшпай, Саульский, Найсоо, Кажлаев, Якушенко, Гаранян, Зубов, Товмасян и десятки других талантливых музыкантов, А. Баташев подробно прослеживает пути и перепутья джаза в СССР.

Но прежде всего — что такое джаз?

Основу этого уникального явления современного искусства составил фольклор североамериканских негров, бережно, любовно сохранивших мелодии и ритмы своих африканских предков. Игнорирование этой вот, народной основы подлинного джаза не раз порождало недоразумения. А. Баташев приводит характерный пример. Когда в 20-е годы в Москву на гастроли прибыл негритянский ансамбль «Шоколадные ребята», его необычное искусство вос-

хитило К. Станиславского, П. Кончаловского, А. Таирова. По-иному воспринял выступления гостей М. Кольцов, увидев лишь западную экзотику — «добравшихся до Москвы бледных девочек цветом чуть посветлее крымского загара членов профсоюза» и «организованно беснующийся джаз-банд», принесший в нашу страну «кусочек Европы». Как бы отвечая Кольцову, поэт Михаил Кузьмин замечал: «На человека, непричастного непосредственно к искусству, негритянская труппа может произвести самое неожиданное впечатление, она может показаться сплошным сумбуром или «кусочком Европы», и он просмотрит из-за небывалости форм то действительно ценное и необходимое, что в ней есть, именно — высокое качество, мастерство и неисчерпаемый материал для нового искусства». Он настойчиво призывал отделять глубоко народное, вдохновенное и мастерское искусство негров от «музыкального приложения» европейских ресторанов.

Возникнув на американском юге в начале века, джаз непрерывно развивался, искал, порою опровергал себя, чтобы затем найти новое, не застывая в прежних формах. Джаз легко отличим от любой другой музыки прежде всего ритмически. «Каждому виду и жанру музыки, — пишет А. Баташев, — присущи свои ритмические структуры. Нет нужды доказывать, что ритмы классической европейской музыки существенно отличаются от ритмов музыки индийской, среднеазиатские ритмы иные, чем ритмы русских песен и наигрышей, и т. д. Джаз не является исключением. Он также обладает своим ритмическим строем. Этим синтаксисом, ритмом джазовой фразы — или, по принятой терминологии, свингом (свинг — буквально: «качание». — *О. М.*) — наши музыканты настойчиво овладевали...»

Еще и сегодня к джазу нередко причисляют «коммерческую» эстраду или «музыку длинноволосых» — «бит», с ее отупляющими механическими ритмами. Важнейший признак подлинного джаза — наличие импровизации, когда нечто новое рождается в момент исполнения, перед слушателями. В то время как коммерческий джаз «заштампован», порожден «развлекательной индустрией», джаз подлинный несет в себе ярко выраженное творческое начало и в настоящее время все более уходит в сферу концертного исполнения.

Сильное эмоциональное воздействие джаза на многомиллионную аудиторию издавна пытались использовать за океаном для пропаганды «американского образа жизни», обильно насыщая соответствующими программами кинофильмы, радиопередачи и грамзаписи. Однако, как отмечает А. Баташев, самим американским музыкантам претит эта попытка навязать чуждые им политические цели. В одной из своих песенок знаменитый трубач Луи Армстронг язвительно высмеял это стремление официальных правительственных органов США:

Госдепартамент обнаружил, что джаз
Устанавливает контакты лучше, чем что-либо еще.
И когда люди слышат джазовый ритм,
Они думают, что мы заодно с ними, —
И это у нас называется «культурный обмен».

Какая же это странная вещь —
«культурный обмен»!..
Я представляю мое
правительство,
А правительство
не представляет
Ту политику, сторонником
которой я являюсь...

Родившись в угнетенных социальных низах, джаз оптимистичен и жизнеутверждающ. Хорошо сказал Мартин Лютер Кинг: «Джаз говорит о жизни. Блюз рассказывает о трудностях жизни. Человек берет жестокую реальность жизни и превращает ее в музыку, чтобы с новой надеждой или даже с чувством победителя смотреть на горе. Это музыка преодоления и победы. Современный джаз продолжил эту традицию».

Разумеется, восприняв специфические музыкальные особенности американского джаза, советский джаз наполнился новым содержанием, насыщаясь красками многонационального искусства народов СССР. После первых робких попыток появились первые оригинальные и интересные произведения. Их авторами были пианисты Игорь Кондаков, Вадим Сакун и Евгений Геворгян, трубачи Владислав Грачев, Андрей Товмасян и Герман Лукьянов, саксофонисты Алексей Козлов и Михаил Цуриченко. «Новое поколение джазовых музыкантов, — отмечает А. Баташев, — подобно своим предшественникам, стало с интересом разрабатывать фольклор. Однако национальные элементы в музыке использовались уже совершенно по-новому. Если в 30-х годах некоторые авторы писали фокстроты на мотив песни «Светит месяц», то теперь такая вольность показалась бы кощунственной. Бережное, чуткое отношение к народной музыке отличало лучшие композиции тех лет — «Обряд» А. Товмасяна, «Всё о том же» А. Григоровича, «Праздник» Е. Геворгяна.

Росла популярность советского джаза. В 1958 году в Ленинграде и в 1960 году в Москве при активном содействии городских комитетов ВЛКСМ были созданы молодежные джаз-клубы. С лекциями и беседами о джазе выступали на предприятиях и учреждениях Леонид Переверзев, Александр Медведев, Алексей Баташев и другие энтузиасты и специалисты-музыковеды. Одновременно с джаз-клубами родилась и другая форма общения музыкантов — молодежные кафе-клубы («Молодежное», «Аэлита», «Синяя птица» в Москве). Два лучших ансамбля московского джаз-клуба — квинтет Алексея Козлова и квартет Евгения Геворгяна, награжденные Почетными грамотами ЦК ВЛКСМ за участие в программе Всемирного форума молодежи (1961 год), были направлены на работу в кафе и стали профессиональными коллективами с исключительно джазовым профилем.

60-е годы явились качественно новым этапом в истории советского джаза, все более обретавшего свое стилистическое своеобразие. По словам автора книги, «еще во второй половине 50-х годов джаз и эстрадная музыка развивались «рука об руку», иногда соприкасаясь, иногда противоборствуя друг с другом. Джаз то втискивался в рамки легкого жанра, то пытался вырваться из них. В свою очередь, эстрада по-своему пыталась «оджазировать» легкую музыку. В начале 60-х годов произошло размежевание. Эстрада, сбросив джазовый «флёр», окунулась в море твистов, шей-

ков, заблистала электроинструментами и яркими костюмами. А джаз отринул свою сопроводительную принадлежность танцу и заметно посерьезнел. У него появилась собственная постоянная и заинтересованная аудитория». Это касалось, добавим, как малых ансамблей импровизационного джаза, так и больших оркестров, существенно обновивших свою программу благодаря таким талантливым композиторам, как Богдан Троцюк, Мурад Кажлаев, Уно Найсоо, Гиви Гачечеладзе, Юрий Саульский, Борис Рычков и многие другие.

Очерк А. Баташева завершается обзором советского джаза конца 60-х и начала 70-х годов. Мы знакомимся с широкой «географией» джаза сегодня, узнаем об основных направлениях и творческих поисках, характерных для современности. Значительными вехами в развитии советского джаза, как рассказывает автор, явились крупные фестивали — не только в Таллине, Ленинграде, Москве, но и в Куйбышеве (с 1966 года), в Днепропетровске и Калинине (с 1968 года), в Воронеже, Донецке, Хабаровске, Ташкенте, Петрозаводске, Вильнюсе и других городах нашей страны.

Сегодня интересно и плодотворно работают ансамбли трубача В. Колесникова в Донецке, альт-саксофониста А. Зульфугарова в Запорожье, рижский диксиленд барабанщиков Л. Нидбальского, диксиленд из Вильнюса под управлением Г. Нарияускаса, фортепьянные трио в Прибалтике — Р. Паулса, В. Ганелина, Уно Найсоо и на Кавказе — В. Мустафа-заде. Из столичных ансамблей, помимо квартета А. Козлова, ансамбля А. Пищикова, трио И. Бриля, Б. Рычкова и других, автор особо выделяет созданный в 1965 году ансамбль «Крещендо» под управлением саксофониста А. Зубова, для которого характерно широкое использование многонационального отечественного фольклора. «Первым увлечением «Крещендо» стала среднеазиатская и гуцульская музыка. В 1966 году прозвучали два сочинения — «Самаркандские минареты» и «Трембита». В 1967 году музыканты занялись азербайджанскими мугамами: собирали грамзаписи, слушали народных певцов и инструменталистов, учились у них. Их работа — «Вариации на тему мугама «Чаргях» — была высоко оценена на фестивале «Джаз-67».

Успехи советского джаза ярко проявились и в выступлениях наших музыкантов за рубежом. После триумфа А. Товмасяна на Варшавском фестивале 1962 года, поездок в Прагу ансамблей Г. Гараняна и А. Зубова эта эстафета была подхвачена молодыми музыкантами. На VIII Международном джаз-фестивале «Прага-71» среди семи лауреатов большого конкурса музыкантов социалистических стран мы видим трех исполнителей из СССР: тенориста Вадима Вядро, трубача Валерия Колесникова и альтиста Владимира Черкасина.

Быть может, из-за особенного разнообразия и пестроты материала исторический очерк А. Баташева к концу заметно сбивается на обзор, претендующий охватить все явления сегодняшнего джаза в «градах и весях» Советского Союза, отчего теряется ощущение концептуальности, количественные показатели заслоняют качественные и подчас за «деревьями» не видно «леса». Однако этот недостаток, во

многом вынужденный, не снижает общего впечатления от книги.

Значение работы А. Баташева именно в том, что в ней впервые сделана попытка дать многочисленным любителям отечественного джаза необходимые «лоции» для увлекательного путешествия в эту интересную страну — страну джаза. Автор убедительно показал, как год от года крепли и развивались связи советского джаза с традициями отечественной музыкальной культуры. Оттого-то столь оправданным и логичным выглядит тот вывод, к которому подводит читателя А. Баташев: «Советский джаз подходит к своему полувековому юбилею как вполне сформировавшийся, самостоятельный жанр советской музыки, имеющий своих композиторов, аранжировщиков и исполнителей, свою обширную и заинтересованную аудиторию, свои самобытные традиции, свои достижения и проблемы. Несомненно, что ближайшие годы порадуют любителей джаза новыми художественными свершениями».

Книга А. Баташева не имеет четко зафиксированной концовки. Потому что история советского джаза продолжается.

Олег МИХАЙЛОВ

Главный редактор **Анатолий ИВАНОВ**

Редакционная коллегия: **Валерий БУЯНОВ, Валерий ГАНИЧЕВ, Нодар ДУМБАДЗЕ, Александр ИГОШЕВ** (ответственный секретарь), **Борис ЛЕОНОВ** (зам. главного редактора), **Михаил ЛОБАНОВ, Борис ОЛЕЙНИК, Петр ПРОСКУРИН, Владимир СЕМЕНОВ, Геннадий СЕРЕБРЯКОВ, Владимир СОЛОУХИН, Василий ФЕДОРОВ, Владимир ФИРСОВ, Владимир ЧИВИЛИХИН, Виктор ЯКОВЕНКО** (зам. главного редактора).

Ст. художественный редактор Ю. Киселев

Технический редактор Н. Строева

Сдано в набор 4/V 1973 г. Подп. к печ. 15/VI 1973 г. А00743.
Формат 84×108 1/32. Печ. л. 10 (усл. 16,8). Уч.-изд. л. 21,4.
Тираж 468 000 экз. Зак. 907. Цена 60 коп.
Типография изд-ва ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия».
Москва, А-30, Сущевская, 21.

Рис. П. БУНИНА

— Вставайте!
Вставайте!
Вставайте!
Работники
и батраки!
Зажмите,
косарь и кователь,
винтовку
в железо руки!

В. Маяковский, «ХОРОШО!»

МАГАЗИН № 120 МОСКНИГИ „КНИЖНЫЙ МИР“ ВЫСЫЛАЕТ НАЛОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖОМ АЛЬБОМЫ И КНИГИ ПО ИСКУССТВУ

АССОЦИАЦИЯ ХУДОЖНИКОВ РЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ. Сборник воспоминаний и статей по истории советского искусства. 100 репродукций. «Изобразительное искусство», 1973. Цена 2 р. 52 к.

Богуславский Г., ПАМЯТНИКИ ПОВОЛЖЬЯ. Альбом архитектуры Рязани, Костромы, Ярославля и Саратова. Произведения народного искусства волжан. «Советская Россия», 1972. Цена 9 р. 85 к.

Гнедовский Б., РУССКИЙ СЕВЕР. Уникальные памятники городов древнерусской культуры и искусства. 354 иллюстрации. «Советская Россия», 1972. Цена 8 р. 87 к.

ЗАКАРПАТСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ. Альбом. 74 красочные репродукции. Киев, «Мистецтво», 1973. Цена 2 р. 22 к.

Леонов А., Соколов А., КОСМИЧЕСКИЕ ДАЛИ. Альбом-выставка. 33 цветных рисунка летчика-космонавта А. Леонова и художника-фантаста А. Соколова. «Изобразительное искусство», 1972. Цена 5 р. 08 к.

РАДУГА НА СНЕГУ. Сборник материалов об искусстве народов Крайнего Севера. 155 иллюстраций. «Молодая гвардия», 1972. Цена 1 р. 69 к.

ВАЛЕНТИН СЕРОВ. Альбом. Формат 43 × 55 см. 14 факсимильных репродукций рисунков художника. «Художник РСФСР», 1972. Цена 18 руб.

Скобельцын Б., ЗЕМЛЯ ПСКОВСКАЯ. Серия «Памятники древнерусского зодчества». Альбом из 100 фотографий. «Искусство», 1972. Цена 3 р. 90 к.

Заказы направляйте по адресу: 101861, ГСП, Москва, ул. Кирова, 6, магазин № 120, отдел „Книга — почтой“. Посылки и бандероли с заказанной литературой оплачиваются на почте при их получении.

Цена 60 коп.

Индекс 70544